

НАТАЛЬЯ
НЕСТЕРОВА

Жребий праведных грешниц
СТАТЬ ОГНЕМ



Annotation

Любой человек – часть семьи, любая семья – часть страны, и нет такого человека, который мог бы спрятаться за стенами отдельного мирка в эпоху великих перемен. Но даже когда люди становятся винтиками страшной системы, у каждого остается выбор: впустить в сердце ненависть, которая выжжет все вокруг, или открыть его любви, которая согреет близких и озарит их путь. Сибиряки Медведевы покидают родной дом, помнящий счастливые дни и хранящий страшные тайны, теперь у каждого своя дорога. Главную роль начинают играть «младшие» женщины. Робкие и одновременно непреклонные, простые и мудрые, мягкие и бесстрашные, они едины в преданности «своим» и готовности спасти их любой ценой. Об этом роман «Стать огнем», продолжающий сагу Натальи Нестеровой «Жребий праведных грешниц».

- [Наталья Нестерова](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Островитяне](#)
 - [«Анна Каренина». Граф Толстой](#)
 - [Матери и дети](#)
 - [Культура и звери](#)
 - [Правда](#)
 - [Коммерция](#)
 - [Клад](#)
 - [Грех](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Вот приехал Сталин](#)
 - [«Светлый путь»](#)
 - [Марфа и Петр](#)
 - [Камышины](#)
 - [Нюраня и Максимка](#)
 - [Пламя](#)
 - [Беглецы](#)
 - [В пути](#)
 - [Санитарка](#)
 - [Еремей Николаевич. Последний час](#)
 - [Часть третья](#)

- [Женщины Камышина](#)
 - [Студентка Пирогова-Сибирячка](#)
 - [Степан](#)
-

Наталья Нестерова

Жребий праведных грешниц. Стать огнем

Часть первая

1925–1926 годы

Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

А.С. Пушкин

Да разве найдутся на свете такие огни, такие муки и такая сила, которая пересилила русскую силу!

Н.В. Гоголь

Островитяне

Бесснежных бархатных зим в Сибири не случалось. Но в тот год намело – заплоты укутало.

Давно, еще до революции, доктор Василий Кузьмич Привалов читал в литературных журналах рассказы писателей об изнурительной русской зиме. Когда дома под крышу засыпаны снегом, окна в тесных, душных, полутемных избах оледенели, делать нечего, из-за сонной одуряющей лени все давно переругались, помирились и снова переругались, когда все сказки рассказаны-перерассказаны, сплетни, домыслы и вымыслы в самой чудовищной форме уже сто раз обмусолены, когда сельская интеллигенция, вроде учителя и фельдшера, опухла от пьянства и перестала терзаться связью с самыми низкими деревенскими бабами, когда кажется, что мир кончился и просвета не будет... в рассказах наступает весна, бегут ручьи – и жизнь, чистая, веселая и радостная, возобновляется...

Если бы Медведевы познакомились с этой литературой, они бы сказали: «Так оно в Расее, а не у нас в Сибири». Сибиряки горды и честолюбивы до ханжества.

Дом Анфисы Ивановны Медведевой с большим крытым подворьем существовал даже не в хуторной, а в островной изоляции, на самообеспечении. Дров и припасов было заготовлено столько, что до весны могли бы и вовсе не выходить за ворота. Будь ее воля, Анфиса так бы и поступила. Хозяйство, дом, семья были ее миром, а извне приходили новости большей частью дурные. К тем, что на первый взгляд казались хорошими, Анфиса относилась настороженно. Слишком часто за последние годы надежды крестьян оборачивались бедами. Сибирские старожилы никогда не просили помощи у государства, только б оно, государство-правительство, не мешало жить по вековечному укладу – по незыблемым понятиям достойного неторопливого хода вещей.

Хотя Анфисин муж Еремей Николаевич был жив-здоров и именно он выстроил чудо-дом, второго такого не сыскать, их жилище односельчане называли «дом Анфисы Турки», как бы признавая ее главенство в семье.

Никто праздности не знал: мужики постоянно что-то строгаи, чинили, ремонтировали, шили кожаную обувь, катали валяную. Женщины пряли, ткали, вязали, вышивали, чинили одежду.

Василий Кузьмич Привалов никогда не интересовался этнографией, но как врача и физиолога его поразил тот факт, что коренные сибиряки,

живущие в суровом климате, практически никогда не обмороживались, не замерзали в тайге на охоте. Дело было в одежде.

Еремей Николаевич говорил: «Сибиряк не тот, кто мороза не боится, а кто умеет мороза хорониться».

Одежда была теплой и при этом легкой, не стеснявшей движения; она защищала от ветра, от попадания снега за ворот и не вызывала усиленного потоотделения. На всякую погоду: от стужева (мороза с туманом) до непроглядной метели, от буса (мелкого дождя с порошей) до сорокаградусного мороза в солнечный день – имелась одежда. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были нагольные и «крытые», то есть с холстом, дабой или фабричным сукном. Самая теплая верхняя одежда – доха – шилась из меха собак или диких животных, доходила до пят, имела широкий ворот и большой запах. В сибирской дохе, укрывшись вдобавок медвежьей полостью, можно было без опаски ехать в санях по зимнику в любой мороз. И женщины, и мужчины носили чулки – суконные, шерстяные, сермяжные; на промысел в тайгу – лосиные или сшитые из овчины; в морозы – кулемишки из собачьей шкуры. В доме Анфисы топили жарко, но по полу все-таки несло холодом, и все без исключения были обуты в легкие пимы из оленьего меха.

Весьма разумно, с точки зрения доктора Привалова, сибиряки защищали от переохлаждения конечности и голову. Зимней обуви и шапок у Анфисы имелось по два сундука и еще один с рукавицами множества видов: вареги, верхницы, волосянки, вязанки, выподки, голицы, исподки, лохматейки, шубенки...

Вся зимняя одежда была к сезону высушена, починена, обновлена.

– Твоя мать могла бы нарядить взвод солдат для зимней кампании, – как-то сказал Василий Кузьмич Нюране.

– Вы еще праздничной не видели. Ах, какая у меня соболья шубка, крытая синим сукном и стеклярусом вышитая! Но я из нее выросла, а мама новую не хочет справлять! Говорит, времена нынче скромные. Если эти времена до моей старости продлятся, так и ходить в заячьем тулупчике?

Пятнадцатилетняя Нюраня вступила в возраст, когда девка с матерью противоборствует. Сама Анфиса в ее годы выказывала большое противление, но давно забыла о своей девичьей строптивости, о том, как подмяла под свою волю и мать, и отца. Теперь Анфисе казалось, что дочь блажит, дурью мается, за это и получает по заслугам.

Еще с осени Нюраня на супрядки просилась. Мать не пускала, теперь супрядки не как прежде: молодые мужики, жен дома оставив, на них ходят, пацанва безусая, вдовицы легкого поведения и прочие оглодыши-

переселенцы. Не компания это ее дочери! И нет пригляда, то есть надежного и подходящего человека, который, случись что, Нюранино достоинство защитил бы.

– Сама за себя постоять могу! Я не маленькая! – голосила дочь.

Но мать к ее воплям была равнодушна. Только грозила:

– Без спросу сбежишь – я с тебя шкуру спушшу и обратно не надену! Лихотит ее! В башке ветер, в зад у ум.

У отца Нюраня защиты и поддержки не искала. Тятя не боится мамы, но не любит с ней связываться. Вмешивается только в крайнем случае, когда мамина несправедливость совсем уж вопиюща. Просить тятю о том, чего он не желает делать, бесполезно. Скажет что-нибудь вроде: «Не переживай, устаканится». Когда? Когда ей, Нюране, двадцать лет стукнет, когда постареет?

Но был еще брат Степан, который с матерью штыками скрещивался без опаски. К нему-то Нюраня и бросилась за справедливостью. Братка не подвел.

– Пусть Аким и Федот с ней на супрядки ходят, – предложил Степан матери и напомнил: – Ты ж сама говорила, что они, глядишь, и женятся.

Присутствовавшие при разговоре, сидевшие на лавках работники Аким и Федот, чинившие обувь, замерли с большими иглками в руках и стали похожи на скульптуры под названием «Сапожники за работой». Они-то, конечно... и всегда... любой приказ хозяйки... Но на гульбища ходить?! По возрасту Акиму и Федоту пятидесяти не исполнилось, а по душе – глубокие старики, ничего от жизни не ждущие.

Пойманная на слове Анфиса прекрасно поняла по застывшим позам работников, как им «нравится» перспектива супрядки посещать.

– Дык я работникам на досуг не указчица, – ответила она сыну. – Им твоя революция как пролетариям тоже права дала. Али нет-ка?

И тут вступила Нюраня: подскочила к работникам, стала обнимать их, руки молитвенно заламывать, причитать:

– Дядечка Акимушка! Миленький дядечка Федотушка! Хорошенькие, родненькие! Пожалуйста! Ой, не дайте мне погибнуть-усохнуть, годы мои молодые загубить!

Нюраню все любили. Отец называл ее «наша солнечная соловушка». Влетит в избу – и точно светлей становится. Защебечет – и, толком не понимая смысла ее девичьих трелей, все улыбаются. Прасковье, жене Степана, золовка напоминала ее девичьи светлые годы. Марфе, супруге второго брата, Петра, мечты навевала: она, Марфа, такой же беспечно-радостной была бы, пошли ей судьба других родителей. Петр, которого

сестра была на несколько лет младше, воспринимал Нюраню отчасти как мать, только не строгую-неприступную, как настоящая мать-Анфиса, а ласковую, дурашливую и по-доброму насмешливую. Отец и Степан, видя Нюраню, слухом и взором наслаждались, как наслаждаются ростом-взрослением певчей птахи. В то же время они понимали: не будь ежовых рукавиц, в которых Анфиса держала дочь, из той вполне могла бы вылупиться капризная своевольница. Всех устраивал расклад: они Нюраню балуют, а мать в строгости держит. Никому не приходило в голову, что баловать легко, а строжить душевно растратно.

– Ну-дык, я чего... я не против-то, – сказал Аким.

– Ежели не часто, – согласился Федот.

– Ура! – запрыгала Нюраня.

В ней было столько энергии, что прыгала она, точно молодая коза, по любой радости.

Степан победно посмотрел на мать: моя взяла. Анфиса пожала плечами: по моему допущению. В противостоянии матери и сына компромиссы были редки и нисколько не сглаживали главных противоречий.

Так и повелось, что на супрядки Нюраню сопровождали Аким или Федот, по очереди. Нюраня сбивала каблуки сапожек в танцах, хохотала в играх, а кто-то из работников сидел в углу, дремля одним глазом, а вторым наблюдая за происходящим. Молодые и особенно средних лет бабы, которых в Погорелове был излишек – сверстников-то выкосило в войнах, революциях и восстаниях, – скоро поняли, что Аким и Федот не по амурной части. Сивые мерины, которых охлостила то ли судьба, то ли известная своей властью Анфиса Турка.

Максимка Майданцев не побоялся Нюраниных телохранителей и несколько раз после супрядок провожал ее до дома.

Федот почему-то донес об этом не Анфисе, от которой у него секретов раньше не было и которую он слушался как верный пес, не Еремею Николаевичу, который был формальным главой семейства, а Степану:

– Майданцевский парнишка клинья под Нюраню бьет. Присмотрись.

«Из хорошего старого сибирского рода парень» – первое, что пришло Степану в голову. И тут же он ругнул себя с досадой: рассуждает, как мать, которая к людям точно к скотине относится – своих коров с какими попало быками на вязку не допустит и племенного быка Буяна не даст на спаривание с соседскими худосочными телками, чтобы породу не портили, чтобы потом никто не упрекнул, Буян-де семенем ослаб.

Вспомнилось Степану, как возникла у него много лет назад, уже после

службы в Красной армии, симпатия к Татьянке. Милая девушка, легкая, прозрачная. Степан увидел ее на закате. Растянувшейся толпой народ возвращался с сенокоса. И Татьяна просвечивалась, одну ее среди всех солнце золотыми лучами пронизывало. Хрупкую, точно бескостную, сотканную из воздуха. Степана всегда нежно-беззащитные девушки привлекали.

Мать чутьем своим звериным о его симпатии узнала. Он сам-то еще толком с чувствами не определился, а мать выплюнула: «Татьянкин род порченный, ее прабабка и сестра прабабки до сорока пяти не прожили, от рака грудей померли». Какие прабабки с грудями? Чушь! Он был слишком занят установлением советской власти и не заметил, что Татьяна исчезла – сосватали в соседнее село. Наверняка мать постаралась. Татьяна умерла два года назад. Первенца родила и преставилась...

Однако Прасковью матери не удалось вытравить! И не мать ему, а сам он себе выбрал суженую!

Что же касается Максима Майданцева, то в классовом понятии этот парень в правильном русле, комсомолец. В ячейке Коммунистического союза молодежи пока дюжина ребят, из них семеро парней. Степан с ними не только беседы на политические темы вел. Брал парней на охоту, все они были безотцовщина. Тайга и река сибиряка всегда прокормят, однако нужно, чтобы с молодых лет тебя обучили, как зверя бить и рыбу ловить. Но мужиков выкосило, связь поколений нарушилась. Ходить к чужому дяде на поклон – «возьмите на охоту» – было не принято. Степан считал своим долгом не только классовое самосознание у молодежи развивать, но и прививать им достоинство, которым сибиряки всегда отличались. А достоинство без знаний и умений – одно бахвальство. Как у казаков.

Казачьих станиц вокруг много, и в них та же картина – что ни дом, то вдовицы. Казаки тоже древних родов, но полувоенных. Сибирские старожилы казаков не жаловали за их подневольность, а казаки презирали «гражданских» за штатскую расхлябанность. Но все это было на уровне слов, насмешек. Те и другие одинаково презирали переселенцев. Так вот, у казаков кичливость в крови. Парнишка от горшка два вершка, половины букв не выговаривает, порты первые ему только вчера надели, а он уже нос задирает: «Я казак!»

Когда осенью подморозило и падера (первый снежок) закружила, Степан с четырьмя ребятами-комсомольцами завалил на охоте матерого сохатого. Едва доволокли. Степан убоины себе не взял, на молодых охотников разделил. Тетя Аксинья Майданцева, бабка Максима, очень Степана благодарила, в пояс кланялась. Это ведь много мяса, его на куски

порежут, в воду окунут, дадут обледенеть и в кадки сложат, снегом пересыпав, – надолго хватит. В сибирском климате без мяса никак нельзя. Майданцевым еще и шкура досталась, поскольку первый выстрел, достигший лося, был Максимкин.

Степан часто лукавил, приписывая те или иные хорошие дела новой власти.

– Не меня благодарите, тетка Акси́нья, а партию. Партия нас призывает всячески поддерживать и обучать сознательную молодежь.

– Ну да, ну да! И партии спасибо! – закивала тетка Акси́нья, хотя и с меньшим энтузиазмом.

– Молодежь объединится в коммунистические союзы и бодро пошагает к светлому будущему.

– А в лес она пошагать не может? Боюсь, дров до весны не хватит, придется сеник ломать.

– Будут вам дрова, – пообещал Степан.

Положа руку на сердце, он не мог бы сказать, что комсомольцы такие уж верные ленинцы. Вместо собрания с повесткой дня «Текущие политические задачи» могли побежать на супрядки. А если из комсомольцев кто-то женился или выходил замуж, те и вовсе забывали о своем членстве в РЛКСМ. Загорелись ставить комедию Гоголя «Ревизор», но после трех репетиций скисли. Женских ролей мало, всего две, девушки заскучили. Парней не заставишь слова учить, да и юмор у Гоголя несмешной.

Степан привез им из Омска пьесу «Конец мироеда» какого-то молодого революционного автора. Там фигурировали кулак, его жена и три их дочери, а также комсомольский вожак, влюбленный в одну из дочерей и пытающийся вырвать девушку из застенков контрреволюционного семейства, да взвод красноармейцев, который периодически выскакивал на сцену, но слов не имел, как и девушки-комсомолки в красных косынках. Еще были трясущийся старик, тоже кулак, за которого отец хотел выдать дочь, и поп-пропойца в грязной рясе и с красным носом.

Отца-кулака играл невысокий круглолицый парнишка, под рубаху на живот и в штаны на задницу ему подкладывали подушки, чтобы был уродливо толстым. Его жену представляла Нюраня. Дрынношшепина (так у них называли высоких худых девушек) Нюраня была на голову выше «мужа». Говорила она визгливым противным голосом и вставляла в исходный текст слова и выражения из арсенала родной мамы. Максимка с наклеенной белой бородой изображал жениха-мироеда и так трясся «от старости», что все впокатуху падали. В финале пьесы – естественно,

счастливым – все актеры выходили на сцену и пели революционную песню. Причем лучше всех пели кулак-отец, мироед-жених и поп, обладавшие хорошими голосами.

После веселых репетиций мчались кататься на санях или с горки.

Анфиса дочери еще осенью, когда комсомольцы в престольный праздник организовали антирелигиозное шествие, велела и думать забыть про комсомол. Как и большинство сибирячек, Анфиса не была истово верующей, но богохульство приравнивала к разврату. Хватит им одного Степана-безбожника! Ее дочери не место в компании, где хулят Господа, а вместо Библии подсовывают Карлу Марксу! Поэтому Нюраня держала в секрете свои драматические занятия. Аким и Федот, сопровождавшие ее в дни, когда репетиции проводились вечером, тоже помалкивали. Что супрядки, что спектакли – их дело следить, чтобы девчонку не обидели, и до дома ее в сохранности доставить.

Премьеру планировали на Крещение. Играть будут в школе. Мама наверняка на представление не отправится, а пока ей донесут добрые соседки, еще время пройдет. Наказание за прошлое не бывает строгим, да и Степан заступится.

* * *

Зимой мужики оканчивали работы рано, когда смеркалось. Обед отодвигался и сливался с ужином – назывался «паужина». Состоял из четырех-пяти блюд. Обязательными были пироги. Вышколенным свекровью Марфе и Прасковье никогда не приходило в голову отступить от заведенного порядка: к супу из свежей капусты – пирог с гречневой кашей, к кислым щам – с соленой рыбой, к лапше – с мясом, к ухе – с морковью. Далее следовали мясо или рыба – жареные, тушеные, припущенные в печи. Во время постов Медведевы ели рыбу, которая у сибиряков не считалась скоромной пищей. Питались Медведевы несравнимо сытнее, чем большинство селян, не каждую неделю позволявших себе мясо. Но для Анфисы делом чести было поддержание высокого уровня жизни. Враньем продотрядам и прочим сборщикам податей, изворотливостью, тайными припасами в схронах, точным расчетом тех продуктов, что были на виду, она кормила девять человек в собственном доме и время от времени помогала нищим родственникам.

За паужиной следовало долгое-долгое чаепитие с пирожками, шанежками, ватрушками, вафлями, ломким сладким хворостом.

Свету было достаточно – у омского барышника Анфиса приобрела две фляги лампадного масла, да и керосину у нее была целая бочка. В горнице, у божницы, на столе стояла большая керосиновая лампа. Тут группировались мужики. На противоположном конце при свете масляных коптилок трудились снохи – вязали на спицах, вышивали, обметывали пошитую для весенне-летних трудов домотканую рабочую одежду. Урок-задание на вечер (после того как посуду вымоют и заготовки еды сделают) от Анфисы имели только Марфа и Прасковья. Мужики выбирали себе занятие по настроению, без дела никто не сидел. Хотя если было настроение подушку примять – пожалуйста! Только вечерний засып коварен: в пять ляжешь, в семь поднимаешься с тяжелой головой, чаю попьешь – прояснится, а потом всю ночь сна не будет, проворочаешься с боку на бок.

Любимой игрой были шахматы. Непобедимым чемпионом слыл Петр. В очередной раз проиграв ему, доктор вскакивал и, размахивая руками, вышагивал вдоль стола:

– Вы еще говорите, что он имбецилен!

Никто этого не говорил, и слова-то такого не знали. Но у Василия Кузьмича была привычка приписывать людям аргументы против: «А вы мне тут утверждали... А вы-то подозревали... Вы ошибались, полагая...»

– Еще партию! – восклицал доктор и усаживался за стол. – Значит, ты, Петр, приверженец сицилийской защиты?

– Гы-гы, – улыбался Петр, расставляя фигуры.

Много лет назад их вырезал Еремей Николаевич, обучившийся этой игре в городе. На первый взгляд черные и белые фигуры были идентичны. Но если присмотреться, то белый король был лицом простоват и добр, а черный – суров и зол. Белая королева едва заметно растягивала губы в улыбке, а черная ехидно поджимала. И даже пешки, сделанные в виде солдатиков с ружьями, имели отличные физиономии.

В горнице было очень уютно: по углам темно, освещено только пространство у стола, да в кути отблески углей из печи. Здесь царило спокойное, бестревожное молчание, нарушаемое стуком спиц в руках у женщин, шорохом страниц, которые перелистывали Степан и Нюраня, глухим чиркающим звуком стамески по дереву – Еремей Николаевич что-то вырезал; свистом дратвы, проходящей через кожу, – Аким шил обувь; мурлыкающим похрапыванием Федота, привалившегося к стене, бормотанием Василия Кузьмича: «Ну-тесь, а мы вас слоном...» – и ответным гыгыканием Петра. Скрипело перо в руках Анфисы Ивановны. Она садилась за стол, ставила перед собой еще одну коптилку, надевала

очки и вела записи в «канцелярии» – толстой тетради, куда заносила доходы, расходы и будущие траты. Память стала подводить, а распределенное по трем местам добро – на заимках, дома и на складах у омского барышника – требовалось контролировать. Чужой взор ничего не разобрал бы в ее зашифрованных записях, как и в переписке с барышником, которая хранилась между последним листом и обложкой тетради. Поди догадайся, что «7Ош +3фКм – 2пЯс+ЗарСс» означает, что за семь овечьих шкур и три фунта кедрового масла Анфиса получила две пары яловых сапог и три аршина солдатского сукна. Тайнописи ее научил барышник, без конспирации в нынешние времена торговлю вести невозможно.

Им, Медведевым, некуда было деться друг от друга – отапливались только дом да помещение, где ночевали работники, там печка держала температуру «вода не мерзнет». В банные дни Аким и Федот спали в бане. Постоянно находясь на людях, в общении, человек испытывает внутреннее напряжение. А если этот человек – сибиряк, которого окружающая природа приучила к изоляции, склонный к созерцательности, не переносящий гула толпы, то молчание для него – большое благо, уважение к его личности и проявление его уважения к остальным.

Беседы тоже велись, конечно, иногда затягивались за полночь. Включение в семью Василия Кузьмича внесло новые нотки в обычные зимние разговоры. Доктора ценили, высказывали почтение к его годам, знаниям и эрудиции, терпеливо относились к его взрывам, стариковскому бурчанию и обвинениям всех и вся в дремучести. И тем не менее он был немного клоун, объект для шуток. В частности, потому что не понимал местного говора. В бытность земским врачом Василий Кузьмич общался с омской интеллигенцией, которая диалектизмов старалась не употреблять, подражая столичной речи. А с тупыми крестьянами-пациентами какой разговор?

Ты его спрашиваешь:

– Какая боль, режущая или тупая?

– Такая режущая, что тупая, – отвечает.

И еще «но» вместо «да» употребляют.

– Давно эта шишка у тебя вскочила?

– Но.

Что «но», при чем тут «но»? Темные люди.

Медведевым же, в свою очередь, казалось странным, что он не знает таких простых слов, как «анадысь» (тогда), или «зубатить» (грубить), или «взаболь» (в самом деле), ведь их деды и прадеды так говорили.

Василий Кузьмич регулярно попадал впросак, ослышавшись или приписывая диалектизмам неправильное значение. Человек сугубо городской и далекий от сельского хозяйства, доктор однажды увидел племенного быка Буяна в возбужденном состоянии и поразился размерам его пениса. Больше метра между ног болтается, матушки святы!

Приходит как-то Аким с выгона и говорит, что у Буяна пропало ботало.

– Постарел? – качает головой доктор. – Такое великое мужское достоинство его болтало. Коровы потеряли знатного любовника.

Замечание доктора вызвало у всех недоумение. Пока Еремей Николаевич не сообразил и первым не расхохотался:

– Ботало – это не уд, а колоколец на шее!

После этого, кстати, мужики взяли «болтало» на вооружение. Так, наверное, и появляются новые слова.

Метели бушевали по несколько дней, и Степан часто оставался дома. О том, чтобы добраться до сельсовета, нечего было и думать.

– Зимусь в эти числа так не мело, – сказал Степан, досадуя на простой в работе.

– Зимусь... проснусь... – забормотал Василий Кузьмич. – Сдаюсь! – протянул он руку Петру, признавая очередное поражение. – Что такое «зимусь», скажите на милость?

– Прошлой зимой.

Василий Кузьмич вскочил и принялся расхаживать по горнице:

– Почему вы не можете говорить просто по-русски: «прошлого года, прошлой осенью»? Нет, у вас все с вывертом: «лонись», «осенесь»...

– А у старообрядцев даже свой счет есть, – сообщила Нюраня. – Марфа знает. Посчитай, пожалуйста, от одного до десяти.

– Един, пара, – не поднимая головы от шитья, стала перечислять Марфа, – ерахты, барахты, чивильды, евольды, по-пусту, по-насту, дакинъ, вчкинь.

– Что и требовалось доказать! – воскликнул доктор. – Степан, как ты собираешься этих аборигенов вести к светлому будущему, когда у них ерахты-барахты, дакинъ-вчкинь? У вас ведь «гальиться» означает «издеваться, смеяться», а «галицы» – это рукавицы! Где логика?

Степан принялся рассказывать, как во время войны с колчаковцами их отряду нужно было сделать большой бросок, зайти в тыл противнику. Местных проводников отыскиали, но Вадим Моисеевич, командир отряда, только развел руками: ни бельмеса не понимает в том, о чем они говорят. Послали за Степаном, у него с проводниками состоялся примерно такой

диалог:

– За курьей старица, а потом прямица в пяти верстах от материка, – говорили мужики. – Дале поньжа, надо крюк давать на каргашак.

– Орудия и обозы пройдут? – спросил Степан.

– Нет-ка, зыбун и ржавца по пояс...

Через некоторое время Степан перевел:

– Они говорят, что после залива, уходящего в луга, будет протока в пяти верстах от основного русла реки. А далее непроходимое болото, надо сворачивать на другое болото, поросшее мелким сосняком. Пушки и обозы там не пройдут, а пехота может, глубина по пояс. Возможно, нам следует разделиться? Живой силой двинем через болота, а обоз и орудия пустим круговой дорогой. Отставание будет на сутки.

– Фактор внезапности, – кивнул Вадим Моисеевич. – Нас ведь не ждут со стороны... как его... каргаша?

«Анна Каренина». Граф Толстой

Степан как-то вспомнил, что зимой в старательской артели они зачитывались «Тремя мушкетерами», многие куски наизусть выучили. О том, что его прозвали д'Артаньяном, не упомянул. Как умел, Степан пересказал домочадцам содержание, вставляя цитаты по памяти. Но реакция слушателей оказалась холодно-удивленной. Чего тут увлекательного? Они привыкли слушать сказки. Мать Прасковьи была знатной сказочницей. В непогодицу в дом Солдаткиных набивалось много народу, бабы по лавкам сидели с рукодельем, дети на печи, мужики на полу. И Наталья Егоровна, Туся, как ее звали близкие, рассказывала сказки. В них было много повторов, обычно по три: трижды царь гонцов посылал, трижды герой заветной цели добивался – и в каждом повторе слова точь-в-точь повторялись. Возникало чувство дремотной погруженности, будто твой собственный сон тебе излагают. И сон этот волшебный кончится хорошо, и хотя ты его видел-слышал много раз, он тебе не надоедает.

Степан же пересказывал «Мушкетеров» торопясь, путаясь, то поясняя что-то, то злясь на дурацкие вопросы.

Анфиса высказала общее мнение:

– Дребедень! Королева – никудышная царица. То отдала герсагу подвески, то обратно требует, мушкетеров, казенных людей военных, за море гоняет. С жиру бесится и на сторону смотрит. Есть такие бабы, которым мужику голову закружить – превысшее удовольствие. Она ему не даст, а заради интереса повихляется. Опять-таки царь-король должен авторитетную власть иметь, а его карндирал... или как там его, словом, поп, на веревочке водит.

– Мне госпожу Бонасье жалко, – подала голос Нюраня. – Зачем она погибла? Что теперь д'Артаньян всю жизнь делать будет?

Взрослые посмотрели на девочку с легкой насмешкой: баб на свете много, не останется мушкетер монахом.

Чуткая Нюраня верно уловила смысл их молчаливой иронии.

– Другие не такие будут! – выпалила она.

– Странная дисциплина у них в войсках, – презрительно обронил Аким, – захотели – подрались, захотели – ускакали за тридевять земель. С такой армией не повоюешь.

– А дети у них были? – спросила Парася мужа, который сидел, насупившись, досадуя, что не смог донести всю прелесть романа.

– У кого? – не понял Степан.

Он по глазам жены видел, что она хочет прийти ему на помощь, но не знает как. Для нее сейчас материнство – высший смысл жизни, и этот смысл Парася пытается найти в рассказанной истории.

– У королевы, у госпожи Бонасье... Может, у каких иных женщин...

Степан улыбнулся и помотал головой.

– Вы не понимаете! – вскочил Василий Кузьмич. – Это великолепный приключенческий роман! Степан, в сущности, рассказал сюжет точно. Дело не в Степане, не в Дюма – это автор, – а в вас самих, – обвел он рукой сидящих за столом. – Вы дремучи, оторваны от культуры и искусства! Хуже того, вы не любопытны! Вас интересуют только примитивные каждодневные заботы. Вы муравьи! Термиты!

Доктор встретился взглядом с Еремеем Николаевичем. Нет, этот человек, конечно, не муравей. Он из сибирских чалдонов, сам вырвался из крестьянских пут, обладает громадным художественным талантом, его произведения из дерева никогда не будут оценены знатоками... Дальше Нюраня сидит. Волшебная девочка, любимица Василия Кузьмича. Врожденный лекарский талант. Пытлива, умна, энергична, все схватывает на лету. Рядом с сестрой Степан. Могутный мужик... «Вот уже стал их определения употреблять», – поймал себя доктор. Степан-то как раз и пытался реалии другой культуры до них донести. Марфа и Прасковья – молодые матери и потому не в счет. Будь они хоть принцессами, дворянками и прочими боярынями – их предназначение сейчас выкормить и поставить деток на ноги. Кто остается? Анфиса Ивановна и работники Аким да Федот. Работники – непоказательный, искореженный человеческий материал, пригрелись, прикормились у Анфисы Ивановны. А сама-то она разве муравей? Или даже матка муравьиная? В тяжелейших условиях войн, грабежей, подразверсток сумела сохранить хозяйство, сыто кормит немалую семью и помогает десятку страждущих. Самодурка? Бесспорно! Тиранка? Безусловно...

На доктора смотрели с интересом. Его приступы обличения крестьянского быта походили на беснования юродивого и потому служили развлечением. Он – хмельной, понятно, – заходился иногда так, что, казалось, подскочит и отгрызет тебе ухо. Потому что ты Зимнего дворца не видел или про Чехова не слышал.

С другой стороны, уже случались ситуации – роды Марфы, тяжелейшие травмы сельских детей, баб и мужиков, открытые переломы костей, отломки которых рвут одежду, торчат наружу в обрамлении кровавого пятна... Тут доктора слушали беспрекословно: становились в

изголовье раненого и у его конечностей, по команде тянули на себя, чтобы кости сошлись-сопоставились, а раненый от чудовищной боли переставал впиваться в зажатую между зубами деревяшку, и тогда доктор командовал: «Нюраня, наркоз! Эфир!» – и она быстро вынимала из ослабленного рта страдальца деревяшку и клала ему на лицо холстинку, пропитанную какой-то вонючей жидкостью... К месту перелома прикладывали дощечки, да еще хитро бинтовали через плечи или пах; случалось, доктор велел грузы вешать, чтобы кости обратно не съехали.

Анфисе Ивановне очень не нравилось, что к ним в подворье несут всяких увечных. Нюраня приходила в восторг, что можно починить в человеческом теле то, что починке, казалось бы, не подлежит. Начав ассистировать Василию Кузьмичу, девочка специально исследовала, то есть шныряла-высматривала тех, кто вылечился благодаря знаменитым костоправам. Ерунда! Успех был только в случае вывихов суставов и переломов без смещения (терминов она уже нахваталась). Сложные множественные переломы, например голени, где три кости сходятся, практически не восстанавливались, открытые переломы либо имели следствием ампутацию, либо вызывали заражение крови и смерть.

Двойное отношение к доктору было сибирякам в новинку. Жизнь в суровых условиях не предполагала снисхождений, оглядок. Выживает сильный; слабый уходит, мрет. Но Василий Кузьмич – слабый, потешный и одновременно знанием обладающий – смущал семейство Медведевых.

Вот и теперь он разорвался по поводу их дикости и бескультурности, по привычке носился вдоль стола – больше в горнице негде было вышагивать. Вдруг замер, на каждого пристально посмотрев, и визгом своим старческим неожиданно оглушил:

– Минуточку! Что вы мне тут глупые аргументы выдвигаете?! – (Никто слова не промолвил.) – Сидят! Смотрят! У меня была мысль. Нюраня?

– Вы про произведения культуры говорили.

– Точно! Милостивейше прошу не делать из меня старого умалишенного... Аким и Федот, они ведь, когда меня умыкнули, привезли... моя библиотека... громко сказано, но я видел книгу...

Доктор бросился в свою комнату. Анфиса обвела взором сидящих за столом. Осталась довольна: спрятанные ухмылки, никаких вольностей. Она не просто на каждого с инспекцией уставилась, она еще ответ получила: мы при полном понятии. Расслабившись, плечами пожала: как будто мне этот доктор – приз желанный! Но без доктора Марфа не разродилась бы. И каким парнем! Митяй – богатырь сибирский, уже сейчас видно.

Все эти перегляды не заняли и двух минут.

– Вот! «Анна Каренина», сочинение графа Толстого. – Василий Кузьмич вышел из своей комнаты с книгой в руках. – Величайшее произведение! Вы, конечно, не в состоянии понять всей его гениальности. Однако стоит попробовать. Попытка не пытка, или, как выражается любезный Еремей Николаевич, отказ не обух, шишек на голове не оставляет.

«Анна Каренина» в ту зиму приковала Медведевых надолго. Читали вслух Нюраня и Еремей Николаевич, у которых была хорошая дикция. Дочь, устав, передавала книгу отцу, потом он снова ей. Большие куски текста были непонятны, но их не пропускали. Баритон Еремея Николаевича или колокольчатый голосок Нюрани озвучивали цепочки незнакомых слов о непонятных размышлениях, в смысл которых и вникать не хотелось. Возникало чувство приятной дремотности, как при слушании монотонных повторов в привычных сказках. При этом за перипетиями личных отношений героев следили пристально.

Все, даже Анфиса, ждали вечернего чтения – хотелось узнать, как сложится судьба Анны и ее любовника, старика Каренина, обманутого неверной женой, и хорошего помещика Левина, развратного брата Анны с дурацким именем Стива и его несчастной жены с не менее глупым именем Долли.

Василий Кузьмич, нервничавший из-за сложности произведения, представленного на суд «дремучих людей», немного успокоился – сюжет романа вызывал очевидный интерес. Но все же доктор то и дело взрывался, когда слышал глупые вопросы. Его ответы тоже нельзя было назвать деликатными.

Марфа как-то спросила:

– Все графья книжки писали?

Она любопытствовала, потому что Василий Кузьмич называл автора «граф Толстой».

– Дура! – ответил ей доктор. – Лев Николаевич был единственным порядочным графом-литератором в нашей истории! Он был глыба! Создатель Учения! Что вы знаете о толстовстве? Ни бельмеса не знаете!

В другой раз Степан выразил сомнение: мол, где это офицеры царской армии находили столько времени для амурных походов, «прямо как мушкетеры».

– Ты придираешься к частностям! – вскипел доктор. – Писатель отбрасывает все ненужное, попутное, сосредоточиваясь на том, что хочет

донести до читателя. Шагистику и учения в летних лагерях, что ли, граф Толстой должен описывать? Болконский жертвует ради любви своей блестящей карьерой! Разве это не ясно?

– Болконский – это кто? – удивился Степан.

– Вронский! – ударил себя по лбу доктор. – Я перепутал. Болконский в «Войне и мире». До эпопеи «Война и мир» вам как до луны. Может, внуки ваши и дети осияют, – махнул он рукой в сторону.

И все посмотрели на мирно спящих младенцев, у которых, ясное дело, будет другая жизнь, только бы побольше мира в ней и поменьше войны.

Прасковья, услышав первую фразу романа «Анна Каренина», надолго задумалась, даже пропустила, о чем шла речь дальше, потом у Нюрани и Марфы выясняла.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

«Так ли? – размышляла Парася. – Если бы все были счастливы так, как я со Степаном, то мир был бы полон добрых, сердечных людей. Счастье, оно будто пир – больше, чем можно съесть, и поделиться не жалко. Все бы делились друг с другом, и наступила бы благодать. А несчастливые семьи? Они-то ноне все на одно скорбное лицо. Какой дом ни возьми – мужиков-кормильцев поубивало, продразверстками все пограблено, вдовы с сиротками, голод и лишения... Господи! – незаметно перекрестилась она. – Дай долгих безболезненных лет Анфисе Ивановне! Прости ее прегрешения! Ведь ее хлопотами да стараниями семья в тепле и достатке пребывает!»

Пока книга не закончилась, ее не обсуждали.

Но вот Еремей Николаевич прочел последнюю главу – размышления Левина о смысле жизни. Суть этих размышлений осталась слушателям непонятной.

Еремей Николаевич закрыл книгу и сказал:

– Мудрено. – И после паузы добавил: – Несчастливая женщина Анна.

– Дык с чего это несчастная? – возмутилась Анфиса. – Развратная!

– Она сыночка бросила, – поддержала свекровь Прасковья.

– И дочку не полюбила, – тихо проговорила Марфа.

– У меня сеструха была, – вдруг подал голос Аким. – Сбежала к мельнику, а у самой двое деток и муж... вроде Каренина, старый...

Степан невольно и громко вздохнул, вспомнив Катерину, свою первую любовь.

Прасковья посмотрела на мужа с удивлением, а мать – с хитрым

прищуром, как бы говоря: «Помню, как ты вьюношей бегал на хутор к мужниной жене!»

Степан от материнской ухмылки едва не взорвался и, прямо глядя Анфисе в глаза, отчеканил:

– Не судите и не судимы будете!

И тут заговорила Марфа, цитируя какие-то святые книги:

– «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». – Она на секунду замолчала и продолжила: – «Не судите и не будете судимы; не осуждайте и не будете осуждены; прощайте и прощены будете». «Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом».

Марфа покраснела, смутилась, когда на нее все уставились. Она впервые и неожиданно для себя выступила в защиту Степана, которого мать колола по любому поводу.

Чувство Марфы к Степану уже не было удушающе тоскливым, оно перешло в тихую нежную грусть, не терзало сердце ржавой пилой, а едва слышно ныло в груди. Так бывает, когда где-то далеко на болоте курлычут невидимые птицы и ты их не ушами слышишь, а за грудиной.

– Обстоятельства разные жизненные бывают, – сказал Еремей Николаевич.

– На обстоятельства неча пенять! – отрезала Анфиса Ивановна. – Обстоятельствами любое зло и разврат оправдать можно. Ишь ты, закобелил ее Вронский! Сына бросила и мужа венчанного, в Италию умахнула. Хорошей супруге Италия не требуется!

– Я вам удивляюсь! – воскликнул Василий Кузьмич. – То есть я не удивляюсь тому, как примитивно вы оцениваете сюжет гениального произведения. Граф Толстой пишет о душевных переживаниях, он делает акценты на мучительной роковой непереносимости страстей...

– Где у гулящих баб акценты страстей, известно, – перебила его Анфиса Ивановна. – Книга правильная, но вредная.

– Либо правильная, либо вредная, – усмехнулся Еремей Николаевич.

– Вредная, потому что жалость к Анне вызывает, а правильная, потому что таким, как она, один путь – самоубийство, – пояснила свою точку зрения Анфиса. – Граф Толстой ее под поезд кинул справедливо.

Анфисе не нравилось расхождение мнений. А более всего то, что все мужики почему-то испытывали к Анне Карениной сочувствие. Хорошо, хоть женская часть семьи была единодушна в осуждении развратницы. Нюраня не в счет – дочка только глазами хлопала и с одного на другого

спорщика взгляд переводила.

– Что вы все про Анну?! – потрясла ладошками в воздухе Нюраня. – Она же старая! Левин! Его идеи! – захлебнулась, не найдя слов, и повернулась к брату: – Степа, скажи!

Мать не дала большаку рта раскрыть.

– Та-ак! Ышшо одна идейная вылупилась! – уперла кулаки в бока Анфиса. Она не помнила, в чем состоят идеи Левина. Но от самого слова «идеи» ничего хорошего ждать было нельзя. – Анадьсь я тебя этими идеями пониже спины повоспитываю!

Нюраня тут же торкнулась под мышку к сидящему рядом Петру, он приобнял ее. Укрываясь от материнского гнева, девочка часто ныряла под крылышко к братьям или к отцу.

Никому столько угроз не высказывалось, как Нюране, никто столько язвительных слов не слышал, сколько Степан. И в то же время все видели: и большак, и младшая дочь у Анфисы на особом положении.

– Не надо переводить наш диспут в область личных отношений! – вскочил и принялся мерить шагами горницу Василий Кузьмич. Ему лучше всего думалось и говорилось в движении. – В конце концов, это чрезвычайно любопытно! Тут, в зауральских снегах, среди дремучей тайги, и вдруг спор об «Анне Карениной»! Лев Николаевич много бы отдал, чтобы услышать, как его произведение обсуждает народ.

– Василий Кузьмич, а вы женаты были? – поинтересовалась Парася.

– Увы! – развел руками доктор.

– А детки? – спросила Марфа.

– Не дал Бог.

Анфиса чутко уловила, куда гнут снохи.

– И считаете, что право имеете судить о делах семейных? – с известной улыбочкой поинтересовалась она.

– Но помилуйте!.. – растерялся доктор.

– Если ты не дворянин, то про них и не поймешь? – пришел на помощь Еремей Николаевич. – А ежели в морях не плавал, то про морские путешествия тебе читать не положено?

– Именно! – воодушевился доктор. – В романе графа Толстого, отбросим в сторону фабулу, ставится вопрос о человеческих страстях. О непреодолимом зове природы! Надо ли его давить? Или отдаться чувствам, над которыми ты не властен?

На лицах женщин было написано решительное: «Давить!» Мужские физиономии демонстрировали явное смущение.

– Вот это-то и поразительно! – окинув всех взором, поднял палец

Василий Кузьмич. – Женщины – как бы хранительницы морали, но в каждой сидит Анна Каренина. Мужики – это смесь Каренина и Вронского. Сегодня один вылезет, завтра – другой.

– А Левин? – спросила Нюраня.

– Исключение из правил. Истинность любого правила подтверждается наличием исключений.

– Я жену не любил, – вдруг заговорил Федот. Обычно он кунял, напившись вечером чаю, мурлыкающе похрапывал, привалившись к стене. «Анну Каренину», казалось, проспал. – Она, жена-то, хорошая была, работающая, чистотка, троих сынков мне родила, на лицо и по фигуре ладная... А не любил... Тянуло к Глашке... Мы с ней раньше, до свадьбы... и потом... Не мог я собой управлять. Глашкин муж большей частью на отхожем промысле пребывал, вроде Еремея Николаевича. Извините! А как всех постреляли красные да пожгли... Я их видел, трупы-то... сынков... Гришка, Егорша и младший Ванятка... Мать их, супруга моя, тут же, руками к деткам тянется... И все черные, обугленные до костей, глазницы дырявые... Невдалеке еще одно тело пожженное. Я по колечку опознал, сам то колечко Глашке подарил. Зачем-то бежала она в мой дом, наверное, предупредить, да не успела, приняла смерть вместе с моими законными... Опомился я, когда от Глашкиного скелету один пепел остался... Не знаю, сколько часов али минут я Глашку сапогами топтал, косточки и прах в землю утапывал... Жену и деток похоронил, а от Глашки ничего не осталось...

Марфа и Прасковья беззвучно плакали, вытирая щеки. Нюраня сморщилась и хлюпала носом. Мужики посуровели, нахмурились.

Анфиса знала, что у работников, Акима и Федота, от прошлой жизни одни головешки, но подробностей не ведала.

Она потрогала бок самовара:

– Застыл совсем. Акимка, Федотка! Чего расселись, как в гостях? Воды плесните да углей из печи добавьте!

Работники подхватились с готовностью, точно окрик хозяйки был им спасением от страшных воспоминаний.

– Граф Толстой... конечно... – принялся снова расхаживать Василий Кузьмич. – Знаете ли, у его учения было огромное число последователей! Я и сам... Непротивление злу насилием... прочее прекраснотушнее. Но граф, что поразительно, никогда не хотел выступать таким пророком, за которым потянутся миллионы... Может, напрасно? Как бы то ни было, говорят, толстовцев он терпеть не мог. Его публицистика... На склоне лет графушка статьи писал... верные, справедливые... Он гениально предчувствовал

потрясения, которые ждут Россию. Но что-то в этих статьях... Не знаю, как сформулировать. Щи постные, без мяса. В «Анне Карениной», в «Войне и мире», не говоря уж о «Севастопольских рассказах», есть нерв. Есть мясо... О чем я? Сбился. Доктор молодой, мой преемник, привез итоговую книгу графа Толстого «Путь жизни». Доктор на сей труд молится. А на что ему еще молиться, позвольте спросить, когда пациенты мрут от недостатка самого элементарного? Как защитить свое сознание? Доктор не пьет. Да я и не хую сей труд! Новая библия, свод морально-нравственных наипрекраснейших правил этот «Путь жизни». Написанная восьмидесятилетним мудрецом!

– Молодых-то мудрецов не бывает, – подал голос Еремей Николаевич.

– А вот тут-то я с вами соглашусь, но и поспорю! Может ли старец, гениально одаренный от природы, безусловно наделенный жизненным опытом и прочитавший много книг, обогащенный всей духовной мудростью человечества, от индийских свитков до мормонских библий, но... Но! В силу возраста физиологически утративший телесную мощь, рефлекс... Может ли он стать для нас пророком?

Василий Кузьмич оглядел слушателей – никто не понял его торопливой речи.

– Я скажу проще, приведу пример. Толстой пишет, что совокупление, подчеркиваю, даже соитие законных мужа и жены без цели зачать ребенка... Внимание! Безнравственно, грешно! Как вам?

– Правильно! – вырвалось у Анфисы.

Она в это момент находилась точно напротив мужа и поймала его взгляд. Нехороший взгляд, жалостливый – так на калеку смотрят.

Анфиса повернула голову: Марфа аж светилась вся от какого-то внутреннего ликования, Параська и Степан хитро перемигивались, Нюраня заскучала.

– Что? – не понял возникшей паузы Василий Кузьмич.

Ему было невдомек, что интимная сторона жизни крестьянами никогда не обсуждается. Шутки, намеки – другая статья, а серьезно и публично говорить о том, что только супругов касается, не принято.

– Что к чаю желаете? – спросила Анфиса, тоном ставя точку в разговоре.

Марфа и Прасковья поднялись.

– Куда? – гаркнула Анфиса, досадуя на свою оплошность.

– Деток кормить, – сказала Марфа.

– Заплакали, – кивнула в сторону их комнаты Парася.

Обе снохи вытянулись в струнку, как солдаты перед ефрейтором.

– Идите, – отпустила их Анфиса.

Матери и дети

Сына Марфы назвали Дмитрием. Петр, когда в первый раз увидел младенца, гыгыкнул:

– О! Какой Митяй!

– Дмитрий Петрович Медведев? – задумчиво спросила Анфиса. – Хорошо звучит, пусть будет Митяй.

Давать имена по святкам у Медведевых было не принято, и никакой сакральности за именами они не признавали.

Марфе было не важно, как назовут сына. Ему подошло бы любое имя, потому что любое имя – ничто в сравнении с этим сокровищем. Все равно что дать имя небу. Как угодно его величай, оно все равно останется огромным, переменчивым, непостижимым, великим, жизненно необходимым.

К трем месяцам близнецы Ванятка и Васятка, дети Прасковьи и Степана, едва набирали вес, который был у Митяя при рождении. Сам же он, пухленький, как молочный поросенок, рос словно на дрожжах. У Прасковьи молока хватило бы на одного ребенка, а на двоих недоставало. Марфа прикармливала племянников. У нее-то молока, даже при аппетите Митяя, – залейся.

Кормление младенцев, когда матери оставались с ними наедине, навсегда осталось в памяти Марфы и Прасковьи как время удивительной благодати, спокойного тихого счастья. Молодые женщины сблизились во время беременности, называли друг друга сестрами, а теперь их сыновья, родившиеся практически одновременно, – не только двоюродные, но молочные братья.

– Дай я Митяйку покормлю, вдруг мое молоко слаще? – как-то попросила Прасковья.

Марфа протянула ей сына. Митяй рано стал протестовать против тугого пеленания, и ему оставляли руки свободными, укутывая в кокон пеленок только ноги.

Прасковья поднесла к ротiku малыша сосок, и Митяй его жадно захватил, еще и ладошки положил на грудь, словно боялся, что источник еды отнимут до того, как он насытится.

– Ой, как тянет-то! – поразилась Прасковья. – Вот силища! Ай да богатырь! Сестренка, а по вкусу ему молоко-то мое, ишь как жадно тянет, с прихлебом.

Марфа, кормящая Ванятку, улыбнулась:

– Намнет он тебе сосок-то. Даром что беззубый, а как прихватит – ыскры из глаз.

– Ты смотри, уже все высосал! И злится, злится-то! Я тебе из другой сиськи дам, коль теткино молочко понравилось. Что за обед в одну перемену? – подражая голосу свекрови, Прасковья притворно нахмурилась. – Мы не голытьба, чтобы одним блюдом, пустыми щами, наесться.

Марфа рассмеялась, заколыхалась, сосок выскочил из ротика младенца.

– Ой, прости, миленький! Такая твоя мама пересмешница, чисто артистка.

Василий Кузьмич запретил давать детям со́ски – жеваный хлеб в тряпице: «Суют младенцам в рот всякую грязь, а потом удивляются, что у них дети мрут как мухи!» И еще доктор велел в тихий морозный солнечный день выносить младенцев во двор, укутанных, конечно, но чтобы лицо открыто было. Мол, солнечный свет от рахита убережет.

Анфису эти рекомендации поначалу пугали:

– А ну как застудятся дыханием морозным?

– Не застудятся, – говорил доктор. – Я же не прописываю их часами на улице мариновать. Ненадолго! У северных народов только лучик сквозь тучи появится, они своих малолетних эскимосов под него подставляют.

В Сибири для убережения от рахита младенцам давали рыбий жир. Анфиса еще осенью натопила две большие бутылки рыбьего жира: мутноватого – пойдет в тесто и чистого, прозрачного, пахучего – внукам.

– Ну и сколько вы прописываете им рыбьего жира? – спросил Василий Кузьмич, который сам толком не знал положенной дозы и потому нервничал. – Вы даете себе отчет, что любое лекарство действительно только в строго определенной пропорции? Мало – не поможет, много – покалечит. Сначала они своими гнилыми зубами жуют хлеб и толкают его в рот младенцу, а если не помогает и тот продолжает плакать, поят его маковым молочком – опиумом! Заливают в него масло в количествах, от которого и печень взрослого человека выйдет из строя...

– Не даем мы маку, – перебила Анфиса Ивановна. – Дык сколько рыбьего жиру-то надо?

Василий Кузьмич не слушал и гнул свое:

– Это какой-то естественный отбор по-крестьянски! Большой привет Дарвину! Кто выживет, потом, да, согласен, закалывание, хорошее питание

– получите знаменитое сибирское здоровье. Но вы когда-нибудь себя спрашивали, сколько детей умерло от невежества матерей и знахарок?

– Я себя не спрашивала, я у вас интересуюсь на предмет рыбьего жира.

– Десять капель, – принял решение доктор. – Ни одной боле! И на солнце их, на воздух! В избе не проветривается, натопят так, что пот градом, а потом хотят, чтобы микробы не размножались!

К весне, когда внукам исполнилось полгода и Митяй первым уже встал на ножки, Еремей Николаевич сделал им манежик. Квадратный поддон, поверху невысокие балясины и перильца, оструганные до стеклянной гладкости, чтобы дети не занозились. На доски клали одеяло и пускали детей. Такой манежик Еремей Николаевич как-то в городе подсмотрел, а Василий Кузьмич горячо одобрил, что бодрствующие дети не в люльках качаются, а в вольном ползании пребывают. И тугое пеленание, которое якобы от кривых ножек предохраняет, отменил: «Кривые ножки – симптом рахита, дикие вы люди! Сначала бинтуют детей до года, а потом хотят свободу личности получить».

Младенцы были одеты в длинные фланелевые рубашонки, на головах – чепчики, на ножках – из мягкой козьей шерсти пинетки. Под рубашонки им навязывали подгузники для впитывания отходов организма.

Наблюдать за малышами было потешно. Тем более что никто и никогда не видел, как ведут себя подрастающие сосунки. Мать обычно как? Накормит, переоденет и пошла дальше трудиться. Отец или дед раз в день, может, и подойдут, «козу» сделают. А тут зима, все дома, в манежике короеды ползают и гукают. Вот ведь как интересно: мелкота неразумная, а тоже не без проказливой хитрости и подражания. Митяй стоит, покачиваясь, балясины трясет. На секунду замирает – как бы мысль ему в голову пришла. Понятно, какая идея: слышится пулемётное «пук-пук» и звук облегчения по-большому. Ванятка и Васятка, которые только попластунски передвигаются, прислушались и тоже следом: «пук-пук» и далее как положено.

– Вот это коллективизация! – смеется Еремей Николаевич.

– Фу, запах! – морщится Анфиса Ивановна. – Прасковья, Марфа, смените детям живо!

Женская половина семьи считала, что близнецы совершенно различные: у Ванятки глазки продолговатее, носик приплюснутее и ушки вывернуты не так, как у Васятки. Мужчины ничего продолговатого, приплюснутого и вывернутого не видели, родных сыновей не различал даже Степан, отец. Зато все сходились в том, что пацанята не по годам, то

есть не по месяцам смышленные. На вопросы: «Где мама? Где папа? Где Нюра? Где деда, баба?» – правильно поворачивали головы (правда, папами были и Степан, и Петр, а мамами – и Марфа, и Прасковья). Они узнавали бабушку Тусю, когда та приходила, колотили ногами и руками радостно. Потому что она с ними играла под прибаутки веселые.

Анфиса ревниво бурчала:

– Ты совсем их зашшикотала, уж заходятся!

Сама Анфиса никаких стихов и песенок не знала, а Туся – в изобилии. Научила молодых матерей и колыбельным, и потешкам на все случаи. Просыпается ребенок, потягивается, ему гладят ручки, ножки, разминают спинку (Василий Кузьмич называл это «народный массаж»), кушает ребенок прикорм – толокно с ложечки, плачет, показывает пальчиком на солнце, на снег, на дождь, купают малыша, вытирают его – каждое действие сопровождается коротким, легко запоминающимся стишком.

Анфиса боялась, как бы Митяю от отца не перешло гыгыканье и вообще дурнота в голове не досталась. Но внук пока выказывал, напротив, чудеса сообразительности. Не поверила бы, если б сама не видела и не слышала. Семимесячный Митяй держится за перильца в манежике, прыгает на месте и так четко слоги выкрикивает: «Ба... на... ва... га». И вдруг осмысленно, глядя на Марфу: «Ма!» Попрыгал еще, на Петра взгляд перевел: «Па! Ы-ы!» – прямо-таки передразнил отца. Все просто ахнули.

Сначала думали, что атаманом у них будет пухлый бугаенок Митяй. Но вот близнецы подросли, окрепли и стали выказывать характер. Отберет себе Митька игрушку, отпихивает братьев, не отдает. Они отползут в угол манежа для разбега, на четвереньки встанут и дружно вперед засеменят, чисто козлята. Хрясь Митьку головами – кто куда попал. Потом, правда, сами эту игрушку между собой поделить не могут, и вот уже все трое ревут-заливаются.

Сытые здоровые дети на вольном выпасе не особо досаждали своим плачем. Хотя, когда зубки резались, и матери с ними намучились, и остальные домочадцы спать не могли – пацанята орали, друг друга заводя, так, словно у них штыки винтовочные из десен лезли.

Еремей сделал внукам лошадки-качалки. Красоты необыкновенной, и все разные. Одна лошадка – серая в яблоках, с белой гривой и развевающимся хвостом. Вторая – гнедая, шоколадно-глазуревая, а хвост и грива – рыжие. Третья черна как смоль, с тонким золотистым узором, хвост и грива чуть дымчатые. У всех лошадок морды были не совсем лошадиные, а чуть-чуть как лица человеческие. И почему-то сразу становилось понятно, что серая – Митяйкина, гнедая – Ванина, а черная – Васяткина. И

дело тут не в сходстве, у самих-то детей мордашки еще неопределенные, и все трое друг на друга похожи. Что-то неуловимое было Еремеем подмечено, такое, что словами не описать, пальцем не показать, а ощущение дает безусловное. На удобных спинах лошадок были закреплены маленькие седла, вниз шли стремяна на кожаных ремешках с запасом, чтобы отпускать по мере роста детей.

– Потрясающе! – воскликнул доктор. – Еремей Николаевич, в вас умер великий скульптор!

– Дык жив еще, – улыбнулся Еремей. – А насколько великий – сомнительно. Но за доброе слово спасибо!

– Его бы умения, да на пользу семье, – сказала Анфиса. – Мы б уже миллионщиками стали.

– Мама! – возмутилась Нюраня, которая с детской завистью носилась вокруг лошадок. – Ну какие теперь миллионщики? Всех капиталистов давно как клопов подавили. Можно я покачаюсь? Я тихонечко! И-го-го!

Культура и звери

Многоснежье затянуло весну и вызвало большой паводок, скотину долго не могли перевести на подножный корм. Медведевым заготовленного сена хватило, а во многих хозяйствах полудохлых отощавших коров и овец с трудом поднимали на выпас.

Степан ближайшей целью своей жизни поставил создание артелей и кооперативов, мало бывал дома, носился по району, мчался в Омск выбивать необходимую технику или семена. Он провел столько времени в седле, что уже, наверное, по расстоянию доскакал до Москвы. Степан с горечью отмечал, что коммунары и кооператоры трудятся совсем не так, как единоличники. Полевые работы начались поздно, и провести их надо было в короткие сроки, поэтому единоличники работали от зари до зари. Они помнили золотое правило: один весенний день зимний месяц кормит. Коммунары в большинстве своем усердия не проявляли, как батраки, которых хозяин не выгонит – каждые руки на счету, заменить нечем. Иждивенческие настроения росли и множились, что было неожиданно для Степана, о таком подвохе он не подозревал. В прошлом поголовно бедняки, коммунары считали, что новая власть устанавливалась специально для них и теперь должна опекать их, как мать слабое дитя.

Главным, конечно, было поставить во главе кооператива или коммуны хорошего руководителя – классово сознательного лидера, умеющего повести за собой и обладающего хозяйской сметкой. Таких практически не было. Классово сознательные партийцы были хороши глотку драть, а пахать и за скотом ходить им не в удовольствие. Из города для поддержки и усиления кооперативного движения присылали проверенных партийцев. Они приезжали с пухлыми портфелями распоряжений, постановлений, планов площадей посевов и разнарядками продналогов.

Бюрократическая волна всевозможных постановлений Степана поражала – что ни неделя, то новое указание. Волна зарождалась в столице, катилась по Центральной России, переваливала через Урал, нисколько не ослабевая. В Омске сидело много народа, кумекая, подсчитывая, ломая карандаши, как общий план посевов и хлебозаготовок раздробить на деревни и села, едва ли не на каждое хозяйство. Единоличники никакого постороннего планирования не признавали и только посмеивались над ним. Как и их деды, они планировали, исходя из того, каким обещает быть год – благоприятным для ржи или пшеницы. Конечно, всегда можно было

ошибиться, но для того и резервные посевы. Весной многие посадили больше обычного льна и конопли. Население в деревнях преимущественно женское, лен и коноплю обрабатывать, в пряжу превращать – их вековечное занятие. Домодельная одежда поневоле в моде, да еще постельное белье, полотенца, мешки для хранения урожая и холсты для покрытия шуб и тулупов – все это надо производить самим.

Степан на деревенских сходах агитировал, призывал, давал честное партийное слово, что осенью хлебозаготовки пройдут справедливо, у крестьян государство купит хлеб по хорошей цене. Крестьяне кивали, не возражали и... делали по-своему. В честное государство они не верили, рынок и справедливая цена – понятия зыбкие. Рынок – для выгоды торговли, соревнование, в котором не могут все поголовно быть победителями. Проигрывают чаще всего те, кто торопится. Хорошая цена осенью бывает много меньше плохой цены весной. И все-таки на территории, подначальной Степану, посевные площади зерновых были значительно больше, чем в среднем по области.

Кооператоры и артельщики к планам, спущенным сверху, относились безучастно, как и к руководителям-горожанам, которые ни бельмеса не смыслили в сельском хозяйстве и с чувством превосходства смотрели на крестьян – понукали, орали, едва ли не хлыстами размахивали. Главным для них было – отрапортовать. Что посеяли, где посеяли – не важно, только бы отчитаться о выполнении плана. Степан видел в артельщиках что-то детское: безответственность, спокойное восприятие окриков и угроз. Ребенок, понутив голову, слушает, как распекают его родители, но его смирение вовсе не означает, что он усвоил наставления и будет им следовать, что завтра снова не напроказничает.

С одной стороны, ситуация логичная: власть новая, и ее движущая сила – пока только дети. С другой стороны, у сорокалетних-то мужиков, отцов семейств, уж должны, в конце концов, появиться хозяйский подход к делу и забота о том, чтобы росло благосостояние? Принцип «общее (земля, орудия, скотина, птица, семена, урожай и прочее) – значит, и мое, личное» прививался плохо. «Общее» было чьим-то, отстраненным, абстрактным, не собственным.

Появились нехорошие примеры того, что работающие и ответственные мужики выходили из состава артелей и кооперативов, не хотели трудиться бок о бок с лодырями. Степан считал, что кнутом и пряником сгонять бедноту в артели – неправильная политика. Надо отобрать, сагитировать надежных мужиков, поставить над ними хорошего лидера. Успех (читай – достаток, богатство) обязательно будет, земля всегда отзывается на истовый

труд. И в сельском хозяйстве, в отличие от промышленности, результаты видны быстро – за сезон. Тут вступит в действие сила примера, иначе ее завистью можно назвать. Завистью не черной, а конструктивной – так лучше, чем по старинке. Преимущества совместного кооперативного труда были очевидны. Хотя при общем владении, подозревал Степан, все-таки надо оставить и что-то личное. Поля, пастбища, стада – общие, но огород или корова с телятником – личные. Однако тут же возникает вопрос: как быть с сеном на зиму? Сначала заготавливаем для общественного стада, а потом каждый для личного скота? Какая-то барщина получается... Вопросов много, никто наверху ответов не знает, там даже не задумываются, только директивы и планы спускают. Им, наверное, покажутся мелочью проблемы идеальной коммуны, сочетающей большое общее и маленькое собственное. Не хотят мудрецы в столице понять: личное отомрет постепенно, по мере роста благосостояния и коммунистического сознания, которое с трудом проникает в головы людей среднего и старшего возраста, но легко приживается в головах молодых. Ей, молодежи, нужно только дать аргументы. Молодежь всегда отвергает опыт предков. Правда, потом его принимает и выдает за собственный. Этот период, когда всё отвергают, а родительскую мудрость принимают в штыки, и надо использовать для формирования нового сознания! Поэтому в Степановой идеальной коммуне большинство обязательно должно быть молодым – парни и девки, недавно поженившиеся или с детьми малолетними...

Степан не заметил, как у него зародилась и стала крепнуть идея под названием «моя коммуна». Он не торопился воплощать ее в жизнь, потому что еще не мог найти ответы на многие вопросы экономического устройства «его коммуны».

Зато другая мечта осуществилась: давно хотел свозить Парасю в Омск и наконец устроил жене три дня культурного отдыха.

Они побывали в музее, где Парася впервые увидела живописные полотна. Вышла из музея на ватных ногах, с ощущением, что голову засасывает в громадную воронку – так велико было впечатление, которому и определения не было, хорошее или плохое. Слишком большое. Посетили цирк на Казачьей площади, где Парася покрывалась краской стыда, когда выступали гимнастки и акробатки, гибкие как змеи и раздетые почти догола. Силачи и борцы, тоже зачем-то раздетые, не произвели на нее впечатления – видала и могутнее мужиков. Животные: собачки, медведи и львы – вызвали жалость. Они исполняли трюки с торопливостью голодных, испортых, забитых трусливых существ.

Степан не мог все время посвятить жене и, пока он бегал по инстанциям, Парася гуляла по скверам, сидела на скамеечке.

– Как тебе? – постоянно спрашивал Степан. – Нравится?

– Чудно́, – отвечала Прасковья.

– Так чудно́, что противно? – допытывался Степан. – Или так чудно́, что увлекательно?

– Дак сразу чудное-то не разберешь, – уходила от прямого ответа жена. И обязательно добавляла: – Как я тебе, Степушка, благодарна! В другом мире побывала. А он под боком-то!

– Вот именно! Ограниченность сознания крестьян дает повод обвинять их в бескультурности, невежестве, дремучести. И тут надо действовать с двух концов: чтобы крестьяне тянулись к культуре, но чтобы и сама культура была им понятна, соответствовала их представлениям о прекрасном. Парася, ты меня понимаешь, поддерживаешь?

– Всей душой поддерживаю! Только в гостинице клопы, как бы мы домой не привезли.

В последний вечер они побывали в драматическом театре. Давали «Вишневый сад». Что такое «вишня», Парася не знала; о чем на сцене толкуют, не понимала. Сидеть в жестких креслах, обитых вытертым, непонятного цвета, залоснившимся бархатом, ей было брезгливо и неудобно. Если руки на подлокотники положишь, то либо соприкоснешься с соседом справа – толстобрюхим потеющим дядькой, либо окажешься в близости с мужем, который слева сидит. На людях жене к мужу льнуть не подобает. Поэтому весь спектакль Парася просидела, сплетя руки на коленках, выгнув плечи вперед, ввалив грудь, и очень устала от напряженной позы и от собственной неспособности понять, что происходит на подмостках.

На выходе им повстречался Данилка Сорока. Развязный, щегольски одетый, нетрезвый.

– О! Какие люди! Прасковья Порфирьевна! Позвольте поручкаться? Не хотите? Да и пошли вы... Степан, ха-ха, а чего это ты супругу нарядил, точно купчиху? – с издевательской усмешкой спросил он.

Степан побелел от ярости. Прасковья вспыхнула – знала, что Данилка прав.

Они с Марфой и не без участия свекрови готовили ей наряд для Омска. Изумительные козловые сапожки с высокой шнуровкой. Будь впору, на миниатюрной ножке они смотрелись бы кукольно изящно. Но у женщин Медведевых размер ноги сильно превосходил Парасин, пришлось в мыски сапожек тряпок напихать. Добротного шелковистого темно-зеленого сукна

юбка была присборена на тонкой талии. Блузка нежного одуванчикового цвета, вся в кружевах и прошивах, хотя их не видно из-за телогреи, надетой сверху. Телогрея в тон юбке, но посветлее, стеганная клеткой, в стежках едва заметная золотая нить. На голове... Женщины в театре были либо простоволосые, стриженные, на косой пробор пригладившие жирные волосы, либо закрывшие головы лихо повязанными красными косынками, а Парася укутана шелковой косынкой, с кистями. Степан ничего не заметил, но Прасковья-то понимала, что выглядит здесь чужестранно... если мягко сказать. Театральное представление обернулось для нее мукой, но это не повод портить настроение мужу, который давно мечтал свозить ее в Омск. И уж совсем не годится дать возможность подлому Данилке насмешки чинить.

Прасковья, утомленная, раздавленная и униженная этими тремя «культурными» днями, все-таки нашла в себе силы повернуться к мужу и спросить, точно в недоумении:

– Степушка, а это кто?

Еще и ткнула презрительно пальцем в Данилку.

Степан мгновенно обмяк, понял игру жены, рассмеялся:

– Леший его знает! Похожая харя у нас в деревне раньше бедокурила. Да кто их, варнаков, разберет? В черную кожу с головы до ног запеленаются, все на одно лицо. Пойдем, любушка!

Они обошли застывшего в пьяной злости Данилку и двинулись к выходу.

Данилка секундно окаменел. Не потому, что не нашелся с ответным выпадом, не потому, что побоялся – драка с председателем заштатного сельсовета Медведевым в фойе театра была бы Сороке даже интересна своими последствиями. Данилка застыл, потому что увидел, как они переглянулись и мгновенно поняли друг друга. Прасковья, на лице которой до первых его реплик было написано: «Скорее отсюда!» – и Степан, переставший дышать от ярости, вдруг, только глазами встретившись, преобразились. Не просто расслабились, а еще и зашутковали.

О том, что такая глубинная связь может существовать между мужчиной и женщиной, что они способны понимать друг друга без слов, с полувзгляда, Данилка не подозревал. Но открывшееся знание вовсе не вызвало у него зависти или желания иметь нечто подобное.

Он был насильник и убийца, людоед.

Волк не замечает грациозной красоты лани и не умиляется трогательной резвостью олененка. Для волка они только добыча, еда. Зверь по натуре, Данилка все-таки по рождению был человеком и не мог не

видеть в людях доброту, нежность, отзывчивость, преданность. Эти качества он презирал, хотя они подчас были сильнее страха, боли и угрозы неминуемой смерти. Некоторые подозреваемые на допросах держались до последнего. Кости у них сломаны, зубы выбиты, на теле, покрытом ожогами, места живого нет – кричат, стонут, сознание теряют, но не выдают своих.

Человеческое в звере бывает только хорошим. Прирученные животные умеют любить, понимают речь, они преданны безоговорочно и бескорыстны абсолютно. Зверское в человеке всегда страшно. Потому что ему нравится убивать не ради пищи, а из-за дикого животного инстинкта, который так же противоестественен, как рождение ребенка с хвостом. Хвостатых людей появляется крайне мало – один на миллионы. А те, что имеют «хвост» в душе, встречаются гораздо чаще.

Данилка Сорока давно лелеял мечту отомстить Степану Медведеву. В отложенной мечте была своя прелесть, сходная со сладким нетерпением перед первым ударом, который он нанесет на допросе арестованному. Но там все происходило быстро, а с Медведевыми он не торопился, выжидал, искал случая. Просто убить мужика вроде Степана – только мученика героического из него сделать. Надо известить весь его род – мать с отцом, брата, сестру, детей... Плодовитый гад, сразу двойню настрогал. И уничтожить их должен не Данилка, а власть, которую Степан сильно любит и ценит. Чтобы удары штыковые он получал не только в сердце, но и в голову, чтобы не только боль за близких, но и крушение веры превратили его в доходягу.

Планы Данилки откладывались, потому что его карьера, стремительно начавшаяся в ЧК, застопорилась в ОГПУ. Его корили за неоправданную жестокость, за то, что он пытается людей без цели, когда арестованные просто не обладают нужными сведениями. Лучше Данилы Егоровича Сорокина не было на выездных заданиях, поставленные цели всегда выполнялись. Но пошли разговоры о недопустимых средствах. Кто-то из отряда проговорился, что командир мародерствует, сильничает девок, а стариков заставляет становиться перед ним на колени. Сорока хотел вычислить доносчика и примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Заодно требовалось погасить слухи о его прошлом, мол-де не в красных партизанах героически сражался, а в составе банды грабил и жег хутора. Тут еще Вадим Моисеевич – доходяга чахоточный, Степки Медведева покровитель – вызвал к себе и зачитал коллективный, со многими подписями доклад, в котором рассказывалось о его бесчинствах.

– Я видел в вас истинного бойца революции, – с отцовской горечью произнес Учитель. – Я ошибался. К сожалению, на начальных этапах революции нам требовались люди, способные давить в себе жалость и сочувствие. Но утверждать, что эти люди станут основой нового общества, совершенно недопустимо и кощунственно.

«Надо прихлопнуть этого жида, – думал Сорока, не вслушиваясь в речи Вадима Моисеевича. – Развонялся, доходяга. У него авторитет и должность, навредит».

Со смиренной физиономией Данилка выслушал Учителя, который заявил, что считает необходимым поставить личное дело Сороки на бюро губкома партии.

Данилка давно вызубрил фразы, которые очень нравились большевикам.

– Решение партии для меня закон, – сказал он, хмурясь, изображая раскаяние, а внутреннее насмехаясь. И вышел из кабинета неверной походкой, как человек, который старается держаться твердо, но свалившиеся на него известия заставляют ноги дрожать. Данилка был не чужд актерства.

Следующей ночью кабинет Вадима Моисеевича выгорел. Охранникам удалось пожар остановить, и другие помещения не пострадали. Доносы на Сорокина были мелочью по сравнению с важнейшими документами, безвозвратно утерянными.

Данилка Сорока имел железное алиби – до утра просидел у старой большевички. Была у них такая, партийный псевдоним Астра. После каторги двадцать лет провела в эмиграции, а вернувшись на родину, оказалась в Сибири. В текущей ситуации она не разбиралась и была, в сущности, обузой, поэтому пристроили ее в секретариат – ведь Астра знала Кропоткина и Плеханова, с Лениным была на «ты». Семьи не имела, к старости стала невероятно болтлива, попадешься ей под руку – замучает воспоминаниями. Над Сорокой даже посмеивались – влип в клейкий поток бесконечных речей Астры, только к утру выбрался. От того, что посмеивались, алиби становилось еще убедительнее. Астра прекрасно помнила события многолетней давности, но забывала, что произошло день или несколько часов назад. Из ее памяти выпало, что кончились папиросы и Данила Егорович вызвался за ними сбежать. Но сам факт «интереснейшей беседы» она подтвердила. Сороке хватило времени устроить поджог. Вернулся и еще два часа слушал дряхлую старуху. Хотелось ее придушить, едва сдержался.

Вадим Моисеевич вскоре уехал на лечение, не ведая, что счастливо

избежал смерти от руки Данилки.

Степан с женой вернулись за полночь. На следующий день Марфа тихо в кути расспрашивала Прасковью: как было, что было?

Анфису Ивановну эти вопросы тоже занимали, хотя она не стала бы произносить их вслух.

– Что вы там шепчетесь? – прикрикнула свекровь. – Прасковья, в голос вещай!

– Очень благодарна Степану. В Омске было заманчиво интересно, очень культурно в музее, так же в театре. Цирк опять-таки, и еще в кинематограф ходили... Магазины... Моды совсем не наши, женщины даже возрастные – все стриженные и простоволосые, курят папиросы. Косынки красные мне понравились – заодно.

– Так ты теперь повадишься за модами в Омск мотать? – спросила Анфиса.

– Нет, матушка, – помотала головой Прасковья. – Народу в городе завозно: все спуют, спуют, всё лица, лица – муторно становится, не продохнуть, голова как с угару, а по телу будто черти молотили.

Анфиса услышала, что хотела, но и не подумала свое удовлетворение невесткам показывать:

– Чего застыли? Язвило бы вас! Всё бы лялкать, языками чесать! Послал Бог невестушек...

Затянувшаяся весна и, по приметам, грозившая рано наступить зима требовали выполнять полевые, огородные, ремонтные и строительные работы спешно. Анфиса, по словам Еремея Николаевича, вытянула из всех домашних жилы, намотала на руки, как вожжи, и правила, будто ямщицкими лошадьми, – безжалостно, давая лишь короткий отдых на еду и сон. Себя, конечно, тоже не жалела.

У Анфисы теперь было богатство, которое не купишь ни за какие деньги, – внуки, три парня. И ее внукам должно перейти зажиточное, справное, не худосочное хозяйство. Ее внуки должны расти в гордости, а в нищете гордости не бывает.

Правда

Митяю было восемь месяцев, когда Анфисе открылась правда.

Который день лили дожди, точно море-океан переселился на небо и разверзлись те самые библейские хляби небесные. Вода падала с высоты сплошным потоком, то усиливаясь, то ослабевая, но не останавливаясь ни днем, ни ночью. Злаки с полей еще не были полностью вывезены, а что свезли в ригу, прело и сгнить грозило. Анфиса злилась и нервничала, заставляла разбирать стенки в риге, устраивать сквозняки, ворошить зерно. Когда закладывали зароды (метали сено на шалашом поставленные решетины), Анфиса коршуном кружила. Хотя, конечно, коршун – птица безмолвная, а хозяйке покажется, что не рыхло сено мечут или плохо вычесывают, – и в бога и в черта оскандалит. Сено присаливали, но все равно оно могло осенью пригреться и сопреть. Кроме того, на присоленный корм зимой потянется зверье из леса, растащит зарод, что не сожрет, то в снег втопчет. А вывезти раньше времени тайные зароды нельзя – могут «спроприировать» в пользу голытьбы, которая в товарищества по совместной обработке земли объединилась. Они и в хорошее лето не могли толком кормов скотине заготовить, а нынче у голодранцев недокорм начнется с декабря.

Анфиса надорвалась на работе и от тревог. Грудь сдавливало, точно ребра стали уменьшаться в размерах и сжимать внутренности.

Она вошла в дом, чтобы хлебнуть горячего взвару, который по ее требованию всегда стоял в углу печи. От горячего питья становилось легче, меньше на сердце давило.

В доме, кроме невестки и мужа, никого не было. Марфа покормила близнецов, те спали в манежике. Теперь она давала сиську своему Митяю. Рядом сидел Еремей, гладил мальчика по головке и смотрел на Марфу...

Этот их перегляд был точно выстрел, или, вернее, сноп солнечного света, озаривший кусок земли до последней травинки, открывший правдивую картину. Анфисе сразу и безоговорочно стало понятно то, что прежде вызывало смутные сомнения, хотя никогда не становилось предметом ее размышлений. Анфисе было не до праздных размышлений, когда урожай погибает. Марфа и Еремей смотрели друг на друга с нежностью родителей, восхищающихся своим чадом. Так вот почему у пузатого, белобрысого, сероглазого Митяя не увидеть и черточки стойкой туркинской породы. Нет в нем ни капли Анфисиной крови. Митяй – дитя

греха, надругательства над Анфисой. Десятки мелких, неприметных знаков внимания Еремея снохе, которые Анфиса приписывала природной добродушности мужа, всплыли в памяти и теперь уже имели совершенно иное значение. А Марфина почтительность свекру? Ведь чувствовалось в этой почтительности что-то особенное, тайное, стыдное и в то же время властное, собственническое, точно она, Марфа, власть имеет. И еще... Что еще? Марфа, если бы муж Петр ее забрюхатил, стелилась бы перед ним, угождая и предупреждая любое желание, а она всю беременность была к Петру такой же безучастно-равнодушной, как все годы замужества...

Все эти мысли пронеслись в голове Анфисы за доли секунды, и она не разложила их по полочкам, хотя привыкла все реакции домашних анализировать, чтобы потом управлять ими – давить или поощрять. Это была вспышка молнии, за которой последовала страшная боль.

Мышь-предчувствие давно терзала Анфису. Силой воли Анфиса старалась мышь удавить, а та все жила, пицала и пицала. А теперь вдруг превратилась в большую злобную зубастую крысу, похожую на крокодилицу, однажды нарисованную Еремеем, а потом им же и стертую со стены в их супружеской спальне... И эта крыса-крокодилица... А ведь он ее, Анфису, законную жену, так называл в моменты ночной близости... Все смешалось, перепуталось, непотребством замутилось... И эта крыса-крокодилица, оказавшаяся внутри Анфисы, бывший писклявый мышонок, разверзла пасть и вцепилась в Анфисино сердце...

Марфа и Еремей не услышали, как вошла Анфиса. Обернулись только на шуршащий звук падающего тела: по стене сползала на пол Анфиса, безумно вытаращившая глаза, раскрывшая рот в беззвучном крике невыносимой боли.

– Фиса, Фисонька! – подскочил к жене перепуганный муж. – Что с тобой?

Разорванное крысой сердце брызнуло двумя горячими кровавыми струями в горло и в левую руку. От боли Анфиса не могла ни дышать, ни говорить, но почему-то ясно, каким-то непонятным внутренним зрением, видела эти две кровавые струи – в шею и в руку.

Анфиса правой рукой рвала на горле высоко застегнутую на мелкие пуговички блузку. Когда-то это была парадная блузка, да прохудилась под мышками, латаная, перешла в рабочую одежду, а крохотные пуговички-жемчужинки на воздушных петельках остались и теперь, вырванные с мясом, сыпались на пол дробным драгоценным дождиком...

– Марфа! Скорее за доктором! – закричал Еремей Николаевич.

Сноха оторвала младенца от груди; тот, недокормленный, капризно

заплакал, разбудил Ванятку и Васятку, к которым его положили в манежик.

– Зови! – перекрикивал Еремей Николаевич плачущих детей. – Всех зови!

Марфу тоже испугал вид свалившейся бесформенной грудой Анфисы Ивановны, хрипло дышащей, царапающей горло. Ноги у свекрови были широко раскинуты, юбка задралась, обнажив пухлые колени. Голова запрокинута, платок сполз, рот широко открыт в мучительном оскале, и видны пустые провалы в местах потерянных зубов.

Анфиса Ивановна всегда была крепкой, сильной и выносливой. Она никогда не жаловалась на здоровье и терпеть не могла, если другие ныли по пустякам. Анфиса Ивановна говорила, что здоровым еще никто не умер, к смерти все больные телом, но если по каждому «кольнуло», «стрельнуло», «заныло» тревогу бить, то больным не только умрешь, но и остаток жизни проведешь. Анфиса Ивановна была опорой, столпом, на котором покоились благополучие семьи и судьба каждого из ее членов. Не было ни одного признака, ни одного предвестника того, что столп рухнет, свалится – Анфиса Ивановна казалась вечной. Поэтому Еремею Николаевичу и Марфе было страшно увидеть ее беспомощной, безобразной, с раскоряченными ногами, гнилыми зубами и растрепанными волосами.

Их ужас передался остальным, когда Марфа выскочила на улицу с криком:

– Горе! Ой, горе!

Если не считать воплей Марфы во время родов, то можно сказать, что невестка Анфисы Ивановны никогда не повышала голоса, никто не слышал от нее громко сказанного слова, окрика или восклицания. Крупная телом, Марфа была тиха и незаметна.

Прасковья хлопотала в летней кути, и первой мыслью ее пронзило – беда случилась с детьми. Быстрее птицы Прасковья метнулась в дом.

Василий Кузьмич занимался с Нюраней в амбулатории. Несколько недель назад Степан привез анатомический атлас и учебник по кожным болезням – то, что удалось найти в Омске. Обе книги были проиллюстрированы такими картинками, что доктор и его ученица посчитали за благо не посвящать Анфису Ивановну в суть своих занятий.

– Скорее! Она! Горе! Ой, горе! – частила Марфа.

– Кто «она»? – недовольно посмотрел Василий Кузьмич поверх очков. – Ты чего блажишь, как юродивая?

Марфа не успела ответить. Нюраня сообразила:

– Мама! С мамой плохо! – и бросилась к выходу.

Марфа, понимая, что словами ничего объяснить не сможет, схватила

доктора в охапку и поволокла на улицу.

– Пусти, дура! – кричал Василий Кузьмич. – Ты мне ноги переломаешь!

Но Марфа не слушала, волокла его, брыкающегося, к дому. Доктор счел за благо поджать ноги и был внесен в избу на руках.

Там уже собрались все: Прасковья, Нюраня, Петр, работники Аким и Федот. Еремей Николаевич, поправив жене юбку, гладил ее по коленям и приговаривал что-то ласковое.

Анфиса Ивановна, хрипло дыша, смотрела на мужа с неприкрытой жгучей ненавистью. Она подняла голову, обвела взглядом собравшихся домашних, остановила взор на Марфе...

Марфа отшатнулась, как от удара, схватилась руками за лицо. Показалось, что свекровь не взглядом, а кинжалом ее полоснула, до крови располосовала.

Анфиса закрыла глаза и повалилась на бок.

– Расступитесь! – скомандовал доктор. – Что вы тут сгрудились? Ей воздух нужен!

Всем было страшно и хотелось помочь, действовать.

Аким, желая дать хозяйке воздуха, недолго думая, подошел к окну и вышиб раму наружу. Следом Федот подскочил к другому окну и саданул кулаками по стеклу, мгновенно окрасившемуся кровью.

– Вы мне тут шекспировские страсти! – визгливо закричал доктор. – Все вон! То есть в сторону! Молча-а-ать!

Василий Кузьмич прекрасно понимал, что значит для семьи потеря Анфисы Ивановны. Да и для его благополучия тоже.

– Петр? – оглянулся Еремей Николаевич. – Где Петр? Нюраня!

Отец вспомнил о младшем сыне, которого любой испуг мог довести до судорог, а общий страх – и вовсе рассудка лишить.

Петр стоял у божницы, мелко трясся, его обычное гыгыканье было судорожно беззвучным.

Умница Нюраня подошла к нему, обхватила за талию, положила голову на грудь:

– Ой, братка, страшно мне! Обними-ка меня крепко, защити-ка свою сестричку... Ой, кто меня-то несчастную да ухоронит?..

Она причитала, подражая говору и интонациям Туси, рассказывающей сказки про несчастных девушек. Те девушки были глупыми и беспомощными, лили слезы по каждому поводу. Но на брата Петра уловка Нюрани подействовала. Он крепко прижал к себе сестру, восстановил дыхание и загыгыкал привычно.

Доктор хлопотал вокруг Анфисы Ивановны, бормоча:

– Пульс... сердечный ритм есть, дыхание... да... Не все так плохо, как вы тут утверждали... Препараты камфары... Несем ее на кровать. Мужики, ети вашу через коромысло! Окна бить всякий может... Хотя при таком шоке... Я сам чуть не обоссал... Так и будем стоять? Нюра! Оставь этого гениального дебила, он уже в норме. Пулей за аптечкой!

Петр торкнулся лбом в ухо сестре:

– Спасибо-ка! Ход ферзем.

Нюраня всегда подозревала, что в брате Петре живут два человека: один, глупый, большой, рыхлый гыгыкальщик, укутывает другого – маленького, нежного, очень умного и ранимого.

Хватая без разбора склянки и банки с препаратами и порошками в амбулатории, Нюраня не думала об особенностях натуры Петра. Она удивлялась себе. Конечно, испугалась за маму, до колик в животе испугалась. Но когда тятя выкрикнул: «Нюраня, Петр!» – не раздумывая бросилась к брату. То есть между мамой и братом выбрала беспомощного, которому надеялась помочь. А если бы там был Степан? Если бы между братьями пришлось выбирать? И вообще, у доктора может быть несколько страдающих пациентов. Как доктор решает, кому первому помощь оказывать? Надо не забыть спросить у Василия Кузьмича...

Еремей подхватил жену за плечи, Петр и Аким держали ее за ноги. Поранившийся Федот натягивал рукава рубахи на окровавленные руки и тихо выл, потому что не мог помочь.

– Не ногами! – вдруг пронзительно вскрикнула Прасковья. – Не ногами вперед!

Всем по-прежнему было страшно и хотелось подчиняться приказам, как-то действовать.

– Да какая разница, дикие вы люди! – ругнулся Василий Кузьмич.

Но мужики его не послушали, закружили неловко на месте, чтобы внести Анфису Ивановну в спальню головой вперед. Ватно обмякшая, безучастная Анфиса Ивановна была неожиданно тяжела, на пределе сил дотащили, на кровать уложили. Хотя тут, наверное, дело было не в ее весе, понятно, немало, а в самой процедуре – жену, мать, хозяйку точно раненую корову волоочь. Страшились лишнюю травму нанести, о простенок задеть.

Марфа выполняла домашнюю работу, но к свекрови не заглядывала. Еремей Николаевич переселился в комнату доктора. Сноха и муж догадались, что Анфисе их грех открылся.

За Анфисой ухаживали Прасковья и Нюраня. Василий Кузьмич находился при ней неотлучно, стариковским бурчанием маскировал свою тревогу.

– Можно подумать, что это у меня главная пациентка в жизни! На склоне лет выпало счастье королеву пользоваться... Хотя, с другой стороны... Ну кто так постель лежащему больному перестилает?! – рявкал он на Прасковью и Нюраню. – Ты собираешься экстерном на сестру милосердия сдать, а не знаешь элементарных приемов!

– Я? – пугалась Прасковья.

– Не ты! Твое дело – детей рожать и мужа любить. Нюраня!

– Дык вы мне еще про уход за лежащими не объясняли!

– Еще один «дык» – и забудь про экстерн, деревня!

Они невольно посмотрели на Анфису Ивановну – в обычной ситуации та не пропустила бы мимо ушей «экстерна». Анфиса Ивановна была безучастна.

– Больного переворачиваем на бок, – показывал доктор. – Сворачиваем простыню старую и подстилаем свежую. Жгутами, девки! Жгутами сворачиваем! Что ж вы такие криворукие, я бы таких санитарок на порог... Впрочем, неплохо... Теперь больную переворачиваем на другой бок, простыню свежую под нее... Переворачивать, но не поднимать! Это наука, девушки! Молодцы! В противном случае, работая в госпитале, в первые же сутки вы бы надорвали спины. Во всяком труде должен быть принцип последовательности... Кажется, я выражаюсь на манер ваших Федота или Акима. О чем я? Да! Большинство лежащих больных почему-то многотонные, а сестрички – вроде вас, сплошные воздушные миссис и мадмуазели... Это не ругательства! Однажды занесло в наш госпиталь генерала. Случайное осколочное ранение в брюзжейку. Боров! У него брюхо было! По обе стороны кровати свешивалось. Анфиса Ивановна, вы меня слышите? Я рассказываю занятную историю...

Анфиса отворачивалась к стенке и закрывала глаза. За три недели болезни она не сказала и десятка слов. Она перестала разговаривать, отвечать на вопросы, не просила есть или пить, жевала без аппетита что предложат.

Прасковья, когда вышли в горницу, спросила Нюраню:

– «Экстрена» – это чего?

– Ты никому не говори, – попросила Нюраня. – Экзамены сдать без учебы хочу. Василий Кузьмич готовит меня на сестру милосердия. Да только сейчас не до занятий...

Большое хозяйство, оставшееся без начальника в самую горячую пору,

сразу же стало лихорадить. Анфиса Ивановна собиралась жить вечно и заместителя себе не готовила. Ее мог бы заменить Степан, чьи способности не уступали материнским. Но он был круглосуточно занят на своей работе, да и управлять единоличным хозяйством противоречило его принципам. Кроме того, верные слову, данному хозяйке, Аким и Федот ни за что не рассказали бы Степану про тайные схроны, зароды и посевы. Сами же работники были всегда только порученцами, неспособными принимать решения и брать на себя ответственность. Поручить командование губошлепу Петру никому и в голову не пришло. Прасковья и Марфа умели отлично вести домашнее хозяйство, но дальше ворот их практическая сметка не распространялась. Еремей Николаевич находился дома вынужденно, в крестьянском труде участвовал подневольно, всю жизнь его избегал, ненавидел за монотонность – каждый год одно и то же: посадил, собрал, съел, весной снова посадил... Взвалить на себя громадную постылую ношу его не заставили бы никакие доводы рассудка или уговоры. Он сидел бы на воде и квасе, отказавшись от сытных пирогов, обеднел бы без сожаления, лишь бы не впрягаться с полной отдачей в крестьянский труд. Хуже наказания для него придумать было нельзя. Но если ты способен избежать наказания, зачем совать голову в ярмо?

Так и получилось, что на место матери заступила малолетняя Нюраня. В семье привыкли жить под женской волей, сметливая и добрая Нюраня особенно полюбилась Федоту и Акиму за то время, когда они сопровождали ее на супрядки и на репетиции комсомольского спектакля. Нюране все помогали, что могли, подсказывали, но это все-таки был непомерный груз для молоденькой девчонки. Она всю жизнь видела, как мама руководит хозяйством, из года в год почти одни и те же приемы и команды. Но это «почти» было настолько важным, что любая ошибка грозила большими потерями, лишениями, даже голодом зимой.

Василий Кузьмич как мог старался облегчить участь своей любимице.

Он расхаживал у постели Анфисы Ивановны, размахивал руками, то повышал голос, то понижал до шепота:

– Сердечный ритм восстановился практически в пределах нормы, и боли у вас отсутствуют. Это мне понятно совершенно! Не пытайтесь тут изображать!

Анфиса Ивановна ничего не изображала. Лежала безучастным бревном, в потолок смотрела.

– Да, у вас был сердечный удар, выражаясь народным языком. Эка невидаль! Да люди по пять таких ударов переносят! Ну, или по три... Кстати, по деревне ползут слухи, будто у вас после удара мозги отшибло и

речь пропала. – Василий Кузьмич остановился и посмотрел на пациентку: взбудоражат ли ее сплетни? Не взбудоражили. – Речь у вас никуда не пропала, и мозг в плане физиологии совершенно не пострадал. Это я вам говорю как врач. Следовательно? – спросил себя Василий Кузьмич и присел на кровать к Анфисе. – Следовательно, мы должны констатировать наличие перед сердечным приступом или в момент его сильнейшего психологического раздражителя какого-то потрясения. Анфиса Ивановна, голубушка! Слуга покорный! Я не прошу вас рассказать, что именно случилось, что вас потрясло. Я только хочу вас вернуть к нормальной жизни. Скажу больше, грубее и циничнее. Хотите вы помирать в отрешенном молчании? Такова ваша воля? Подло! Архиподло! Не нужно было столько лет свое семейство на коротком поводке держать, чтобы вот так в одночасье бросить. Эти люди не обязаны страдать, потому что какая-то крыса вас за задницу укусила.

Услышав про крысу, Анфиса Ивановна повернула голову и внимательно посмотрела на доктора. Он постарался скрыть свое удивление: при чем тут крыса, почему ее крыса заинтересовала? Эти животные по двору Медведевых и тем более по дому не бегали. Как бы то ни было, успех следовало развивать.

– Я вас призываю к элементарной материнской жалости! Анфиса Ивановна, вы же, по сути своей, мать, с большой буквы, всему и вся... даже мне... в каком-то смысле. Но особенно! Подчеркиваю! Особенно тяжело приходится вашей единственной дочери. Нюраня удивительная, одаренная... Вы своим примитивным умом не способны понять, какое сокровище родили и воспитали! А сейчас что мы имеем? Девочка спит по три часа в сутки. Хозяйство трещит по швам. Телята не дотелились или не донерестились?.. Это, кажется, про рыбу... Которая тухнет! Двор провонял. На зимнюю кожаную одежду напала плесень, всякий там лен и конопля промочились, пшеничная мука кончилась, кормят шанежками-дранежками...

Василий Кузьмич тараторил, прискорбно видя, как гаснет интерес в глазах Анфисы Ивановны, и вот уже снова в них равнодушная безучастность. Повернулась к стенке, давая понять, что разговор закончен.

– И пожалуйста! – воскликнул доктор. – Нашлась тут! Симулянтка! Девочка к ней прибегает: «Мама, как то, как это?» Трудно рот открыть? Салтычиха! Тиранка! Сейчас пойду и напьюсь. Медицинского самогона. Потому что другого уже нет. Где это видано, сибирская королева, у тебя в доме даже самогона нет!

Первые дни, когда терзала боль, Анфисе было в некотором смысле легче. Боль не давала мыслям плодиться. Боль виделась крысой, захватившей острыми зубами сердце. Когда доктор вводил лекарства, крыса получала уколы в лапы, в спину или в зад. Крысе приходилось огрызаться, разжимать пасть, в которой меж зубов застряли ошметки Анфисиной плоти,лизывать раны. Боль Анфисы становилась слабее, хотя и не проходила полностью. А потом докторские лекарства вовсе крысу убили, растворили, и боль постепенно погасла.

Степа рассказывал про кинематограф – бегущие фотографии. Вечно городские выдумают всякую ересь. Но ее полусон-полубоддрствование был именно как сменяющие друг друга живые картинки. Сначала про крысу, потом как доктора приютила – сама виновата, без доктора греховное отродье на свет не появилось бы. Мама и папа виделись, молодыми и как умерли, когда их нашли сплетенными, рождение Петьки – уронила-таки его Минева, не призналась, а стукнула сыночка темечком об угол кровати пьяная дура, она же на роды Анфисы со свадьбы была вызвана. Картинки всплывали из старой жизни, но теперь как бы с другого угла увиденные. Некоторые касались важных событий: как наследство родительское делили, как быка Буяна купила, выхаживала, он сполна за заботу отплатил, как с омским барышником познакомилась и коммерцию наладила... Другие картинки были несущественными, но празднично раскрашенными: венчание с Еремой, Степушка полуторагодовалый, в батистовую сорочку одетый, в гости к свекрови собирались, портки Степушке не успели натянуть, удрал, по двору на нетвердых ножках топает, елду свою крохотную в кулачок зажал и ссыкает, и ссыкает, из стороны в сторону поливает, и твердит на непонятном детском что-то вроде: «Я вас всех...»

Еще лесные картинки возникали. Сын, калеченный умом Петр, больше всего любит рыбу удить. Не отпускала без пригляда Петра на воды, страшилась. Она же сама любила грибы собирать. Если бы сложилась так жизнь, что спросили бы Анфису: «Чего тебе для сердца более всего мило? Все твои заботы-труды по высшему классу кто-то другой станет делать, а ты чем душу утетишь?» – ответила бы: «За грибами ходила бы». После замужества, как хозяйство на себя взвалила, и сходила-то в лес – пальцев на одной руке хватит сосчитать. Недосуг настоящей управительнице лесными забавами тешиться.

Картинка из старой жизни: близнецами была беременна... Нет, уже, наверное, Степушкой. Улучила момент, в ближний лес отправилась. И открылась ей поляна чуждая! Потом еще раз или два туда приходила – не повторилось. Белые грибы разномастного калибра: от великанов,

расправивших шляпки, до упругих крохотулек, а между ними красноловики, тоже разновозрастные, – всего больше трех сотен. Сказочная грибная поляна казалась не настоящей, а будто шутником-чародеем сотворенной. Коротко ахнув, Анфиса бросилась собирать грибы и все кричала на пса Полкана, который увязался за ней в лес, чтобы не топтал добычу. Две большие корзины за несколько минут наполнила, на пенек присела отдохнуть. Поляна теперь выглядела совсем по-другому, то есть обычно. Анфиса подумала, что собирала грибы в лихорадочной спешке, точно воровала или боялась, что кто-нибудь появится и составит конкуренцию. На несколько верст вокруг в лесу не было ни души. Муж Ерема так бы не поступил. Он бы уселся на пенек и долго любовался волшебным видом полянки. В этом-то между ними, супругами, и разница.

Живые картинки не просто сменяли друг друга. Они были словно нарисованы акварелью на стекле, и перед тем как появлялась новая картинка, старая водой смывалась, текла вниз мутной разноцветной жижей. Так и Анфисина жизнь утекла.

Большую часть жизни Еремей провел на отхожем промысле, и Анфиса не была столь наивной, чтобы тешить себя надеждой, будто он хранит ей супружескую верность. Бывает, что муж жену любит истово, а черт его попутает, и согрешит мужик, сильно потом кается. Еремей никогда пылко Анфису не любил, она его сама на себе женила, надеялась, что прирастет он к ней. Не прирос, жизнь его где-то протекала, а дома повинность отбывал. У Еремея глаза добрые и ласковые, он смирный и непьющий, жалостливый. Что еще бабам надо?

Перебесившись от ревности и тоски в молодости, Анфиса решила для себя, что все, что случается у Еремея на чужой стороне, – это ненастоящее и значения не имеет. Анфисин мир за околицей заканчивался, семья, дом, хозяйство – центр мира. Уезжала она из села редко, с неохотой и только по большой надобности. Все, что происходило в дальней стороне, не имело к ней никакого отношения, интереса и заботы не вызывало и поэтому было сброшено со счетов. Иное дело, когда Еремей возвращался домой. Попробовал бы он на другую бабу посмотреть или какая–нибудь лохудра стала бы ему куры строить!

Анфиса никогда не спрашивала себя, за что полюбила Еремея. Она вообще не задавала себе вопросов. Она либо знала ответ, который не всегда словами могла выразить, а только чувствовала, либо ответы сами собой приходили позже. Почему Еремей стал ее судьбой? Потому что родилась она бешено гордой и честолубивой. Ей не подходил богатый суженый,

богатство – дело наживное. Не глянулись рубаха-парни, отчаянные смельчаки и красавцы. Эти напоминали боевых петухов, все петухи рано или поздно оказываются в супе. Ей нужен был кто-то необыкновенный, особенный. Доктор Василий Кузьмич говорил о Еремее: громадного художественного таланта человек. Этот талант, бесполезный как в семейной жизни, так и в хозяйстве, Анфису и сгубил.

Она много лет давила в себе страсть к мужу. Со стороны казалось – ненавидит его, презирает, ведь постоянно шпыняет, ругает, обвиняет в глупости, в лени, в безалаберности. Она столько лет взращивала в себе равнодушие к мужу, что не заметила, как то выросло и окрепло, как ее страсть превратилась в свою противоположность, и теперь ее внешнее презрение ничего не маскировало, а было совершенно искренним.

Когда читали «Анну Каренину», сцены, где Анна изводила Вронского, доктор сказал: «Есть такая французская поговорка: ревность рождается вместе с любовью, но умирает гораздо позже». Точно замечено. Если бы Еремей изменил ей, когда был горячо любим, это как-то вписалось бы в игру страстей. Анфиса метала бы молнии и становилась от этого только сильнее, громopodobнее. Но теперь, когда он – презренный? Есть ведь разница, кому проиграть в бою – молодому сильному противнику или дряхлому старикашке-инвалиду. Любое поражение – удар по честолюбию, но поражение от снохаря (так презрительно у них называли мужиков, что клали глаз на жену сына) – удар сокрушительный. Подобных ударов Анфиса переносить не умела. Точно ей дали в руки книгу и велели читать, а на страницах – китайская грамота, в которой Анфиса ни бельмеса.

Она лежала пластом, ничем не интересовалась, ни с кем не разговаривала. Ее прежняя жизнь стерлась, а новая еще не выросла. Анфиса не чувствовала ненависти к Марфе. Ну что Марфа? Рабочая лошадь, несчастная баба, привалило ей забрюхатеть и родить – единственный светлый лучик в судьбе. Да и к мужу, главному виновнику непотребства, Анфиса не испытывала жажды мести. Он спалил ее жизнь – надежды, планы, стремления. Остались только головешки. Но что толку проклинать идиота, не умеющего обращаться с огнем? Главный интерес – к хозяйству, накоплению богатства, созданию достойных условий жизни для семьи, поддержанию авторитета одной из самых мудрых и успешных женщин – как отрезало. Отпустило давнее желание наставить на путь истинный Степана. Пусть живет как хочет, по указке счастлив не будешь. Не жалко было Нюраню, которая надрывалась, спасая урожай и приплод скота, обеспечивая зимовку. Дочка почти баба, а у деревенской бабы безмятежной жизни не бывает. Справится кое-как, а не справится, так и

леший с ними.

Душа Анфисы была как выжженное поле – ни росточка, ни одного желания, стремления, ни одной причины для того, чтобы подняться и продолжать существовать. Потом вдруг пробился росточек. Ядовитого растения. Митяй, плод греха, зримое свидетельство крушения ее судьбы. Еще несколько дней назад Анфиса тряслась над мальчишкой, которого считала своим внуком, наследником. А сейчас его плач или зазорные крики, доносившиеся из горницы, вызвали толчки крови в опавших венах. Кровь была смешана с ядом.

Если бы Анфисе сказали, что она тронулась умом, не стала бы возражать. Пусть тронулась, мой ум – не вашего ума дело. Она лелеяла идею, настолько страшную, что порой, лежа в темноте, улыбалась ее невозможности и чудовищности: как такое христианке только в голову может прийти?! А вот поди ж ты, пришло, и растет, и крепнет, и наполняется губительными соками.

Анфиса села, опираясь руками о край кровати, пережидая головокружение. Встала, подошла к зеркалу. Мутное отражение какой-то незнакомой седой бабы. Анфиса показала ей язык, усмехнулась и на секунду потеряла равновесие. Качнулась, ухватила за столик, с которого упал медный кувшин.

На шум прибежали Прасковья и Нюраня.

– Мама! – подскочила дочь и придержала за бок.

– Слава тебе, Господи! – перекрестилась невестка.

– Баню затопите, – велела Анфиса, – белье мне чистое приготовьте и всю одежду. Провоняло.

Был поздний ужин после тяжелого трудового дня. Но когда Парася выскочила из родительской спальни со словами: «Мама поднялась! Баню просит!» – все подхватились и засуетились.

Анфиса видела улыбки на лицах сыновей, доктора, Марфы, мужа и работников, видела, как глаза их засветились надеждой и простой искренней радостью от того, что сильный, могучий человек расправился с болезнью, возвращается к жизни. Анфису их радость оставила безучастной. Прежде она делила людей на своих и чужих, на весь мир и семью. Теперь семья примкнула к миру.

Коммерция

Вернувшаяся на руководящий пост в хозяйстве Анфиса уже не была той генеральшей, которая держала свое войско в строгости, вникала в каждую мелочь, военачальницей, без одобрения которой никто не мог и шагу ступить, которая яростилась по любому поводу, и гнева ее старались избегать. Туго натянутые командирские вожжи ослабли, и домашние этому не обрадовались – хорошие работники и настоящие труженики предпочитают подчиняться власти сильной руки мудрого человека. Глупый или вздорный руководитель нужен только лентяям.

С другой стороны, то, что происходило в доме Медведевых, было естественно. Этот процесс не миновал ни один крепкий сибирский дом. Глава семейства к положенному сроку хирел телом, истощался умом, не мог, как прежде, тянуть большой груз хозяйских забот и ответственности. Его на словах признавали главой рода, выказывали почтение, но это была вековечно хранимая игра в авторитет старших. Бывало, старику или старухе везло – они до смерти передвигались на собственных ногах, сохраняли разум, восседали на почетных местах за праздничным столом со значительным выражением лица. Но случалось, что смерть долго не приходила, а частично парализованное тело уже не слушалось, и в голове у патриарха было бедней, чем в голове малого ребенка. Тогда только одна участь – лежать на печи, пускать слюни, смотреть из-за занавески на то, что происходит в доме, смотреть и не понимать. Подобной участи все страшились. Просьба к Богу в молитвах: «Пошли мне кончину легкую и быструю!» – была у сибирских стариков в обиходе.

Анфиса о легкой смерти не молилась. Ее час еще не пришел. Кабы маячил, почувствовала бы. В чужую могилу не ляжешь, то есть раньше времени не умрешь. Однако силы бывлые утекли безвозвратно. Ничто на земле не вечно: береза и сосна живут до ста лет, ель – до трехсот, дуб может простоять восемьсот. Человеку отпущено меньше, но никому и ничему не суждено пребывать вечно. Случись с Анфисой десять, пять лет, полгода назад тяжкая травма, например хребет сломала бы или шею свернула и лежала бы пластом, – она бы волком выла и кусала от злости все, что ко рту близко окажется. Теперь же она была как те береза, сосна, ель или дуб, в которых замедлилось движение соков, и нутро сохло, теряя гибкость, и выбрасывать новые почки, листочки распускать было тяжело, а главное – неинтересно.

Сердечный удар и внезапное открытие греха мужа и невестки были как пласт гранита, свалившийся на Анфису. Он не просто сломал ветки старого дерева, он еще врезался глубоко в землю, разможил корешки, которыми дерево питалось. Однако натура Анфисы была настолько мощной, что никакая буря не могла ее убить. Буря с диким ветром валит тысячелетний дуб, а весной, глядишь, потянулись из земли новые побеги...

Первый росточек, проклюнувшийся, еще когда она лежала хвора и безмолвная, – это неуправляемая ненависть к выродку Митяю. Второй росточек – забота о наследстве, которое оставит. Не могла Анфиса от дела своей жизни враз отстраниться. Хотя внешне, казалось, так и происходило: спросят, куда коноплю свозить, где рожь молотить, кому лен на обработку везти, – ответит; не спросят – сама не скамандует.

Анфиса решила нажитое богатство обратить в золото-металл. Вечная ценность, при хороших мозгах и справных руках большую силу может иметь. Будут ли у Ваньки и Васятки хорошие мозги и справные руки – ей не увидеть, не дожить. В каких «исторических обстоятельствах» (так Степка говорил про царившие в последние годы беззаконие и грабеж крестьян) внукам предстоит жить, предугадать невозможно. Она сделает для внуков все, на что пока способна. Как распорядятся – их воля, не Божья.

Анфиса часто произносила слова «на то Божья воля», когда хотела избежать бессмысленных разговоров, досужих сетований. Однако в сознательное и постоянное участие Верховного Судии в мирских делах она не верила. Анфиса воспринимала Бога как могущественного владыку, старого и уставшего от бесконечных молений и просьб, с которыми к нему обращались ежесекундно тысячи и тысячи людей. Какая канцелярия выдержит подобный поток челобитных? Бога хватало только на то, чтобы освятить рождение человека (принять его в христианство) и смерть (отпустить грехи). В остальных делах Бог, как разумный и опытный начальник, ждал от людей, что они будут жить собственным умом, Он ведь их создал по Своему образу и подобию. Чего вам, людишки, еще надо? Недаром говорится: на Бога надейся, но сам не плошай.

Вызванного письмом из Омска барышника Анфиса принимала не дома в горнице, а в амбулатории, где стол застелили дорогой скатертью, угощение принесли знатное и сервис подали парадный.

– Извиняйте, Савелий Афанасьевич, – развела руками Анфиса. – Перед зимой тараканов в доме травим, да еще болезнь детская, красная-летучая, по деревне гуляет, а у меня внуки. Взрослые тоже заражаются, детки-то

выздоровливают, а взрослые – до смертельного исхода.

На самом деле никаких насекомых не травили, и краснухи у них в селе не было. Анфиса много лет вела успешные дела с барышником, но им морговала (брезговала), поганить свой дом, принимая этого человека, не хотела.

– Я, Анфиса Ивановна, при всем понятии! – мелко закивал барышник. – Как у вас нынче урожай?

Они довольно долго разговаривали на отвлеченные темы – того требовал ритуал. При этом оба старались не показать, как их поразили внешний облик собеседника.

Савелий Афанасьевич видел Анфису Турку, с которой вел успешный бизнес, всего три раза, последний – два года назад. Тогда это была цветущая деревенская баба, немолодая, но в ядреном соку. Держалась она королевой и так умела торги выкрутить, что ты оказывался ей благодарен за минимальную уступку. Теперь перед ним сидела усталая морщинистая старуха. Отгоняя муху, прилетевшую на мед, неловко задела свой плат, низко, до лба надвинутый, – обнажился висок с седыми волосами...

Анфиса Ивановна, в свою очередь, каменела лицом, чтобы не выказать удивления от того, как изменился барышник. Когда познакомились, это был пухлый коротышка: щеки глаза плющили и носик-пипочку сдавливали, живот шариком выкатился, ручки коротенькие, кисти детские и пальчики игрушечные. Руки Савелия Афанасьевича – скряги, скупердя – тогда Анфису более всего поразили. Это были не мужские руки, а точно какого-то животного лапастного, из вонючих недр вылезшего. Указательный палец меньше ее, Анфисиного, мизинца. Савелий Афанасьевич в разговоре пальчиками в воздухе крутил, в замок складывал, на живот пристраивал – Анфису тошнило. Сейчас перед ней сидел человек, потерявший не меньше двух пудов – с обвисшей серо-желтой кожей на лице, превратившемся в карикатурную маску унылого брюзги из-за того, что уголки безгубого рта щели съехали вниз до подбородка. Пальчики остались такими же крохотными, но кожа вокруг косточек («в кисти тридцать косточек» – вспомнила Анфиса рассказы доктора) сморщилась и скукожилась, напоминая давно не стиранные льняные персцятки.

Переговорщики вели неспешную беседу, Анфиса Ивановна потчевала гостя домашними яствами, Савелий Афанасьевич клевал как курочка, но нахваливал угощение, и каждый из них мысленно перестраивал стратегию, исходя из того, что партнер дурно выглядит.

Анфисе не требовалось свой дар вызывать, чтобы понять: Савелий Афанасьевич не жилец. Передавая чашку с чаем на блюдце, случайно

коснулась его руки, и точно кто-то ей в ухо шепнул: «Полгода, не больше». Выгодно или хотя бы без большого проигрыша обратить в золото добро, накопленное Анфисой и поступающее именно сейчас с полей и от верных промысловиков, за полгода было невозможно. Даже если у барыги есть запас драгоценного металла на оплату товаров Анфисы, он будет последним дураком, если всё спустит. Значит, нужно так повести переговоры, чтобы барышник от жадности голову потерял, возжелал все заграбастать и заплатил бы вперед. Что будет с продуктами и вещами, Анфису не волновало, пусть хоть сгниют, ей главное – золото получить. Афанасия Савельевича надо было крепко подсадить на крючок и при этом скрыть, что других подельников у нее нет, искать их опасно, хлопотно, да и недосуг.

Савелий Афанасьевич, в свою очередь, надеялся, что внешне изменившаяся, зримо постаревшая Анфиса Ивановна и умом ослабла, ее можно легко обвести вокруг пальца. Надеялся и просчитался.

Когда ритуальные вступительные разговоры закончились, перешли к делу, и Турка выдала ему свой план – обратить в золото, в песок или в слитки, свое богатство, – Савелий Афанасьевич затрепыхал, как бы сочувственно. Болтающаяся кожа на лице и руках его немужских дергалась так противно, что Анфиса не сумела скрыть гримасу отвращения. Но эта гримаса оказалась удачной реакцией на речи барышника. Он говорил, что, мол, золотодобытчиков-кустарей сейчас к ногтю прижали, а с другой стороны, драгоценный металл в цене упал из-за невозможности его реализации, золото как форма оплаты нынче не в ходу. Это были чистой воды враки, только золоту вера и осталась.

– По вашему обличию, любезная Анфиса Ивановна, замечая, что с недоверием вы к моим словам относитесь.

– Зубами маюсь который день, вот и косорылюсь. Как же я могу вам не доверять после стольких лет успешной коммерции? Да и не из тех вы, Савелий Афанасьевич, варнаков, что на бедной женщине наживаются. Верно?

Под пристальным взглядом Турки Савелий Афанасьевич заерзал, глазки у него забегали. Верно, что она бедная женщина? Или верно, что он не наживается на чужом горе? И то и другое не соответствовало действительности. Но барышник закивал:

– Истинно так, Анфиса Ивановна. Много лет ведем мы успешный бизнес.

– Чего ведем?

– Слово такое иностранное – «бизнес». Обозначает коммерческие дела

во всей широте.

– Не люблю я чужеземных придумок, лучше по-старинному: честно и благородно дело вести. Вот тут я список составила, – протянула ему Анфиса Ивановна листок. – Против каждой позиции цена проставлена. Вы меня знаете: торговаться не терплю, но цену никогда не задираю, даю справедливую.

– Знаю, знаю, – бормотал Савелий Афанасьевич, напяливая на нос очки.

Он сразу увидел, что Турка проставила цены божеские, крайне привлекательные и с не принятой ныне купеческой честностью. Например, цена за кедровые орехи нынешнего урожая (еще не поступившего) была на тридцать процентов больше цены на орехи прошлого года и в половину меньше на позапрошлогодние орехи. Запасы же у Анфисы Ивановны, судя по списку, были немалыми. Припасливая баба. Савелий Афанасьевич подобной щепетильностью не отличался. Он сразу смекнул, что если орехи перемешать, свежие со старыми, прогоркшими, то навар получится изрядный.

Кедровые орехи в Сибири были таким же лакомством, как семечки подсолнечника в Расее. Их лузгала детвора, молодежь на посиделках, вечерках, бабы, сидя на лавочках, сплетничая, мужики за неспешной беседой. Орешками угощали друг друга, доставая горсть из кармана и насыпая в подставленную ладонь собеседника; орешки сопровождали любой момент досуга. После революции, когда к культуре потянулись широкие народные массы, в Сибири, равно как в Расее, в театрах и музеях приходилось вешать таблички «Курить и лузгать семечки запрещается!» В сибирских городах продавали орешки на каждом углу большими и малыми чарками по мизерной цене. Но копейки от продажи капля за каплей стекались в большой навар, и шишкобои отправлялись в тайгу за кедрачом во все годы исторической сумятицы.

Водя пальцем по строчкам составленного Анфисой списка, барышник раскраснелся, внутренне затрепетал и уже не казался обреченно больным. Ничто не могло подействовать на него так возбуждающе, как грядущая большая выгода.

«Я-то хоть заради потомков пекусь, – думала Анфиса, – а ты чего трясёшься?»

Она знала, что близких, свое семейство, барышник держит в черном теле, ходят они в обносках, питаются впроголодь. Почему барышника родные дети до сих пор не удавили, Анфисе было непонятно. Ведь гребет и гребет под себя паука, складывает, прячет, а они, сорокалетние, с детьми на

выданье, хуже батраков перебиваются.

У них в селе жил дед Влас. Анфисе было лет тринадцать, когда Власа утопили его же сыновья. Как бы на переправе несчастье случилось: лодка перевернулась, сыновья выплыли, а отца не сумели вытащить. Никто не верил, и мало кто сыновей Власа осуждал. Потому что Влас был скупердьям. Все копил, складывал, хвастался налево и направо закромами, а жена, дети и внуки были одеты заплатка на заплатке, спали на матрасах, набитых соломой, помоями питались. С другой стороны, убийство главы рода не принесло Власову потомству счастья. На них косились, от дружбы уклонялись, сыновья с женами, деля наследство, переругались в хлам, а зажив отдельными домами, не смогли хозяйство наладить, так и выродились.

Детям Савелия Афанасьевича недолго ждать осталось. Может, и хорошо, что не взяли грех на душу. Может, и отыграются за годы нищенствования, если, конечно, сумеют правильно распорядиться всем тем, что паук нагреб.

Барышник снял очки и принялся нервно потирать руки, точно у него чесались пальцы.

– Доложу я вам, любезная Анфиса Ивановна, многоватенько у вас припасено.

– Что Бог послал нам за труды честные и праведные.

– Да, да, конечно! Однако в таких объемах...

– Цены вас устроили?

– В общем, да, но в частности! Вот на солонину и зерно...

– Лето дождливое было, – перебила Анфиса, – к весне эти цены втрое возрастут.

– Понимаю, понимаю, однако же...

Барышник не мог не торговаться. От снижения закупочной цены хоть на копейку он получал такое же удовольствие, как от миллионной прибыли.

Анфиса устала от его присутствия, она теперь вообще быстро уставала. И наваливалось равнодушие, точно накрывало душной периной, из-под которой выбираться не хотелось. Все становилось безразличным: хозяйство, будущее внуков, коммерция, торги, золото, которым она никогда не воспользуется. Даже в баню не тянуло, хотя баня – лучшее средство от усталости и хандры.

– Еще чаю? – спросила Анфиса с тем выражением лица, с которым ждут вежливого отказа. – Меду дикого лесного накачали, успели до дождей. Ароматный нынче мед. Пчела как чувствовала, что боле сбора не будет. Распоряжусь насчет самовара?

Савелий Афанасьевич занервничал и быстро заговорил:

– Благодарствуйте, отчаевничал знатно. Тут вот еще какой аферт. Не возьмете ли изделиями драгоценными? Сережки, браслеты, кольца с камнями – все высокой пробы и без фальши.

– Откуда у вас?

– Не желал бы раскрывать источник...

– Лучше золото по весам, так привычнее. Весы сверим, муж мой калибрует отменно.

– Хорошо, признаюсь. Завелся у меня приятель, точнее, знакомец, при власти военной, в омском ОГПУ главное лицо, они там экспроприируют... Позвольте, ведь он ваш земляк! Данила Егорович Сорокин...

– Не земляк, Сорока из переселенцев. Выжига и варнак.

– Возможно. Но благодаря ему мой бизнес значительно расширился и получил защиту от лица государственного. Да ведь и ваш старший сын, Анфиса Ивановна, состоит при власти.

– Мой сын к моим делам некасаемый! – резко проговорила Анфиса. – Запомните это крепко!

Мгновенно вспыхнув, она как будто зачерпнула где-то сил для участия в дальнейшем торге.

– Как скажете, – покорно поднял свои детские ладошки барышник.

Он внимательно наблюдал за реакциями Анфисы Ивановны и решил, что она польстилась на экспроприированные, а попросту отнятые, ворованные, с мертвых снятые дорогие украшения. И снова просчитался.

– Возьму ваши побрякушки по весу золота, – словно милость объявила Турка.

– Но позвольте, камни драгоценные совсем другую стоимость имеют!

– Кто сейчас ожерелья, кольца с изумрудами да сапфирами носит? Однава лежать им до лучших времен, если те наступят. Сейчас они у вас в сундуке зарытом покоятся, потом ко мне перекочуют и так же зарыты будут. Заместо этих побрякушек вы получите товар, продовольственный и вещевой, который у вас оторвут с руками и который принесет в три раза больше стоимости. Вот вам мое последнее предложение при условии... – Анфиса надела очки, пододвинула к себе листок с перечнем товаров и стала зачеркивать против каждой позиции цену, незначительно ее уменьшая.

– При условии?.. – до заикания возбудился барыга.

– Плата вперед. Пока дороги не развезло, что-то вывезем, обратным ходом вы мне полную стоимость передаете. Далее по зимнику мои работники станут отвозить в Омск в том порядке, как вы скажете, как

успеете склады подготовить. Риска у вас никакого, мое слово вы знаете – крепкое. Расплатитесь – хоть враз забирайте, нанимайте обозы, сами вывозите.

– Это опасно. И почему такое условие – плата вперед?

– Потому что цена бросовая, – отрезала Анфиса.

Их сделка не была скреплена подписями под договором. Они взяли по листку чистой бумаги и тайнописью переписали прејскурант, сверили написанное. Первый листок, где безо всякого шифра значились зерно в пудах, масло в фунтах, мясо и рыба в килограммах и еще полтора десятка наименований, Анфиса порвала на клочки и положила в карман, чтобы потом бросить в печь. Снова предложила чаю, барыга опять отказался. Попросил о другом.

– Говорят, у вас доктор хороший квартирует и прием ведет.

– Кто говорит?

– Люди.

– Мелют языками. Доживает век старик, пригрела Христа ради.

– Но больных он пользуется?

– По мере сил. Не откажешь ведь страждущим.

– Не мог бы он меня посмотреть? – Савелий Афанасьевич нервно потер свои противные лягушачьи лапки. – До смерти боюсь докторов, а ваш-то знающий. Что-то я стал в последнее время аппетит терять, пища плохо проходит.

– Посмотрит. Сейчас пришло, а сама прощаюсь, не обессудьте, что провожать не выйду, дела домашние неотложные. Сын Петр вас проводит.

Василий Кузьмич, осмотрев пациента, прописал ему строгую диету и велел пить отвар из чаги березовой для лечения желудочного заболевания.

Потом, когда домочадцы собирались к ужину, доктор признался Анфисе Ивановне:

– Плохи дела у вашего конфиденца. По всем признакам рак желудка. Больше года не протянет.

– Полгода, – буркнула она.

– Что, простите?..

– Дверь опять не притворяете. Зима скоро, а вы нараспашку привыкли. И в анбулатории у вас воняет, как в солдатском сортире.

– Это дезинфекция! – заулыбался доктор. Как и все домашние, он любил теперь уж редкие вспышки хозяйского гнева Анфисы Ивановны.

– Откуда ты знаешь, как в солдатском сортире пахнет? – спросил жену Еремей, тоже с улыбкой.

– Я много чего знаю, – полоснула она мужа взглядом, полным ненависти.

Еремей дернулся, как от пощечины.

Василий Кузьмич поспешил сгладить семейную ссору:

– Признаться, я тут стал делать наброски, собирать, так сказать, народные рецепты... Нюраня мне помогает и ваша... как ее, кто она вам? Не мать, а тетка Прасковьи...

– Агафья Егоровна, – подсказал Еремей. – Свойственница она нам.

– Эта свойственница мелет чушь! Вообразите! При недержании мочи нужно взять кирпич из задней стенки печи, истолочь его и поить больного. Энурез у детей или у пожилых женщин имеет совершенно разные причины! И поить их кирпичом, даже из задней стенки, по меньшей мере глупо! Или вот. На больной зуб положить кусочек венчальной свечи. Как вам нравится? Почему, собственно, венчальной, а не от заупокойной службы? Последняя, очевидно, в каких-то иных мракобесных рецептах применяется. Еще мне нравится такая идея: если у человека ячмень на глазу, ему надо показать кукиш и три раза повторить: «На́ тебе кукиш...» чего-то там... Нюраня, как дальше?

– На́ тебе кукиш, что хочешь купишь, купи себе топорок, секи поперек.

– И вся недолга, представляете? – издевательски скривился доктор. – Зачем нам офтальмологи? Будем всем глазным больным фиги в нос совать. Дешево и просто!

– Василий Кузьмич, – с мягким укором сказала Нюраня, – но ведь некоторые рецепты вы одобрили?

– Безусловно! Сводить бородавки чистотелом – проверенный метод, но обвязывать их веревками, которые потом закапывать в навоз!.. Извините, дичь!

– А про отит? – снова подсказала Нюраня.

– Интереснейший рецепт, – живо откликнулся доктор. – Фигурирует луковица... Нюраня?

– Надо взять луковицу, разрезать надвое, вынуть сердечко и на его место положить цветок ромашки, снова сложить луковицу, положить в печь, зарыть в горячую золу, чтобы испеклась. Потом цветок, пропитавшийся луковым соком, вложить в больное ухо.

– Здесь есть логика, потому что и лук, и ромашка содержат...

Василий Кузьмич говорил, привычно расхаживая вдоль длинного стола. Остальные домашние – Петр, Марфа и работники, Степан и Прасковья – входили в горницу и молча, чтобы не прерывать умных речей доктора, кланялись. Мужчины садились на лавки, женщины тихо

накрывали на стол.

Из комнаты Петра и Марфы, споро семеня на четвереньках, выполз Митяй. Покрутил головкой, встал на ноги, сделал несколько нетвердых шажков, снова плюхнулся на пол и устремился к Еремею, привычным способом передвигаясь. Еремей подхватил его, посадил себе на колени.

– Пошел, сынка! – радостно загыгыкал Петр. – Ножками пошел! К дедушке, гы-гы!

Митяй был ребенок-богатырь. Как есть мужики, пухлостью и рыхлостью напоминающие раскормленных младенцев, так Митяй – щекастый, мясистый, ширококостный, с шапочкой льняных кудрявых волос – напоминал уменьшенного взрослого. Однако если мужики-младенцы вызывают неприятное чувство какого-то природного нарушения, сбоя в развитии, то Митяй, напротив, всех восхищал похожестью на маленького сказочного богатыря. Родственники, знакомые, которые давно не видели Митяя или впервые его встречали, невольно расплывались в улыбке и плевали через левое плечо: «Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Какой могутный паренек!»

– Пошел! – передразнил брата Степан. – Ножками! А чем ышло? – В радостные минуты Степан, давно научившийся городской речи, переходил на местный выговор. – Ладно-ка, мои робяты тоже вскорость на две конечности встанут. Посмотрим, кто кого наперегонит.

Трое растущих малышей – близнецы Ванятка и Васятка против бутуза Митяя – превратились в естественные объекты для сравнения и соревнования. В том, что за ними наблюдали, как наблюдают за участниками спортивного состязания, не было азарта болельщиков, сделавших ставки на конных бегах. Для Марфы и Прасковьи их дети были не просто двоюродными и молочными братьями – они были абсолютно родными. Степан не мог не восхищаться Митяем, который почему-то казался ему собственным слепком – будто он, Степан, таким точно был во младенчестве. Но и родных сыновей он любил до самозабвения и ловил каждое изменение, подмеченное женой. У Петра с появлением детей началось время счастливого дыхания, паническое прятание в раковинку требовалось реже, страхи сглаживались. Потому что в доме появились существа, на него похожие: беспомощные, добрые, по-своему разумные. Дети источали кислород, развеивающий затхлый воздух, в котором он так долго жил. Про кислород-газ Петр знал. Его колоссальная память хранила все сведения, прочитанные, случайно услышанные, кем-то оброненные. Эта память никому не была нужна. Годилась, только когда маме надо было что-то подсчитать в ее делах с барышником да при игре в шахматы.

Первые самостоятельные шаги Митяя никого не оставили равнодушным. Человек пошел! Своими ногами, как сказал Петр. На лицах играли улыбки. У Акима и Федота – с горестным вздохом, своих-то детей нет, изничтожены. А могли бы, как Еремей Николаевич, уже дедами стать. Нюрания заливалась колокольчатым смехом. Василий Кузьмич заткнулся на полуслове, на объяснении устройства человеческого уха, и от умиления запыхтел, точно у него нос заложило. Марфа и Прасковья бочком-бочком друг к другу приблизились, плечами стиснулись и за спиной руками схватились. Чтобы свекровь не видела – она не любила, когда невестки милуются.

Еремей Николаевич, легонько подбрасывая на колене довольно смеющегося Митяя, с блаженным видом приговаривал:

*Аты-баты – шли солдаты, ать, два!
Аты-баты – на базар, ать, два!
Аты баты – что купили? Ать, два!..*

Единственным человеком, которому в эту минуту было не радостно, а тошно до темноты в глазах, была Анфиса.

Встав после болезни, она маскировала свою ненависть к Митяю за общим равнодушием к внукам. Домашние приписали ее вдруг изменившееся отношение к наследникам тяжелому недугу. Впрочем, Анфисе особого труда не составляло притворяться. У нее есть цель – золото, клад, наследство. Последняя воля и последнее усилие. Кому наследство? Родные Ванятка и Васятка неизвестно, дойдут ли до возрастов. Какие еще дети у Степана да у Нюрании народятся – также неведомо. Ее дело в кучу все возможное собрать и спрятать, а там пусть делят. Она не увидит, не доживет. Устала.

Но этот ребенок! «Чудо-паренек», как щебечет каждый, увидевший Митяя. Вся ненависть мира, все его пороки, грехи, мерзость, попрание долгих упорных трудов, уничтожение смысла существования – все слилось, в тугой свинцовый шар спаялось для Анфисы в этом ребенке. Она его иначе как «выродок» мысленно не называла.

Анфиса глубоко вздохнула и повернулась к домашним:

– Ну-у-у?!

Ее короткий выдох произвел действие ледяного дождя. Ерема спустил Митяя на пол, Марфа подскочила, взяла сына и скрылась в своей комнате. На лицах Акима и Федота погасли мечтательные гримасы и вернулась

привычная хмурая покорность. Прасковья заметалась, расставляя миски и накрывая на стол. Нюраня, подхватившись, ей помогала. Петр загыгыкал. Степан насупился: может мама испортить самый радостный момент! Чего ради? Что ей все неймется?

Василий Кузьмич, пятерней почесав бородку, уселся на свое место и пожал плечами:

– Подчас я вас не понимаю. Сибирь, глушь, дичь, и в то же время, понимаете ли, милостивые государи, нюансы витают в воздухе. Для нюансов я уже стар, память ни к черту. Нюраня! Если твоя мама не нальет мне рюмку, то я ей не скажу, что у Буяна киста яичка. Этот бык, знаете ли, непостижимым образом на меня воздействует. Без стакана самогона... Сейчас! – уточнил доктор и ткнул пальцем в сторону буфета. – И завтра! Я к Буяну без стакана для смелости под брюхо не полезу. Операция, честно говоря, пустяковая. Однако! Что однако? В чем смысл нашей мужской жизни, когда у быка Буяна этот смысл по земле телепается? И кто на земле венец творения получается?

Клад

Данилка Сорокин скоро прознал, куда уплывает его золотишко, сбываемое барышнику, – к ненавистным Медведевым. Сам Данилка сокровищ не копил, драгоценные бирюльки ему были без надобности. Бабы, с которыми он имел дело, не стоили того, чтобы их баловать, собственные потребности заключались в хорошей еде, выпивке, фартовой одежде и кокаине. Последняя статья – самая расходная, барышник драл втридорога за порошок, зато можно было не сомневаться, что Савелий Афанасьевич молоть языком не будет и «товарищи», как Сорока мысленно и презрительно называл коммунистов-большевиков, не узнают о его пристрастии к наркотику. Без кокаина в последнее время он не обходился.

Данилке нравилось жить, когда кровь в нем кипела; от скучного прозябания он томился, болел. Мать рассказывала, что в детстве у него часто были припадки: по малейшему поводу, а то и безо всякой причины вдруг начинал топтать ногами, кричать в голос, норовил все вокруг побить и поломать, бесновался. Успокоившись, не падал обессиленно, как обычные припадочные, а просто затихал: точно пить хотел – и напился. Приступы дома закончились, когда Данилка подрос и открыл для себя безграничные возможности бесчинств на стороне. Все пацаны хулиганят, это в них природой заложено, и сколотить из мальчишек банду, наводящую страх на односельчан, нетрудно. Данилкины проказы отличались особой жестокостью. Он рано прослыл выжигой и был проклятием семьи. Мать плакала, отец его бил нещадно – все попусту. Однажды руководимые Сорокой мальчишки подпоили пастуха, и тот заснул, тогда они намочили керосином хвосты коровам и телятам да подожгли. Бойцы Данилкиной банды испуганно наблюдали, как по лугу мечутся, кричат и стонут горящие животные, кое-кто из мальчишек-слабаков даже расплакался. А Данилка танцевал от радости – вот красота, вот представление! Отец его потом выпорол – до крови, шрамы остались. Мать плакала: «Проклятье наше. За что, Господи? В кого он такой окаянный? Порченную душу розгами не исправить».

Когда по делам службы его отправляли усмирять недовольных, забирать хлеб, проводить следствие, арестовывать бунтовщиков, Данилка чувствовал себя превосходно. Он был власть, а власти все позволено, недаром «товарищи» сами говорят, что революцию в белых перчатках не делают. Также будоражили кровь допросы в подвалах, расстрелы... Это

удовольствие из особых: заставить, чтобы сами вырыли себе могилы, а потом прикончить контрреволюционеров. Руководя расстрелами, Данилка не позволял команде бить сразу в голову или в сердце. Путь мучаются враги всеобщего социализма – по конечностям стрелять, в животы...

Волна революционного террора, которую подняли «товарищи» – в большинстве своем узколобые блаженные романтики, – затухала, внедрялась идиотская новая экономическая политика, НЭП. Безжалостность Сороки, столь удобная «товарищам», не желавшим или не умевшим обходиться без белых перчаток, все реже оказывалась востребованной. Он был неглуп и хитер, умел свой садизм замаскировать любовью к пролетариату и стремлением к мировой революции. Слово «садизм» Данилка знал.

Один подследственный, харкнув ему в лицо кровавой слюной, простонал:

– Садист! Абсолютный садист!

– Как ты меня назвал?

Из рта подследственного текли красные ручьи по подбородку, ветвились по шее, будто струящиеся корни какого-то чудного растения. Закрывая глаза, он пробормотал:

– Садист – это тот, кто получает удовольствие от страданий другого человека. Выродок.

– Да ладно! – весело скривился Сорока. – Прямо сразу выродок? В одном селе был поп, который любил мальчонку шшупать и пиписьки им трепать. А все ж таки крестил, венчал и отпевал – все по церковному чину.

– Наверняка плохо кончил, и ты тоже...

Данилка врезал подследственному в окровавленную харю, чтобы не каркал.

Однако, правда: мужики сельские, когда прознали о непотребстве священника, устроили над ним самосуд.

Данилка не верил в идеологию и мечты «товарищей». Всеобщее благо, мировая революция, справедливость, равенство... Тра-та-та, ля-ля-ля... Как же! С нашим-то народом! Данилка звериным своим чутьем знал, что волна террора снова поднимется, что никакой НЭП сибирских крестьян не убедит, потому что их убеждает только то, во что верили их деды. Ему надо переждать и так вывернуться перед начальством, будто ненормальный блеск в его глазах – не кокаиновая реакция, а готовность драть горло врагам за дело мирового пролетариата. У Данилки Сороки это получалось. Конечно, находились «товарищи», угадывавшие в нем жажду насилия в чистом виде, имелись и другие, выше должностями, перед которыми

Сорока играл революционера без страха и упрека, с ежеминутной готовностью отдать свою жизнь за правое дело и многократно своей отвагой это подтверждал. Его трудно было поймать на вранье, потому что он как чужую, так и свою жизнь не ценил. Все равно ведь сдохнуть придется – годом раньше, годом позже...

Знать о том, что, кроме смерти, для таких, как Данилка, есть ситуации пострашнее, «товарищи» не могли. Они работали на износ, по двадцать часов в сутки, пока не падали от нервного истощения. Неделью-две поваляются в постели – и снова без сна и отдыха за-ради счастья всего человечества, за-ради химеры.

Про то, что Степан Медведев доводил себя до нервного истощения, Данилка не слышал. А тут оказалось, что в семье этого верного «товарища» копится золотишко. Данилка внутренне возликовал: запляшут теперь Степушка и его верная Прасковьюшка под Данилкину дудку. А не запляшут, так слезами горькими умоются, когда он в подвалах ОГПУ им ребра пересчитает.

Они встретились на губернской конференции партактива. Во время перерыва Данилка подошел к Степану и, заговорщически улыбаясь, зашептал:

– Богатеешь, миллионщик? Ай-ай-ай! Где ж твои пролетарская совесть и честь? Однако ж если ты меня крепко попросишь, то я, может быть, и не стану вопрос поднимать.

Степан отстранился от него брезгливо, точно у Данилки изо рта несло, сказал в голос, не таясь:

– Ты, Сорока, навроде спившегося деревенского дурачка. Несешь сам не знаешь что, и уже никому не смешно. – Развернулся и ушел.

Данилка замер на месте: неужели наврал барышник?

Савелий Афанасьевич потом клялся: с Медведевыми коммерцию ведет, а заправляет там всем мать, Анфиса Ивановна, по прозвищу Турка, женщина очень умная и хваткая. Именно она потребовала, чтобы у работников Акима и Федота была от власти охранный бумага. Если обоз задержит патруль и проверит подводы или сани, надо представить так, что продовольствие и вещевые товары следуют на государственные склады. Данилка Сорока мандаты Туркиным батракам и выправлял. По словам барышника, Степан Медведев в материнском «бизнесе» никаким боком не участвует. Это не имело значения: где мать, там и сын, попробуй отвертись, тем более что живут они одним домом.

Желая припугнуть Анфису Турку и в целом прощупать ситуацию,

Данилка отправился в Погорелово.

Анфиса Ивановна его за порог не пустила. Разговаривала на улице. Здоровенная толстая баба в накинутой на плечи дохе с широким лисьим воротником.

– Доброго здоровья, Анфиса Ивановна!

– И тебе не хворать.

– Разговор у меня к вам есть с глазу на глаз по поводу вашей коммерции с Савелием Афанасьевичем.

– Не знаю такого и коммерцией не занимаюсь.

– Не хотите по-хорошему? Тогда придется вас повесткой в ОГПУ вызывать, – пригрозил Данилка. – А то и под конвоем!

– Повесткой своей подотрись. Хотя не похоже, что ты научился-таки задницу вытирать, – равнодушно бросила Анфиса Ивановна, и Данилка не уловил ни искорки игры в ее интонации. – Прасковья! – повернула голову Анфиса. – Метлу возьми, двор подмети, грязи от всяких прохожих нанесло. – И ушла, не прощаясь, в дом.

Данилка невольно посмотрел себе под ноги. Он стоял на абсолютно чистом деревянном настиле. Не было даже белых следов от его сапог, крупный снег осыпался с них еще за калиткой. Данилка пожал плечами – не разозлился, улыбнулся с затаенной кровожадностью. Слишком мало находилось людей из низших слоев, которые смели бы так, как мать и сын Медведевы, с ним обходиться. Это было непривычно до смеха и еще делало предстоящую месть особенно сладкой.

В пяти метрах от него, не поднимая головы, Прасковья шаркала метлой по настилу.

– Какие люди! – осклабился Данилка. – Ненаглядная Прасковья Порфирьевна собственной персоной! Как живете-можете?

Она не ответила, все мела и мела в его сторону.

– Язык проглотила? Али его тебе здесь отрезали?

– Шел бы ты, – проговорила Прасковья, по-прежнему не глядя на него, – пока Степы нет.

– Скоро твой Степа и все ваше кулацкое семейство будут у меня в ногах валяться и сапоги мне лизать! А тебя, – потыкал в нее ногой Сорока, – может статься, и помилую. Если хорошо ублажать станешь. Я тебя научу приемчикам в постели, дура деревенская!

Посвистывая, вразвалочку, он двинулся к калитке.

Данилкиной мести не суждено было скоро свершиться, потому что над ним самим сгустились тучи. Тот подследственный, который обозвал его

садистом и умер от побоев в тюрьме, успел-таки написать и передать на волю письмо, да не кому-нибудь, а самому Троцкому в Москву. Знакомый телеграфист шепнул Данилке, что из столицы пришло указание за подписью самого наркома с требованием разобраться в деле, обращая особое внимание на методы работы Данилы Сорокина. В том, что старого большевика оправдают посмертно, у Данилки не было сомнений – арестовали-то по ошибке. И все Данилкины недоброжелатели, а их немало, с готовностью поднимут хай на предмет того, что он-де не видит разницы между революционной справедливостью и элементарной бесчеловечной жесткостью. Заваруха может для него плохо кончиться. Поэтому Данилка вызвался ехать на Васюганские болота организовывать исправительно-трудовые лагеря для спецссыльных.

Это были до того страшные и гиблые места, что не только репрессированные мерли там как мухи, но и представители власти недолго выдерживали. По доброй воле охотников туда ехать было мало, и свой порыв Данилка преподнес как отклик на решение партии, как мужественное желание отправиться на самый тяжелый участок.

В середине двадцатых годов поток репрессированных из Центральной России в Сибирь был еще скудным. Через десять лет он превратится в мощную реку растерянности, беспомощности, скорби, горя, унижений – в реку отчаяния и смерти. Зато контингент спецссыльных был для Сороки самым предпочтительным: донские и кубанские казачьи вожаки, бывшие помещики, белые офицеры, репатрианты, кулаки, буржуи, торговцы, попы, старая российская интеллигенция.

Данилка застрянет в командировке на два года, пока в двадцать седьмом году Сталин не продавит решение об исключении из состава ЦК партии «агентов объединенной оппозиции» – Троцкого и Зиновьева. Еще вчера всесильный Троцкий станет Данилке не страшен. Чем ему нравились большевики, так это тем, что соратники и враги в их рядах тасовались как карты. Какая сегодня станет козырной, простаку неведомо. Лучше всего в карты играют шулера.

Прасковья собиралась рассказать мужу о визите Данилки Сороки, но по лицу Степана, только вошедшего в дом, сразу поняла: что-то его печалит, что-то особенное. Степан нередко бывал хмур, устал, неразговорчив, однако в его глазах не блеснула слезная беспомощная горечь. Похожий блеск Прасковья видела в его очах только однажды – в момент, когда Степе сказали, что мать при смерти.

Прасковье казалось, что, накрывая стол к ужину и потом убирая со

стола, она ничем не выдает своего беспокойства. Но Марфа, так же чутко уловившая настроение Степана и тревогу Параси, спросила ее тихо за мытьем посуды в кути:

– Чего-то случилось?

– Не ведаю пока.

– Иди к нему, я доубираю и деток покормлю. Анфиса не заметит, она уже почивать отправилась.

Прасковья вошла в свою горенку и присела на кровать, на которой Степан лежал не раздевшись.

– Степушка, чего стряслось?

– Письмо от Вадима Моисеевича получил.

– Дык ведь он... уж тому два с лишним месяца как... – захлопнула рот ладонью Прасковья.

Известие о смерти Вадима Моисеевича пришло еще осенью. Он умер в санатории, встретив своей последний час в кругу чужих людей, вдали от друзей, соратников и учеников. Острой боли утраты Степан не почувствовал: он не видел агонии Учителя, не закрывал ему глаза, не хоронил. Был разгар хлебозаготовок, Степан мотался по району, спал не больше трех часов в сутки, на переживания, кроме тех, что связаны с выполнением планов, у него не оставалось сил. Боль настигла Степана сейчас, зимой, когда он неожиданно получил прощальное письмо Учителя.

– Долго шло. Вот, – протянул сложенный листок Степан, – читай.

– В голос? – взяла бумагу как большую драгоценность Прасковья.

– В голос.

– «Здравствуй, Степан!..»

Буквы были дрожащие, нетвердой рукой выведенные. Прасковья не могла разобрать почерк, не только потому, что он был коряв, ей мешали наворачнувшиеся слезы.

– «Пишу тебе, стоя на краю могилы», – подсказал Степан.

– «Смотрю я в нее без страха и паники», – продолжила Прасковья. – «Подводя итог жизни, могу честно сказать, что посвятил ее своей главной мечте – счастьем человечества. И остаюсь верен убеждению, что все страшные жертвы и даже преступления с точки зрения бытовой морали были ненапрасны и оправданы...» Господи! – всхлипнула Прасковья. – Не покаялся перед смертью. У жидов не принято, что ли?

– У коммунистов. – Степан сел на кровати и забрал у жены письмо. – У настоящих коммунистов должно быть железное сердце.

«Дык ведь заржавеет легко, струхлявится», – подумала Прасковья, но вслух ничего не сказала, положила голову на плечо мужу.

Он читал дальше:

– «Обращаюсь к тебе, Степан, потому что в тебе, любимом моем ученике, теперь уж можно признаться, сосредоточены лучшие черты человека грядущего светлого будущего. Верю в тебя! И ты не теряй веры в наше дело – таково мое завещание...» Парася! – с трудом проглотил ком в горле Степан. – Он ведь для меня... Учитель! Я бы без него... ничто... без горизонтов... Кулаком бы стал, вроде деда или матери... А Учитель... он создал из меня человека!

Парася разрыдалась в голос, упала на грудь мужу, обхватила его руками за шею.

Она плакала, не столько скорбя о смерти Учителя, сколько от жалости к мужу. Она вовсе не считала, что без участия Вадима Моисеевича из Степана не вырос бы могучий человек. Может, еще удачливее получился бы, более погруженным в семейное хозяйство. Но эти рассуждения никогда серьезно не занимали Прасковью. Степан, такой, как есть, был для нее идеалом, божеством, источником дыхания и сердцебиения. И когда ее божество печалилось или горевало, Парася страдала не так же, как он, а втройне.

Степан гладил по спине плачущую жену. От ее слез ему становилось легче. Ничего не поделаешь, не получится отрицать: жена, хрупкий пугливый соболек, у него, здорового крепкого мужика, забирала горечь из души, точно жирную черную сажу смывала. Парася не была его соратницей, и ее по-настоящему не трогало главное дело Степана. Да, нисколько не трогало, подозревал он. В силу воспитания, образа жизни, бабьей крестьянской науки, которую насаждала свекровь, не знавшая поблажек, Парася не смогла вырваться из привычного круга обязанностей и целеустановок. Правильнее сказать – у Степана не получилось жену вырвать, мать Степана оказалась успешнее. С другой стороны, дюжина соратниц в революционных красных косынках, с энтузиазмом и пролетарским оптимизмом шагавших бы рука об руку с ним к светлому будущему, не смогли бы так облегчать его душу, как это делала дремучая в классовом понимании Парася.

– Будет, будет, – говорил Степан, теперь уже с легкой и благодарной улыбкой, которой Парася не видела, но, услышав изменение в голосе мужа, притихла. – Тут еще про личное. Смотри, читай.

Парася повернула голову, одной рукой вытерла слезы, другой по-прежнему цепко держалась за шею мужа, точно боялась его отпустить. Как ребенка, который поранился и заплакал, а от ласки матери успокоился и теперь раньше времени хочет снова умчаться.

– «И еще, Степан, надеюсь, ты простишь мою слабость, и незнамо...»
– «Мою слабость, и не знаю сам...» – поправил Степан жену. – «Собственно, почему об этом пишу? У меня была любимая сестра Цыля, по мужу ее фамилия Гольдман. Моя семья меня прокляла, даже мама, только Цыля тайком отправляла мне в ссылку деньги и вещи. По слухам, во время петлюровских погромов в Киеве их всех убили – и моих родных, и Гольдманов. Осталась только девочка Ревека, дочь Цыли, приблизительно двадцатого года рождения. Я ее не нашел, хотя в Киев ездил, искал. Просто знай – от Соломона Ригина, партийный псевдоним Учитель, осталась капля крови – младенец Ревека. Прощай, Степан! Живи честно и достойно! Учитель».

Прасковья убрала руку с шеи Степана, обеими руками взяла письмо:
– Двадцатого года рождения, ей уж пять лет. Какой же это младенец? Степушка? – заглянула в глаза мужу с настороженностью, со страхом и пугливой готовностью принять любое его решение.

Степан приблизил свое лицо к встревоженному лицу жены, клюнул раз-второй своим орлиным носом в ее щеки. Он всегда так делал, когда хотел сказать, что суетится она понапрасну.

– Дык где ж ее найдешь? – бормотала Прасковья. – Он же не просит тебя немедля Ребеку...

– Ревеку.

– Детям имена дают, точно внутри Библии живут. Степушка, ты не уедешь? Ты не бросишься?

– Ур-р-р, – рокотал Степан, расстегивая блузку на груди жены.

Она ему помогала, стягивала с себя юбку, пояс его портов расстегивала и все сыпала вопросами, на которые в ответ он только насмешливо-звериноподобно урчал.

Анфису угрозы Данилки Сороки несколько не испугали, и о нем самом она забыла, едва переступив порог родного дома.

Барышник расплатился сполна, товары отвозились в Омск быстрее, чем она предполагала, потому что зимник установился рано. Полностью утаить от домашних массовое утеkanie добра было невозможно, да Анфиса и не стремилась. Ей удалось главное – оставить в неведении Степана. Ввиду его частого отсутствия и неучастия в хозяйственных делах это было несложно.

Прасковью она предупредила:

– Не мели языком, не трепись с мужем. Все это за-ради твоих сыновей и других ваших деток, если их Бог пошлет, а также Нюраниному потомству.

– И Марфиному, – подсказала сноха.

Анфиса Ивановна помолчала, как будто Парася глупость сморозила, и продолжила:

– Проболтаешься Степану, он все на революцию и пролетариат с Карлой Марксой спустит, голь перекатная твои дети и внуки будут, что в наследство им по справедливости причитается, не увидят.

– Не проговорюсь, мама, я понимаю.

– До ночи все бабы понятливые, а как муж на постели прижмет, так у них все тайны утекают. Поэтому где клад зарюю, допрежь тебе не сообщу.

– И Марфе?

Анфиса Ивановна сделала вид, что не услышала, и велела идти домашними делами заниматься – разговор окончен.

В один из дней Анфиса сняла свой портрет со стены, велела Петру оторвать холст от подрамника, свернула полотно в трубочку и унесла.

Много лет назад этот портрет маслом нарисовал ссыльный художник. Загляделся на Анфису, попросил позировать. Она взяла в руки ухват и пообещала ему самому «напозировать» поперек хребта. Оказалось, он хотел ее нарисовать, запечатлеть. Фотографии уже стали появляться в крестьянских домах, но личного портрета живописного ни у кого не было. Анфиса всегда стремилась, чтоб у нее – как ни у кого. Вырядилась и позировала. Еремей потом к портрету рамку красивую вырезал. С картины Анфиса смотрела боярыней – красивой, гордой, властной. Она и в жизни была такой. Портрет стал главным украшением дома, затмевал даже иконы на божнице.

Яркое желто-золотистое пятно невыцветшей древесины бросалось в глаза, и Анфису спросили, зачем она убрала картину.

– Перед вами отчитываться не обязанная! – ответила.

Хоть ответила, а обычно не снисходила.

Василию Кузьмичу казалось, что он разгадал загадку. Даже решил поделиться в отсутствие хозяйки:.

– В определенном возрасте, когда у женщины наступает... терминов вы не поймете... словом, когда она уже детей рожать не может и стремительно стареет, ее начинает раздражать свой прежний молодой облик. Какая-то наша царица... Екатерина? Елизавета? Или не наша? Королева Англии? Не суть. Велела убрать все свои портреты из молодости, чтобы избежать сравнения.

Доктору не возражали, хотя и согласиться с ним не могли. Анфиса Ивановна была слишком гордой, чтобы бояться любых сравнений, она их просто не допускала. С другой стороны, Анфиса Ивановна очень

изменилась после болезни. Без нее хозяйственные дела как-то устроились и семейное общение по-своему наладилось. Все ожидали, что, вернувшись на командный пост, Анфиса Ивановна примется отдавать приказы, придирается к каждой мелочи, включая темы застольных разговоров. Однако она выказывала полное равнодушие ко многому, что раньше строго контролировала. Самое удивительное – перемена в отношении к внукам. И прежде с ними не сюсюкалась, не ласкала, но любой их чих становился поводом отругать матерей, что плохо за мальцами смотрят, или устроить разнос доктору-дармоеду, который чужих нюхлых пользует, когда у ее внуков сопли вожжой. И все его аргументы: «Помилуйте, какие сопли? Где вы их увидели?» – несколько не снижали ее гнев. Теперь же Анфиса Ивановна смотрела на внуков, точно на маленьких котят, которым позволили в доме бегать. Растут и растут, пусть только не пищат громко и не шалят. Она могла дать Ванятке и Васятке пряник или кусочек сахара, но не Митяю. Когда он однажды вслед за близнецами потянулся к ней за угощением, Анфиса Ивановна отшвырнула его, брыкнув коленом. Ребенок отлетел в сторону, ударился и расплакался. Марфа подхватила сына, почему-то поклонилась свекрови, извинилась. Прасковья и Нюраня переглянулись, осуждая обеих: одна яростится на несмышленища, а другая прощения просит.

Место клада полагалось известным – на углу возле бани. Там Аким вырыл яму и вместе с Анфисой опустил в нее небольшой сундучок, засыпал землей, сверху поставил бочку для дождевой воды. Они вдвоем работали, но секрета из своих трудов ни для кого не делали.

В действительности это было место прежнего схрона Анфисы, давно ею опустошенное, а в зарытом сундучке лежали простые камни. Настоящий клад покоился в подклети. Он представлял собой металлический ящик размером с подушку. Крышка была плотно пригнана, запиралась на восемь застёжек, по две с каждой стороны. Внутри ящик был обит каким-то материалом вроде каучука. По словам колчаковского интенданта, с которым Анфиса когда-то вела торгово-обменные дела, в этом ящике перевозили нечто оптическое – не то приборы-бинокли, не то прицелы.

Яму в подклети Анфиса вырыла сама, заранее, еще осенью, поставила в нее пустой ящик – полный ей было бы не поднять, закрыла яму деревянным поддоном, на котором потом будет стоять десятиведерная бочка с квашеной капустой. Лишнюю землю Анфиса постепенно выносила на улицу. Ту, что понадобится на присыпку, спрятала за лари, в которых

хранили зимой картошку, репу и морковь.

Работала она, когда дома и во дворе никого из взрослых не было. Закрывала калитку на щеколду, чтобы не ко времени заглянувшие соседи не потревожили или кто-нибудь из своих, забывший инструмент, не вернулся. После трудов мыла руки и тщательно отряхивала одежду от земли.

На дно ящика Анфиса положила четыре золотых слитка и три мешочка с золотым песком. За ними последовали жестяная коробка с бумажными царскими деньгами и другими купюрами, которые пытались насадить разные правительства. Боком у стенки она поставила икону в окладе, украшенном пожелтевшим жемчугом, необработанными рубинами и изумрудами. Эту икону Анфисе за бутылку самогона продал один старатель. Клялся, что не убивал старовера, обнаружил труп случайно в тайге, в котомке была икона. За свои иконы староверы могли отвалить большие деньги. Анфисе не случилось ее продать. К лику иконы она прислонила серебряное с золотой чеканкой блюдо, еще родительское. Заполняя свободные места, натолкала серебряные столовые приборы и посуду – сахарницу, соусник, подстаканники.

Перед тем как зарыть клад, Анфиса высыпала из мешочка на стол в горнице драгоценности – окончательный расчет с барыгой. Получилась невысокая горка, цепочки и колъе спутались с кольцами и браслетами. Анфиса их распутала, разложила по отдельности, как на витрине в ломбарде.

В неярком осеннем свете, лившемся из окон, драгоценные украшения выглядели до скудости примитивно, тускло, замызганно. Они наводили на мысли не о богатстве, а о какой-то ерунде, вроде игрушек маленькой девчонки. Ни одну из этих бирюлек, хранящих чужую жизнь и, возможно, видевших смерть хозяйки, Анфиса не надела бы на себя, не поборола бы отвращения. Стоило ли ради них много лет жилы рвать, хитрить, изворачиваться, обманывать, не спать ночами, размышляя, как ловчее спрятать добро, как выгоднее продать?

Анфиса вдруг поймала себя на том, что всю эту дребедень ей хочется сбросить на пол, истоптать ногами, чтобы металл покорежился, камни высыпались из оправ и в песок раскрошились. Потом смести сор и выкинуть прочь.

Она тяжело вздохнула: ни свою, ни чужую жизнь на помойку не выбросишь. Сложила драгоценности в заранее приготовленную шкатулку и понесла в подклет. Шкатулка легла в угол ящика, а по диагонали Анфиса положила рулон холста с собственным портретом. Оставалось еще пустое место в противоположном от шкатулки углу.

Может, письмо написать? И что сказать в нем? Привет от бабушки Анфисы? Пользуйтесь и помните, кому богатством обязаны? Глупость.

Анфиса вернулась в дом и сняла со стены в своей комнате фото в рамке. На нем были она с мужем и дети. В четырнадцатом году снимались, перед самой войной. Анфиса и Еремей сидят, между ними примостилась Нюряня, сыновья стоят за спинами родителей. У всех выражения лиц серьезные, торжественные, каких в обычной жизни не бывает. Достойное благородное семейство зажиточных сибиряков. Только на картинке и осталось.

Рамка не входила на отведенное место, Анфиса надавила, тонкая ажурная резьба хрустнула, треснуло стекло, и сломанная рамка легла плотно. Анфиса бросила последний взгляд на фото, теперь перечеркнутое трещинами, и закрыла ящик. Щелкнули один за другим запоры, их прощальное клацанье напомнило Анфисе звук камней, падающих на крышку только что опущенного в могилу гроба. Она присыпала землей щели между ящиком и стенками ямы, потом сверху набросала еще земли, утоптала – так несколько раз. Деревянный поддон задвинула на место. Вот и все, дело сделано.

Грех

Пока Анфиса занималась кладом, мысль об изничтожении Митяя держалась на границе. Зарыла клад – и навалилось, накрыло желание убить выродка. Совершить страшнейший из грехов – детоубийство – просто так, на трезвую голову? Пусть не на трезвую, а на звенящую (от гула постоянного уши закладывало) – одинаково чудовищно. Ее сознание раскололось на «да» и «нет», на страстное желание и ужас его исполнения, на черное и белое, на день и ночь, на постоянный внутренний спор. Это было тем мучительнее, что по натуре своей Анфиса была человеком, которому не свойственны долгие сомнения выбора, маятниковые качания от одного решения к другому – все эти терзания для слабых характеров.

Мать Еремы, с детства калека, сильно косолапила, но была в меру доброй женщиной. Анфиса как-то ногу вывихнула и все то время, что хромала, опираясь на палку, пребывала в дурном настроении. Потому что не умела и не хотела жить, привлекая конечность. Теперь же у нее не нога была вывихнута, а душа.

Противостояние черного и белого облекалось в причудливые формы, подчас не имеющие ничего общего со словесным спором. Анфиса выглядела заторможенной, безучастной, как будто к чему-то прислушивающейся внутри себя. Не слышала обращенных к ней вопросов или отмахивалась от них. Она наблюдала борьбу черного и белого вроде бы со стороны, но при этом оставалась полем борьбы, на которое вытекала то белая лужа, то черная. Они были ртутно-маслянистыми и никогда не смешивались, серого цвета не появлялось, и тонких завихрений черного в белом или белого в черном не возникало. Лужи давили друг на друга, слегка выгибаясь волнистой линией по фронту противостояния. Наблюдать за ними было отчасти интересно: что сегодня победит? Черное – смерть Митяя, или белое – выродок останется жив?

– Мама, мама, – трясла ее за плечо Нюраня, – ты уже давно здесь сидишь на лавочке, ты замерзнешь!

Приходил Ерема и набрасывал на плечи жене шубу.

Доктор взад-вперед выхаживал вдоль лавки:

– Не нравятся мне, мадам, эти ваши приступы мутизма, что значит безмолвия, и взгляд в одну точку. Вы, конечно, станете утверждать, что сердечный удар спровоцировал короткое отключение кровоснабжения мозга. А вот дудки! Сознания вы не теряли, клинической смерти не

наблюдалось! Был у меня один поручик... нет, юнкер безусый. Ранение в шею, клиническая смерть, из которой я его вытащил, сам не знаю какими молитвами. И что он мне сказал, очнувшись? «Не говорите маме, что я в бордель ходил!» Как вам нравится? Кругом война, взрывы, грязь, смерть, а он – не говорите маме про девок продажных!

Мельтешение дочери, мужа и доктора не позволили Анфисе донаблюдать борьбу черного и белого. Она встала, сбросила шубу, посмотрела мужу в глаза и сказала то, чего никто не понял:

– Художник! – Анфиса презрительно скривилась. – Да ты против моих картин, цветных давешних, когда болела, и сегодняшних черно-белых, ногтя мизинца не стоишь! И грибы красноголовики я поспешила резать не потому, что красоты не ведаю, а потому что впитано с детства, от поколений: сначала тело обеспечить надо, потом глазами веселиться.

Она ушла в дом. Еремей, доктор и Нюраня пребывали в полнейшей растерянности.

– Красноголовики – это большевики? – спросил доктор.

– Нет, – ответила Нюраня, – подосиновики.

– При чем здесь грибы?

– Если бы мы знали, – задумчиво сказал Еремей. – Грибами у нас только белые называют. Вам, Василий Кузьмич, не кажется, что моя супруга умом несколько...

– Очень кажется! Но я в психиатрии ни бельмеса! И потом, она не буйная. В полевых условиях буйных во время психоза мы просто связывали, как в Средние века. Что, по-вашему, я могу прописать Анфисе Ивановне? Успокаивающее? Она и так спокойна как слониха.

Анфиса легко и быстро засыпала, но и просыпалась скоро, сон пропадал, как в глубокий колодец проваливался – не достанешь.

В их доме было много настенных часов – со времен, когда Еремей ими увлекался. В гостиной висели часы с заводным механизмом и с боем. Они были упрятаны в резную коробку со стеклянной дверцей и заводились раз в неделю, отбивали полчаса нежным колокольчиком – «дзынь!» А каждый час дзынькали положенное число, от одного до двенадцати. Ходики в виде совы, собаки, с кукушкой, из скворечника выскакивающей, – каждая комната свои часы имела, гири не забывай подтягивать. Анфисе с ее любовью к четкому графику хозяйственных работ наличие часов помогало отдавать распоряжения по времени, а кто запозднил, виноват – часы перед носом для тебя подвешены.

В их супружеской спальне висели одни из первых часов, сделанных

Еремеем. Он думал их дочке подарить, но жена почему-то себе забрала. Циферблат представлял собой рот жирной, довольной, шкодливой кысы. У нее были щегольские усищи, кисточки на кончиках ушей и большие глазки, в которых зрачки бегали влево-вправо – тик-так...

Анфиса забрала себе эти ходики, потому что они ее убаюкивали. Просыпалась до времени, наваливались мысли-заботы, а отдыха полного еще не получила. Смотрела на часы: тик-так, влево-вправо, кыс-кыс... Глазки кысы всегда было видно: в лунную ночь на них падал свет из окна, а в темную они сияли двумя яркими точками – Ерема покрасил их какой-то особенной краской, видной только в непроглядь. Огоньки бегали вправо-влево, туда-сюда, тик-так, и Анфиса засыпала, добирая необходимый отдых.

Теперь же глазки кысы не пели ей колыбельных, а отбивали разговор черного и белого.

То, что сражалось в Анфисе под «тик-так», имело цвет, вкус, запах, было холодным, горячим, шершавым, глянцевым... Его не удавалось представить в какой-то привычной, земной, осязаемой форме. Хотя иногда черное и белое разговаривали простыми и понятными словами.

– Мальчонка-то славный! Ребенка изничтожить – это последней ведьмой надо быть.

– Он выродок, сосуд всего греховного. Убить, чтобы пороки дальше по земле не ползли.

– Это она напридумывала. Какие в ребятенке грехи? Он еще чист душой.

– Пока чист, вот и задавить в зародыше.

– У нее мысли дурные из-за болезни.

– От этой болезни только одно лекарство – смерть выродка.

– А если ты ошибаешься? Гореть ей в геенне огненной!

– Ее теперешняя жизнь хуже всякой геенны.

– Даже зверье, животные не убивают своих последышей...

– Еще как убивают! Степан рассказывал: дикая кабаниха, если еды мало, сжирает одного из детенышей, чтобы у нее молоко прилило оставшихся кормить.

– Вот пусть и она прилюдно скажет, что, мол, Митяй – плод греха и сосуд порока. Вгонит мальцу нож в сердце на глазах у всех. Нет! Она так боится. Она отвар ядовитых грибов заготовила и хочет мальцу в еду плеснуть. Тайно отомстить за то, в чем он не повинен.

– Еще как повинен! Потому что родился, ходит, лопочет, улыбается, ест, пьет, растет. Удавить!

– Почему его-то? А не мужа и сноху – греховодников?

– Они свое дело сделали, и это дело, плод их, есть сорняк человеческий.

Часы в горнице отбивали три, четыре часа, пять, а споры все продолжались. Они утомляли Анфису, и лишь под утро она забывалась коротким тревожным сном. Вставала к завтраку неотдохнувшая, разбитая. Ночные бдения были тяжелей любой работы.

Мать Прасковьи, как-то придя внуков проведать, осмелилась предложить Анфисе:

– Сходила бы ты в церковь, причастилась.

Туся ожидала, что не терпящая советов Анфиса возразит гневно. Но та ничего не ответила, внимательно посмотрела на сватью, словно услышала подсказку, которая самой не приходила в голову.

У Анфисы не было потребности кому-то покаяться, с кем-то обсудить свое настырное преступное желание. Обсуждений и днем и ночью, в картинках и на словах, ей хватало. Появилась смутная надежда, что посещение храма, исповедь сотворят чудо – отмоют душу, сотрут терзания, как отмывает тряпка с мылом грязное стекло. Что на стекле до мытья было, никто не вспомнит. Так и она враз забудет обо всем, начнет смотреть на мир незамутненно.

Хотела пойти в церковь пешком, чай, не барыня к храму на санях подкатывать. Но представила, как это далеко, как будут встречаться по дороге односельчанки, разговоры затевать, спрашивать про ее болезнь, поздравлять с выздоровлением, приставать с просьбами. Анфиса вспомнила свой последний большой проход по селу, два с лишним года назад. Тогда она павой плыла, а сейчас поковыляет, и каждый встречный будет стараться не показывать, как она сдала, состарилась. Анфиса велела сыну Петру запрягать сани. Дочь она тоже взяла с собой.

Нюраня крутила головой, вытягивала шею, когда проезжали мимо дома Майданцевых. Знать, у нее с Максимкой шуры-муры. Дочь еще мала годами, но, может, выдать ее замуж? Максимке тоже, наверное, восемнадцать только исполнилось. Степан с Прасковьей рано или поздно отделятся, Марфу с Петром после смерти Митяя (поймала себе на том, что рассуждает об этом как о свершившемся факте) она сама выгонит. И останется Нюраня на доживание стариков. Так бывало: девушка не могла выйти замуж, потому что, кроме нее, некому было за стариками приглядывать, а когда они помирали, ее возраст уже проходил. Кто бы мог представить, что Нюраню Медведеву, туркинских кровей девку, ждет

подобная судьба? А у Майданцевых ей легче будет, что ли? Там тоже немощных полная хата. «Легче! – могла бы себе возразить Анфиса. – С любимым мужем все легче переносится». Но не стала возражать.

Она отстояла службу и никакой благодати не почувствовала, досадовала, что пришла, и понимала, что на исповедь не попросится. Что она скажет попу? Я хочу убить ребенка, которого все считают моим внуком? А главное – что батюшка ей ответит? Будь он святее всех святых, только в ужас придет и душу ей не отмоет.

Отец Серафим не обладал пасторским даром, у него был один ответ на все проблемы, с которыми к нему шли: «Молитесь и в молитвах обретете успокоение». Батюшка жил еще скуднее, чем его нищая паства, которой нечего было нести в храм. Трем дочерям отца Серафима вряд ли было суждено обзавестись семьями, по нынешним временам поповны – незавидные невесты.

Анфиса подошла за благословением.

– Редко церковь посещаешь, – попенял отец Серафим.

– Хворала долго.

– С таким сыном как не захворать!

Анфиса вспомнила, что батюшка на ножах со Степаном, который отваживает молодежь от церкви и устраивает антирелигиозные шествия.

Отец Серафим почувствовал, что злость, прорвавшаяся в его речах, неуместна, перекрестил Анфису и сказал почти тепло:

– Молись! Все в руках Божьих. Что там? – кивнул он на большие узлы, которые держали в руках Петр и Нюра.

– Понемногу всего разного, – ответила Анфиса.

– В ризницу отнесите, – махнул рукой батюшка, и кадык на шее у него дернулся, как дергается у человека, давно голодающего, при виде еды или даже только при мыслях о ней. – И вот еще что, Анфиса! Скажи мужу – пусть придет крышу починить, давно протекает, не сегодня-завтра обвалится. Зачтется ему богоугодный труд.

– Скажу, – кивнула Анфиса, вовсе не собираясь держать обещание. Она кивнула, прощаясь, но вдруг подняла голову и тихо призналась: – Грешные мысли одолели, батюшка...

Отец Серафим спешил – не иначе как торопился порадовать семью Анфисиными дарами. Без грешных мыслей в последнее время не жилось никому. Но батюшка все-таки проговорил, оттарабанил слова, которые точно описывали состояние Анфисы и запали ей в душу:

– Святые подвижники, наблюдавшие за постепенным развитием греха, указывают на несколько моментов его перехода от мыслей к делу. Вначале

бывает *прилог* – зарождение в душе против воли греховных помыслов и чувств. *Прилог* еще не грех, искушению подвергались и великие подвижники, должны были бороться с ним. Вторая ступень развития греха – *внимание*, то бишь установление внутреннего ока на греховном помысле, беседы с ним, рассматривание его, любование им...

«Точно как у меня», – подумала Анфиса.

– Третья ступень греха, – продолжал отец Серафим, – *услаждение*, когда к предмету греха вслед за умом прикрепляется сердце. *Желание* греха рождается в душе вместе с *согласием*, от которого только шаг до *решимости*. Желаящий изрек свое согласие на грех, но еще ничего не придумал и не предпринял для достижения страшной цели. У решившегося уже все осмотрено и учтено.

«Я осмотрела и все учла, – подумала Анфиса, – я готова к греху».

Она поклонилась, поблагодарила батюшку и пошла к выходу.

Выражаясь словами доктора, Анфисе поставили верный диагноз, но не предложили лечения.

Ее продуло, когда в церковь ездила, или застудилась, сидя на лавочке у дома. Три дня Анфису лихорадило, она плавилась в жару и одновременно тряслась от холода. При этом споры внутренние не утихали, напротив, становились все ожесточеннее, окончательно подавив ее волю. Она не могла сказать, снилось ей это, в бреду привиделось или на самом деле было. Игнорируя запреты доктора, велела баню затопить. Не помогла баня, только хуже стало, едва доплелась до дома.

Марфа собиралась сына кормить.

Анфиса плеснула в миску из бутылочки с отравой...

Утром всех разбудил истошный крик Прасковьи. Марфа, Петр, Еремей, Нюраня, доктор выскочили в горницу. Там металась Прасковья с безжизненным телом Ванятки на руках. В том, что ребенок мертв, сомнений не было. Он походил на неправильную фарфоровую куклу бледно-синюшного цвета, с искаженным лицом, с искривленными, каменно застывшими ручками.

– Парася! Да что же?.. – Степан, сам трясущийся, захватил жену в объятия. – Да как же? Нет, не верю! Доктор?..

Василий Кузьмич помотал головой: ничего не сделаешь.

Анфиса добрела до двери и встала в проеме. Ночью у нее случился кризис, температура упала, вызвав сильное потение. В мокрой сорочке, с влажными, распущенными, наполовину седыми волосами, которые не убрала после бани, она походила на ведьму, выбравшуюся из болота.

– Не того убила, – сказала ведьма. – Хотела выродка извести, а убила своего внука.

– Что ты несешь, Анфиса?! – воскликнул Еремей.

– Она бредит. У нее жар! – Доктор закашлялся. – Не... не... не слушайте ее!

– Мама? – Степан разжал руки и протянул их к матери, точно просил у нее помощи, поддержки, избавления от кошмара.

– Я, сыночек, – покивала ведьма, – я дитятку твоего убила...

Она и потом все время твердила: «Я дитятку убила. Я внука погубила. Прилог, внимание, услаждение, желание... Я согрешила! Но и она, стерва! Вместо своего выродка моего внучика накормила... Но главная – я, я, я...»

Прасковья, потеряв опору, сползла на пол. Она ничего не видела и не слышала. Она вдруг стала раскачиваться над мертвым сыном и страшно, зверино, утробно, нечеловечески выть. Не причитала, не кляла судьбу – ни одного внятного слова, только вой.

Степан однажды видел волчицу, прибежавшую к логову, в котором рысь похозяйничала. Рысь, наверное, унесла в зубах добычи, сколько смогла, остальных задушенных кутят бросила перед норой. Волчица, задрав голову, выла... Так же, как сейчас Парася, – с отчаянием безысходности.

Ему и самому хотелось кричать в голос, чтобы ослабить путы колючей проволоки, которая стянула сердце. Степан оглянулся, вдруг вскочил и принялся остервенело рушить Ваняткину лошадку: ломать руками, бить ногами.

Упал и забился в конвульсиях Петр, до этого беззвучно гыгыкавший.

– Марфа, Еремей! – командовал доктор. – Держите ему ноги, навалитесь. Нюра, быстро – палку, ложку, что угодно, надо язык освободить, иначе он его изжует!

Анфиса перестала якать и загоготала. Не так, как Петр, а утробно и страшно. Она перекрикивала вой Параси, ругательства Степана, на щепы топтавшего лошадку. Непривычное к громкому смеху, горло Анфисы извергало уродливые лающее звуки, из глаз текли ручьи. Это были слезы не горя, а какого-то дьявольского удовольствия. Точно нечисть корчилась от хохота. Ведьма сотворила зло и теперь ликует. Но ведьма помнит, что когда-то, до того как ее заколдовали, она была честной женщиной, христианкой. Теперь же всё – прах. Прошрое, нынешнее, горе и счастье, отчаяние и скорби – всё прах. И над ним можно только смеяться, если не подохла в эту минуту.

Изнемогая от хохота, Анфиса вернулась в комнату, свалилась на

постель и через минуту заснула.

– Мама с ума сошла, – заплакала Нюряня.

Бог не был милостив к Анфисе – с ума она не сошла. И наложить на себя руки после содеянного было бы слишком легким выходом. Ей суждено было доживать, придавленной крестом чудовищного греха детоубийства.

После похорон Ванятки, опасаясь возвращения морока борений черного и белого, Анфиса сказала мужу:

– Увези их. Не совладаю с собой, убью твоего выродка.

– И Петра увезти? – спросил муж покорно.

– Да. Он этого... за сына считает... очень привязался, да и без Марфы не сможет. Увези!

– Когда?

– После поминок на сороковины. В Омск, барышник на ладан дышит, но еще живой, я ему письмо напишу, пристроит их, чтоб с жильем и работой. Вот, Ерема, к чему мы пришли!

– Сами шагали, никто нас на аркане не тянул.

Степан верил и не верил в то, что мать – убийца. Ему очень помогла сохранить к матери остатки теплоты Прасковья, которая, кое-как придя в себя, решительно отвергала любые домыслы о злодеянии свекрови.

Прасковья, еще очень слабая, с израненным сердцем, качающаяся от горя, и Марфе-сестричке заявила твердо:

– Не верь! Не верь в грех того, кого любишь.

– Дык можно ли любить Анфису? Она ведь прямо заявила! Прилог, внимание, услаждение, желание, согласие, решимость!

Парася, в отличие от Марфы, не знала этапов созревания греха в душе человека, и перечисление ей ничего не сказало. Она твердо стояла на своем:

– Не верь словам безумицы!

– Дык ведь так-то на так и было! Я хотела Митяя покормить, а тут Ванятка приполз, а Митяй на конька захотел, я его пустила и стала Ванятку кормить, он всю миску...

– Марфа! Анфиса кровь свою по капле за внуков отдала бы. Она для них клад зарыла, они для нее итог жизни и продолжение рода. Да и вообще она женщина на вид злая, а по делам добрее добрых. Она больная была, ты помнишь? Доктор правильно сказал – бредила. Ты забудь, навсегда забудь те слова ее.

– Ты забыла?

– Да! – без тени сомнения подтвердила Прасковья.

«Всего не знаешь!» – вертелось на языке у Марфы.

Она давно искала повод открыть правду Парасеньке и очень боялась. Сестричка была такая чистая, искренняя, светлая! Для Марфы дружба с Парасей была на втором месте после любви к сыну. Всего две радости: Митяй и Парасенька. А сейчас сказать – посеять в душе Параси горькую полынь, потерять любовь. В жизни Марфы было слишком мало любви, чтобы ею разбрасываться.

Парася считала, что Ванятка умер от родимчика, доктор с этим диагнозом был согласен. Родимчика – внезапной и скорой смерти младенца – все молодые матери боялись пуще черта. Но обычно родимчик случался с трех-четырёхмесячными детишками, реже – когда зубки шли. А у Ванятки зубки давно прорезались. Вид родимчика страшен: губы ребенка синеют, глаза закатываются, лицо искажается в непереносимой муке, тело дергается в судорогах. Парася проснулась и подскочила к сыну, когда он, лежа в рвоте и поносе, уже сотрясался в последней судороге...

– Помнишь, он в ухо Митяю косточку засунул? – спрашивала Парася сестричку.

– Ага, доктор выковыривал и обзывал нас профурсетками. А как Ванятка песенки любил? Стоило твоей маме запеть – он вприпляску...

Домашние не вспоминали о Ванятке, даже Степан хмурился, когда жена об умершем сыне заговаривала. Они вели себя так, словно и не было мальчонки, словно накрыли свою память каменной плитой. Им было легче вычеркнуть ребенка из памяти, чем терзать душу разговорами о нем.

Но Прасковье для медленного растворения горя – а быстрого в такой беде и не бывает – требовались постоянные упоминания о сыне. Пока о Ванятке говоришь, он как бы еще и здесь. Марфа единственная понимала Прасковью, потому что в меньшей силе, но то же самое переживала. И, улучив момент, молодые женщины шептались, вспоминали Ванятку: как у него первый зубик прорезался, как он на Марфину грудь тыкал – дайте это, а на мамину ручками махал – не хочу. Как он всегда бочком катался, даже у своей лошадки стремяна оборвал и вообще любил вторым на Васяткину лошадку залезать... Они вспоминали и плакали. Короткая жизнь человека, оборвавшаяся, продолжения не имеющая, все-таки накопила события. Ванятка ведь был: ел, спал, смеялся, проказничал – жил, хотя и недолго.

Степану решительно не понравилась идея отправить Петра с семейством в Омск. С какой стати? У Петра известно что с головой... то есть неизвестно, но в родных стенах за ним есть пригляд. Марфа – женщина деревенская от корней волос до кончиков ногтей. Бросить ее в город – все равно что рыбу заставить жить на суше. Кому и с чего вдруг понадобились эти перемены?

– Нам! – сказал отец.

– Кому «нам»? – гневался Степан. – Мать! Анфиса Ивановна!

Анфиса отвернулась, давая понять, что в споре участвовать не собирается.

– Обсуждению не подлежит, – отрезал Еремей.

– Пряма-таки? – упорствовал Степан. – Голосование прошло? А кто в нем участвовал? Протокол подписали? Никуда они не поедут!

– Я сказал – поедут! – гаркнул Еремей и ударил кулаком по столу.

Красный, взбешенный, каким его редко видели, он заставил сына оторопеть.

– Есть многое на свете, друг Горацио... – доктор, минуту назад опрокинувший не первую рюмку, икнул, – что и не снилось нашим мудрецам. Шекспир, Степа, «Гамлет». Ты, Степан, не Гамлет, не принц датский, а кто тут мудрец – известно... то есть мудрица... есть такое слово? Радуйся, что у нее, – Василий Кузьмич покрутил возле виска пальцем, – часовой механизм завелся, затикало...

– Мы поедем, Степа, так лучше, – подала голос Марфа.

Она посмотрела на Степана с такой любовью и благодарностью, что он растерялся.

– Петька, ты чего молчишь? – обратился к брату Степан.

– Гы-гы-гы, – дурашливо и привычно ответил Петр. То ли не понимал о чем речь, то ли, как всегда, прятался в раковинку.

– Раз пошло такое заседание, – продолжил злой Степан, – то в повестку дня вносится еще один вопрос. Вернее, сообщение. Мы с Прасковьей и с сыновьями... с сыном, – болезненно дернув головой, поправился он, – отделяемся. После святок съезжаем. Я организую коммуну, сейчас в окружке вопрос решается, не отпускают с руководящей должности, считают... Не важно! Я для себя все решил! Мать? – повернулся он к Анфисе, ожидая протестов, угроз и уговоров.

– Еда стынет, – сказала Анфиса. – Доктора унесите, опять за столом уснул.

Часть вторая
1928–1929 годы

Вот приехал Сталин

Когда Степан решил уйти из председателей сельсовета и возглавить сельскохозяйственную коммуну, в окружном комитете партии его никто не понял. Степан был на хорошем счету, все еще помнили, как трепетно к нему относился Вадим Моисеевич – каторжанин, глубокоуважаемый большевик. Преданных кадров не хватало катастрофически, разумный служебный путь был из низов – в руководители, то есть вверх по лестнице. А Медведев вздумал вниз шагать. Он держался твердо: «Я решил! Принял решение! Я к нему долго готовился и обдумывал». Не силком же удерживать упрямого сибиряка в руководителях? Ему даже предлагали направление в партийную школу в Москву. Мол, закончишь – перед тобой большие перспективы в государственном масштабе откроются. Отказался. В одном из разговоров обронил аргумент: «Хочу личным примером доказать преимущества социализма в сельском хозяйстве».

Это «личным примером» к нему приклеилось. Уже через год, когда коммуна «Светлый путь» показала замечательные результаты хозяйствования, на всех партактивах и конференциях, на заседаниях и пленумах, на совещаниях и в газетных статьях мелькало: «Степан Медведев личным примером...»

А в стране по-прежнему была бескормица. Так про животных говорят – «бескормица», когда скотину нечем кормить. Но многие советские семьи питались хуже скота. За десять лет существования советская власть так и не сумела накормить свой народ. Партией и правительством был взят курс на индустриализацию страны, в города хлынула молодежь из сел и деревень, и всех их нужно было кормить. Однако и те хозяева, что остались на земле, были способны завалить страну хлебом, молоком и мясом.

Не могли. И не хотели.

Урожайность в 1927 году наконец достигла уровня 1913 года. В коммуне Степана Медведева с гектара собирали столько зерновых, сколько не снилось его деду и матери. Степан план хлебосдачи выполнял, а крестьяне– единоличники саботировали. Разразился общероссийский кризис хлебозаготовок, почти такой же суровый, как во времена военного коммунизма.

Степан оставался секретарем сельской парторганизации, был членом окружного комитета партии и еще нескольких организаций, членство в которых отбирало массу драгоценного времени. Чтобы коммуна хорошо

трудилась, ее председатель должен находиться в ней двадцать четыре часа в сутки, а еще лучше было бы, имей сутки пятьдесят часов. Однако без мелькания в Омске он не смог бы, во-первых, добиться справедливых планов хлебосдачи для коммуны, а во-вторых, хоть как-то усмирить свою совесть, которая страдала при виде того, что делается с крестьянством. Степан с цифрами в руках доказывал свою правоту на заседаниях и собраниях, писал – коряво, конечно, – «Записки по текущему экономическому моменту в сельскохозяйственном производстве».

«Сибирские крестьяне не желают сдавать зерно государству, потому что оно покупает по 80–90 копеек за пуд, а на базаре цена 5–6 рублей. Вопрос: что может купить крестьянин, сдав государству, к примеру, тонну зерна? Ответ: 10 м ситца, один плуг Рандрупа (датского промышленника, разбогатевшего на производстве сельхозорудий для сибиряков), 3 кг сахара, 3 кг мыла, 10 л керосина, 100 г махорки и 2 коробка спичек. И как он с этим «богатством» перезимует?»

В одной из «записок» Степан не удержался и добавил в конце: «Проедьте по краю да посмотрите на пахотные земли, что бурьяном зарастают. Для их освоения силы есть, а стимулы желания отсутствуют».

Жизнь Степана распалась на две составляющие: руководство коммуной, тяжелый, но и радостный труд, конкретные результаты, реальные люди, поверившие в Степана и не пожалевшие о том, что доверили ему свою судьбу; и голос партийной совести, который требовал открыть глаза кабинетным мечтателям. Эти две составляющие вступили в противоречие. Степана обвиняли в политической близорукости, в непонимании политического момента – так уже было, в свое время и Учитель, Вадим Моисеевич, ему пенял. Голос совести становился все тише, потому что вместо того, чтобы по конкретности Степановых рассуждений действовать, ему в коммуну стали присылать проверяющих. Нашлись в Омске охотники, желающие схватить за жабры того, кто «личным примером». Всегда находятся завистники. Им даже без личной пользы, а чтобы назло выскочке.

Степаново «назло» было личным и суровым. Данилка Сорока.

Данилка в двадцать восьмом году вернулся с Васюганских болот мужественным героем, вел себя хитро. При каждом приказе начальства брал под козырек, сверкал глазами: «Будет исполнено!»

Его ненависть к Степану Медведеву нисколько не уменьшилась, напротив, окаменела. В восемнадцать лет Данилка хватался бы за наган, топор, тесак, вилы – пер бы напролом в жажде крови обидчика. Данилка тридцатипятилетний хотел с оттягом насладиться – так, чтобы врагу ни

вздоха облегчения не светило.

Но и Степан Медведев был уже не юношей. По молодости он жилы рвал бы, доказывая свою правоту с трибуны партконференций, слал бы «Записки...» не только в окружной комитет партии, но и в ЦК, в Москву. Теперь же сделал выбор.

Прасковье, жене, в их короткой задушевной ночной беседе, что была после соития, пробормотал:

– За всю крестьянскую Расею, а также Сибирь я беспомощный оказываюсь.

– Степ, дык что? – Парася редко переспрашивала, хотя многое не понимала в речах мужа. Но тут было важное.

– Дык всё, – проямлил он.

– Степа-а-а! – тормозила его жена. – Степа, не пиши! Бумаг не пиши! Слово что воробей, а бумага – поличье!

– «Поличье» – народное выражение. Правильно сказать – «улики», «доказательства».

– Улики! Какое страшное слово! Сказать – говори, токма не пиши!

– Не буду. Им все по хе... Не понимают! Ладно, переживу. Главное, что ты у меня есть, соболек...

И захрапел, а Парася не знала, успокоиться или дальше тревожиться.

Внутренне признав свою неспособность доказать ошибочность политики в отношении крестьянства, Степан перестал тянуть руку – «Дайте слово!» – на партактивах и корпеть над «Записками...». Ему политическая активность теперь давалась через силу, как обязательное домашнее задание в школе, когда Вадим Моисеевич требовал: «Прочти и разберись!» Степан читал и разбирался, а на улице пацаны галдели, отчаянно к ним хотелось. Мышцы сводило – до того не терпелось за ворота к дружкам броситься. Иногда не выдерживал... Часто не выдерживал.

Степан для себя определил: буду дело делать, а крестьянство в масштабах всей страны без меня как-нибудь обойдется. Личным примером.

Мать говорила: «Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой».

И отец говорил: «Не умел шить золотом, так бей молотом».

Однако когда стало известно о приезде Сталина, все наболевшее всколыхнулось, со дна поднялось.

В печати не освещалось, что секретари ЦК партии отправились по стране спасать хлебозаготовки. Каганович поехал на Дон, Орджоникидзе – на Кавказ, Сталин – в Сибирь, самый сложный регион, где хлеб точно был, и в количестве, способном покрыть более трети всесоюзного плана. Но

сибирские крестьяне сдачу хлеба саботировали.

На заседание окружкома, где должен был выступить Сталин, Степана вызвали с нарочным. От волнения у Степана задрожали руки и бешено заколотилось сердце. Появилась радостная надежда, что теперь-то, когда генеральный секретарь ЦК лично в Сибири, порядок будет наведен, справедливость восторжествует.

Извечное «вот приедет барин, барин нас рассудит». Царь не знает правды... Вот приедет Сталин, я ему глаза открою.

Обычно равнодушный к своей одежде, Степан извел Парасю, наряжаясь в Омск. Ведь конец января! Морозы лютые, снега по пояс! А этот дурень хочет на розвальнях ехать в нагольном тулупе, укрывшись медвежьей дохой! Точно переселенец, а не природный сибиряк. И на ногах-то! Не пимы оленьи, не валяные унты, изнутри подбитые шерстяным войлоком, стёженные прослойкой собачьей шерсти, а фарсовые сапоги!

– Я должен выглядеть, – твердил Степан.

– Кем? Стерлядью замороженной? – спрашивала Парася.

– Ты уж как-нибудь сообрази. Мне надо выступить. А в сермяжном я буду как деревенский простофиля. Мама бы сообразила...

– Да я к ней с поклонением! Но и я тоже! Со всем старанием! Не возвеличивая, свое место понимая!.. Степа, что я сейчас говорила? От волнения разум отшибло.

– Тут обстоятельства политические, – нервничал Степан. – Они там, в Омске, придают значение внешности...

– Анфиса Ивановна всегда говорила, что нет веры человеку в отрепьях, – кивнула Парася. – Но хоть чулки шерстяные под порты пододень, губитель!

Степан слушал вождя партии, и надежды таяли как снег, попавший за шиворот, противно холодивший тело, доставлявший неудобство и вызывавший желание уйти прочь, сменить стылую одежду на сухую.

Сталин был низкоросл, с изрытым оспой, нездорового цвета лицом. Одет в светло-зеленый военный френч, застегнутый на все пуговицы, такого же цвета брюки, не галифе, заправленные в мягкие высокие, до колен, сапоги. Говорил он с режущим ухо кавказским акцентом. Чувствовалось, что вождь устал: до Омска он побывал в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Рубцовске. И везде, очевидно, вещал одно и то же. Сталин приехал в Сибирь не разбираться с положением дел, а ставить на вид, закручивать гайки, указывать и приказывать. Все это называлось

«проводить линию партии». Степан за партию был готов кровь по капле отдать, но получалось, что линия партии проходит совсем не там, где ему подсказывают и совесть, и знания, и опыт. Возможно, из-за этого противоречия речи вождя нисколько не вдохновили Степана. Хотя, оглядываясь по сторонам, он видел лица, восторженные до крайности. Матерые мужики смотрели на Сталина с детской нерассуждающей любовью, внимали, затаив дыхание, и, казалось, только и мечтали: прикажи им Сталин броситься на штыки – кинутся безоглядно и с радостью, не задумываясь, в чьих руках эти штыки, не отца ли родного или брата.

«Вот уж воистину, – подумал Степан, – не создай себе кумира».

Сталин говорил о том, что крестьян, не желающих сдавать зерно государственным заготовителям или отвозящих урожай на базар, надо приравнивать к спекулянтам. И судить по статье 107 УК РСФСР. Привлекать органы прокуратуры и народные суды, организовывать их выездные заседания в районах – с показательным наказанием спекулянтов и обязательным освещением в прессе.

«Теперь начнется, – мысленно чертыхнулся Степан. – Потащим на правож тружеников, которые не хотят за бесценок свое зерно отдавать».

Он слегка встрепнулся, когда Сталин произнес:

– Многие коммунисты думают, что нельзя трогать кулака, так как это может отпугнуть от нас середняка.

Многие! Значит, не у одного Степана подобные рассуждения бродят!

Сталин выдержал паузу и продолжил:

– Это самая гнилая мысль из всех гнилых мыслей, имеющих в головах некоторых коммунистов! Чтобы восстановить нашу политику цен и добиться серьезного перелома, надо сейчас же ударить по кулаку, надо арестовывать спекулянтов и прочих дезорганизаторов! Спекулянт и кулак есть враги советской власти!

«Да сколько их, кулаков-то? – опять с досадой сник Степан. – Раз-два, и обчелся. Спекулянт – тот, кто дешево купил и дорого продал. Чего наши крепкие мужики купили-то? Они трудились как проклятые. Темные, политически близорукие – согласен! Дык ведь самые в производительном труде могутные!»

Пошла речь о том, что необходимо вернуться к практике двадцать первого года, когда бедняк, указавший на схроны кулака, получал двадцать пять процентов от реквизированного зерна.

«Подлость плодить, – думал Степан. – Справедливости на подлости не бывает. Может, и найдут каких выроdkов-доносчиков. Хотя вряд ли много отыщется. Не того закваса сибиряки».

До начала заседания один из секретарей окружного комитета партии предупредил Степана:

– После пленума тебя Иосифу Виссарионовичу лично представим, как коммуниста, который личным примером доказывает.

Слова «лично», «личным примером» Степан уже ненавидел.

Когда выходили из зала, он попросил передать секретарю, что занемог, остаться не может. В коридорах Степану показалось, что среди тех, кто на заседание допущен не был, но хотел взглянуть на вождя или познакомиться с ним на глаза, мелькнула харя Данилки Сороки. Но Степану было сейчас не до Данилки. Хотелось вырваться наружу, втянуть свободный морозный воздух, расправить грудь, вздохами глубокими убрать теснение в сердце и туман в голове. Что Василий Кузьмич говорил про мозг? «Вершитель и руководитель поступков человека». Вершителю требовалось проветриться.

Потом, ворочаясь на гостиничной кровати с панцирной сеткой, покрытой бугристым ватным матрасом, Степан утвердился в правильности своего решения – не представлять пред светлые очи вождя. Стоял бы он перед Сталиным, который ростом Степану до подмышек (а это любому мужику, пусть он и вождь, неприятно), кивал бы, точно великан карлику, с глупой улыбкой кланялся. Ведь вопросы задать или донести наболевшее – только во вред, бессмысленно. Сейчас не про мировой пролетариат думать надо и не про советское крестьянство, а как косилку на конной тяге заполучить или трактор. Трактор – самая главнейшая мечта.

А с другой стороны? Учитель Вадим Моисеевич. Его макушка лысая приходилась на вершок выше Степанова пупка. Но Учитель был – глыба, гигант, кумир! Или остался кумиром, потому что помер?

«Эх, рано уходят достойные люди! – пели, сопровождая мысли Степана, ржавые пружины кровати. – Вот и мать угасает... Давно не видел...»

Степан, фартово разодетый, вернулся в коммуну хмурый и окоченевший. Дохи медвежьи не спасли от стужи.

Парася не удержалась, спросила, только он из саней вываливался:

– Как прошло, Степа?

– Нормально.

– К Марфе и Петру заглянул?

– Не сподобилось.

– Плохо.

– Дык ведь гостинцев не было. Из деревни да без гостинцев, – пробормотал он непослушными, замерзшими губами.

– Ой, верно! – прихлопнула ладошками лицо Парася. – Ой, виновата! С твоими нарядами городскими – позабыла!

– Баня? – обратился Степан к мужикам-коммунарам, беседовавшим неподалеку.

– С утра топим, – ответили ему. – Самовар в предбаннике. Наливочки?

– Можно.

Хотя Степан и замерз до остекленения мышц, так, что казалось, кости превратились в сосульки, он выдержал – не бросился сразу в благоденствие парилки, а восстанавливал температуру тела в предбаннике, чашку за чашкой выпивая чай с изрядной порцией крепкой настойки.

– Ну, мужики, – сказал он, когда его перестала бить дрожь, – теперь можно и в пар.

Мужики постарались. Как же! Их командир приехал со встречи с самим Сталиным!

В первый раз прогрели и безо всякого почтения снова в предбанник вытолкали. В полотно завернули, а чаю, то есть настойки, – фигу! На второй раз распаренными вениками отходили, но без усердства. Опять в предбанник на лавку и в чистую простыню.

У них был верный показатель – капля по носу. Если человек не пропотел так, что с кончика носа капает пот, этот человек еще для настоящих банных утех непригодный.

На третий занос в парилку со Степанова лба по площадке громадного носа закапало.

– Эт, прошибло! – обрадовались мужики.

И отходили Степана вениками так, что он превратился в громадного вареного рака. На улицу вытащили, за ноги-руки взялись, раскачали – и в сугроб закинули. Степан провалился в снег на полметра, рычал и дрыгал конечностями, смеялся и проклинал товарищей. Краешком памяти мелькнуло, как Василия Кузьмича в первый раз в сибирской бане парили... Чуть не сварили доктора...

– Я вам! – поднялся Степан и с кулаками пошел на мужиков.

Бабы по домам сидели, но, слышав вопли, на улицу повыскакивали. Издали смотрели, головами качали, в кулачки смеялись. Нагие мужики затеяли ребячью потасовку на снегу. А на улице-то морозище! Впрочем, женщин это не пугало. Сибиряки простудами не страдали. На памяти матери Степана или его жены Прасковьи он никогда не хлюпал носом и горлом воспаленным не маялся.

«Светлый путь»

Создавая свою коммуну, Степан избежал ошибок, из-за которых пострадали многие товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). Они сгоняли скот на общие дворы, где за ним не было надлежащего ухода. Начинался падеж, процветало воровство. Та же картина и с птицей. В деревне Бугалы согнали в одно неприспособленное место более тысячи кур, уток и гусей. Когда опомнились и обратно по дворам вернули птиц, ее меньше половины осталось. В коммуне «Красный путь» открыли общественную столовую, и каждый день забивали из общего стада одного-двух бычков. Два месяца сытно питались, пока не уразумели, что стадо тает стремительно. Были еще хитрованы, что вступали в ТОЗы, внося в общий котел по минимуму. Скажем, у него было восемнадцать коров, десять рабочих лошадей, сорок овец, а в коммуну пришел с одной лошадкой и одной коровой.

Степан мог бы привести десятки примеров безхозяйственности и плохой организации труда – посмотрелся, пока был председателем сельсовета. Он много думал-передумал, посоветоваться-то не с кем было и прочитать негде. Начал с того, что выхлопотал под коммуну «Светлый путь» участки отличной пахотной земли и пастбищ, заручился ссудами на строительство. Усадьба «Светлого пути» располагалась в деревне Масловка, в пятидесяти верстах от родного Погорелова, на подворье раскулаченного тысячника Маслова. Степан к экспроприации богатств Маслова никакого отношения не имел, но как только прослышал, сразу в голове звякнуло: «Самое то!» Выставил круглосуточную охрану вокруг усадьбы, чтобы тысячника Маслова прихлебатели не пожгли, и помчался в Омск оформлять документы на владение для коммуны.

В начале их было двадцать семей. Отобрал-то Степан тридцать – по разным деревням и селам нашел крепких надежных семейных мужиков, но десятерых с ходу сагитировать не удалось. Но они потом тоже вступили в коммуну. С каждым Степан говорил лично и не по разу. Затем собрал мужиков в Масловке, показал уголья, имеющиеся постройки, поделился своими планами по их переделке или расширению.

Более всего Степана мучил вопрос, как избежать несправедливости уравниловки. Ведь вступали в коммуны с неравным добром – у одного шесть голов тяглового скота, пяток овец; у другого три коровы и десяток

отличных рабочих лошадей, а его жена птицы развела – на пруду бело. Один трудится истово, другой ленится, не хочет «на всех» горбатиться. Эта проблема разрешилась, когда случилась большая удача. Удачу звали Андрей Константинович Фролов.

Степан приметил его, счетовода в заготконторе, давно. Есть люди, которые с первого взгляда внушают уважение к себе, хоть и нет у них представительной внешности. Сорокалетний Андрей Константинович, щуплый, востроносый, со впалыми щеками, узкими нервными губами, всегда был одет в костюм-тройку с белоснежной рубашкой и галстуком, на носу сидели круглые очки в металлической оправе, за ними прятались добрые и одновременно настороженные глаза.

Как-то заехав по делу в заготконтору, Степан стал свидетелем бурной перепалки председателя заготконторы, известного прохиндея, с Андреем Константиновичем.

Счетовод, бледный, точно заиндевевший, сидел за столом, усеянным бумагами. Председатель, красномордый от гнева, размахивал руками. Начала ссоры Степан не захватил, конец услышал.

– Милостивый государь! – цедил Андрей Константинович. – С цифрами не поспоришь.

– Государи кончились в семнадцатом году! – разорялся председатель. – Теперь товарищи!

– Товарищем вы мне вряд ли станете. И липовых отчетов я подписывать не буду! Покорный слуга!

Разъяренный председатель выскочил из кабинета.

Андрей Константинович несколько секунд сидел молча, поджав губы, которые, похоже, тряслись. Потом повернулся к Степану:

– Что у вас?

– У меня коммуна, – вдруг выпалил Степан, напрочь забыв, зачем пришел.

Стал рассказывать, то несвязно, торопясь, то останавливаясь, уточняя, приводя примеры. Про коммуны нынешние и богатые крепкие сибирские артели в старое время, про ошибки и про перспективы новой формы хозяйствования, с помощью которой только и можно накормить страну. Поделился даже своим главным сомнением – как избежать неравенства при вступлении в коммуны.

– Это как раз просто, – сказал Андрей Константинович. – Необходимо установить своеобразный ценз на вступление. Скажем, пять коров, десять лошадей или сколько-то овец и еще чего там последует в общее пользование. У того, кто не способен внести полный ценз, будут

произведены постепенные урезания из заработной платы.

– Дык как пересчитать-то коров на овец, на семенное зерно, плуги и прочее?

– Определив их условную стоимость.

– Ах, какая светлая мысль! – восхитился Степан. – Сам-то я не додумался. Ведь при такой организации стимул возникает аграмадный! Мужик станет жилы рвать, чтобы стать полноправным членом общества, артели... тьфу-ты, разволновался! Коммуны! Раньше в Сибири Общество было, чтоб в него вступить, надо было доказать... и в артелях промысловиков распределение по труду... Ах, любезный вы мой Андрей Константинович!

– Я не понял, зачем вы *мне* про все это рассказываете... – нахмурился счетовод.

– Дык идите к нам! Главным счетоводом, или как по-другому должность назовем. Зарплату положим. Не знаю какую, но, клянусь, постараемся не обидеть! – Степан замер, страхась получить отказ, понимая, что без правильного планирования и учета коммуна обречена. Учитывать и подсчитывать мог только образованный человек. Где его найти? Вот – сидит перед тобой, хмурится. Сейчас откажет с какими-нибудь дворянскими словечками: «покорнейше благодарю, весьма польщен...»

– Неожиданное предложение, – сказал Андрей Константинович. – Мне нужно посоветоваться с женой... А вот она сама. Уже обед?

Он встал, когда в комнату вошла женщина в оренбургской шали, повязанной поверх бархатной шляпки, в темном пальто, отороченном серебристым каракулем. В руках она держала корзину с крышкой. Очевидно, обед супругу.

– Позволь тебе представить... э-э-э, – замялся Андрей Константинович.

– Степан Еремеевич Медведев, – поклонился Степан, – председатель коммуны «Светлый путь», то есть еще не председатель, не выбрали, организатор я.

– Моя супруга Ирина Владимировна. Представь, Ира, зовет в свою артель на должность экономического управленца.

– Зову! Очень зову! От всего сердца!

Ирина Владимировна, как и муж, носила очки. Несколько секунд они смотрели друг на друга, точно вели мысленный разговор. За блеском очков Степану было не разглядеть выражения глаз.

– Это ведь в сельской местности? – спросила Ирина Владимировна. –

Природа и чистый воздух?

– Великолепная природа! – заверил Степан. – Лес, луга, река, пруд – красотища. И воздух, конечно.

– Омск – ужасно пыльный город. – Ирина Владимировна поставила корзинку на стол. – На обед у тебя консоме и пирог с капустой, – сказала она мужу.

Степан понял, что его вежливо выпроваживают, но все-таки уточнил:

– Когда приступить сможете?

– Думаю, что мое увольнение из сей организации не за горами, – попрощался Андрей Константинович.

Фроловы были, конечно, белой кости, дворянской. И не сибиряки. Как их занесло в Омск, Степан так и не узнал. Ушлые бабы выяснили, что вроде и он, и она раньше в гимназиях преподавали. Он – математику, она – языки. И что был у них ребенок, девочка, умерла в пятилетнем возрасте от скарлатины. Постельное белье Ирина Владимировна стирала с белением и крахмалением. На стол мужу еду подавала (точно видели!) на нескольких тарелках фарфоровых, одна плоская, а сверху суповая, третья маленькая рядом – хлеб класть. Салфетка крахмальная (для одного раза пользования!) в кольцо засунута, по краям от тарелок по несколько ложек, ножей и вилок серебряных.

Ирину Владимировну оформили учительницей, бывший сарай под школу оборудовали. Два класса: с восьми до десяти годков детвора и с одиннадцати до четырнадцати – всего семнадцать голов. Учебников не было, бумаги и карандашей не достать, как Степан ни старался. Дети писали между строчек в старых книгах, которые раздобыли, когда скит старообрядцев под снос пошел, и на листах, выданных из толстых амбарных книг – архива Погореловского Общества, который Степан перевез в Масловку.

Ирина Владимировна говорила, что книгам староверов цены нет.

Степан отвечал:

– Хорошим людям цены нет. Новые люди новые книжки напишут. Если их, конечно, грамоте обучить. Есть у нас практическая возможность достать бумагу для школы?

– Нет, – признавала учительница.

Фроловы ни с кем не дружили, не сходились близко, держались отчужденно. Дети учительницу побаивались, хотя она никогда не повышала голоса. Ирина Владимировна была необычная, не похожая на деревенских баб, и умела презирать безмолвно, взглядом. Презирала

лентяев и лодырей. Наказывала учеников тем, что не разрешала тренироваться в писании по драгоценным книгам.

Огорода Фроловы не заводили, скотины не держали (у каждого члена коммуны были личные корова и птица), продукты покупали.

Приходила баба, по простоте душевной приносила учительнице петушка, уже опаленного и ощипанного, в дар от чистого сердца. Ирина Владимировна доставала кошелек и рассчитывалась.

– Дык ведь вы с моим оболтусом три дни дополнительно занимаетесь! – говорила баба.

– В этом заключается мой учительский долг, а за петушка потрудитесь получить плату.

Другое дело, что цену им за муку, овощи, убой, рыбу, дичь, пельмени никогда не задирали, по минимуму брали. Сначала коммунары настороженно отнеслись к этой парочке «белой кости», а потом уважением прониклись к щепетильности учительницы и математическим талантам Андрея Константиновича.

Будь Степан верующим, свечи ставил бы за его здоровье – столько Фролов коммуне пользы принес. Ночами сидел, окно до рассвета светилось, все высчитывал, как «Светлому пути» выгоднее на правильную дорогу выбраться. Наутро расскажет Степану о своих расчетах и бровью не дернет, ожидая благодарностей. Говорит будто с неохотой, как о само собой разумеющемся.

Парася-то за Фроловых свечи ставила. Только редко в церкви бывала. До ближайшей церкви пешком не доберешься, а розвальни или сани бабам давали только по большим праздникам и после того, как они вой поднимали и грозили забастовку устроить.

Медведевы и Фроловы жили в двухэтажном доме, принадлежавшем когда-то семье тысячника Маслова. На первом этаже горница, куть за печью, комната, служившая конторой, по сути кабинетом Андрея Константиновича, и еще комната, в которой поселились Степан и Парася с сыном. На втором этаже две комнаты, фроловские: гостиная, она же столовая, и спальня.

Парасе нетрудно было на всех еду готовить, она много раз предлагала Ирине Владимировне – та отказывалась.

– Если наше питание не нравится, вы скажите, я быстро учусь, вашинского наготовлю, – не унималась Парася. – Чтоб вам у плиты не стоять.

– Благодарю, Прасковья Порфирьевна! В этом нет необходимости.

Ирина Владимировна ставила на поднос супницу, в которую

переливала щи, и шла на второй этаж. Единственное, чего добилась Парася, – мыть за учительницей сковородки, чугуны и кастрюли.

Поначалу Ирина Владимировна и тут воспротивилась:

– Попрошу вас впредь этого не делать!

У Параси слезы на глаза навернулись:

– Да что ж вы нас так изводите за нашу искреннюю благодарность?!

– Поймите вы, мил-человек! – чуть потеплела Ирина Владимировна. –

Мы с мужем давно приняли решение рассчитывать только на себя в любых обстоятельствах.

– А если я вам полы помою, то обстоятельства ухудшатся?

Ирина Владимировна улыбнулась. Она редко улыбалась.

– Вы, Прасковья Порфирьевна, удивительная женщина. Степану Еремеевичу повезло.

– Дык и Андрей Константинович на вас не жалуется.

– Надеюсь. Чугуны и кастрюли – ладно, мойте, а полы в наших апартаментах – запрещаю. Мне, нам с мужем, – уточнила Ирина Владимировна, – нельзя полагаться на чужую волю, сколь бы бескорыстной она ни была. Если бы мы поступали иначе, мы бы не выжили.

Парася потом думала: «Точь-в-точь как свекровь, для которой одалживаться – нож острый. Они совершенно разные – Ирина Владимировна и Анфиса Ивановна, ничего общего ни во внешности, ни в повадке, не говоря уж об образовании. И в то же время похожи какой-то внутренней стерженностью. У меня ее и в помине нет».

За шаловливым Васяткой иногда было не уследить. Мать в кути хлопчет, а он шмыг по лестнице, да и в комнату Фроловых. Прасковья опомнится – где сынок? Давно не слышно. А он уж наверху развлекается. Фроловы мальчика никогда не прогоняли, но и не тетешкались с ним особо. Прасковья прибежит с извинениями, ей говорят, мол, забирайте своего постреленка. Лица у них и всегда-то каменные, а в этот момент точно по камню рябь прошла. Как если дают человеку что-то очень вкусное и желанное, а он отказывается на силе воли.

* * *

Какие бы условия для «Светлого пути» ни обеспечивал Степан, сколь искусна ни была бы бухгалтерия Андрея Константиновича, коммуна не поднялась бы без истового труда ее членов.

Пахали в три коня – засветло пахарь начинает, в полдень дает первому

коню отдохнуть, впрягает второго, завечереет – третьего, до темноты с поля не уходит. То же самое и с боронованием – в три быка. Не хватало быков – впрягали коров. Скотину берегли, а себя – нет. На уборку хлебов и сбор скошенной травы выходили все – захворавшие, беременные, подростки, дети. В октябре первого года существования коммуны Степан с несколькими мужиками ушел в тайгу, отвел душу на охоте, показал места, где зверь бывает, зимовья. Добыли медведя, росомах, выдр, бѣлок без счету. Степан не мог себе позволить надолго отлучаться, и месяц – роскошество. Но потом, в дальнейшие годы повелось: назначенные и обученные Степаном охотники до апреля, до того времени, когда надо лес валить и свозить, промышляли в тайге, а сам он радовался, если удавалось вырваться хоть на две недели. Та же история с рыбалкой. Добывали столько рыбы, что ее, мороженую, в сарай, что твои дрова, под стрехи забивали.

Сибирский мужик крепко привязан к земле, но и у него бывают именины сердца – рыбалка и охота. То и другое в коммуне «Светлый путь», когда земля спит, отдыхает, схваченная первым морозом или под толстым снежным покрывалом, считалось поощрением.

Женщины свои зимние хлопоты (на которые по десять часов в сутки уходит) тоже как отдых рассматривали. Стричь овец, мыть шерсть, вымачивать шкуры, ткать, прясть, вязать, шить мешки, варить мыло, изготавливать свечи, выделявать серянки (спички) и еще многое другое. При том, что готовить еду, рожать, в чистоте жилище держать никто за них не будет. Поощрение у баб заключалось в чередовании: две недели одна группа женщин на самой черной работе – кормить свиней, коров, быков, телят, овец, кур, гусей, уток, за всеми убирать, чистить хлева, птичники и свинарники, – потом другая.

Сложилось так, что Прасковья, которая ни на одной должности в коммуне не числилась, оказалась ответственной за женское население. Степан мужиками руководит, стало быть, его жена – бабами. Так рассуждали коммунары, к такому течению жизни прибило Прасковью, которая по природе была стеснительна до обморока и пугалась каждого нового человека.

Она себе про себя честно мысленно говорила: «Я научилась людям в глаза смотреть только благодаря счастью чувств с мужем и науке, которую мне свекровь преподнесла».

А тут бабы «обчий» труд не поделили, с претензиями явились и вопят! Степан в тайгу охотиться ушел, и радость в его глазах плескалась, и давно уж ему следовало телом и душой отдохновение получить. Мужики, что остались в коммуне, в тень ушли. Понять их можно: бабий бунт и черту не

усмирить. А что она, Парася, может? Хватало бы сил, сама бы за всех трудилась... Таких сил не бывает.

Парася так и не поняла, откуда (с перепугу, наверно) взялись слова из ее горла:

– По нарядам-заданиям трудиться будете, впересменку! По две недели – в хлевах, а затем подомно. Кому не нравится, пусть манатки собирает и убирается без расчета! Грахик... как-то... называется...

– График вы получите завтра, дамы! – раздался за спиной Параси голос Андрея Константиновича. – Все свободны! Разойтись и обдумывать перспективы!

– Всем идти домой. – Учительский голос Ирины Владимировны был тих, но почему-то казалось, что слышно его за дальним лесом.

Парася не ведала, что у нее есть тылы, что, когда бабы с претензиями приперлись, на крыльцо вышли Фроловы. Они же, взяв под ручки, внесли полуобморочную Парасю в горницу и посадили на лавку.

– С моей точки зрения, вполне жива, – поправил очки на носу Андрей Константинович, глядя на Парасю.

– Твоей помощи более не потребуется, – сказала мужу Ирина Владимировна. – Иди наверх, работай.

– Уверена? Ира, я тебя прошу...

– Андрей, твои опасения беспочвенны. Последние десять лет я обучаю грамоте, а не абстрактной прекраснодушной справедливости. Сменить мой настрой способен только ты. Ты готов?

Парасе послышался в речах Ирины странный молодой игривый задор.

– Ни в коем случае! Ни при каких обстоятельствах! – поднял руки Андрей Константинович.

– Тогда, – привычным учительским голосом медленно проговорила Ирина Владимировна, – я повторяю свою просьбу: иди наверх, продолжай работу. Кажется, ее прибавилось. Нетривиальная задача: распределить хлопоты со скотиной в хлеву и домашние, чисто-приятные, между двумя десятками баб, а у семерых из них дочери-подростки, стало быть, помощницы. Дочери – это часть уравнения или не считается?

– Ира!

– Андрей! Все в порядке. Я присоединюсь к тебе через несколько минут. Мне нужно сказать пару слов Прасковье Порфирьевне. Эти слова не для мужских ушей.

Она проводила поднимающегося по ступенькам мужа взглядом и, только когда за ним закрылась дверь, повернулась к Парасе, криво распластавшейся по стенке, с раскоряченными безвольными ногами.

– Будьте любезны сесть ровно! На край скамьи! Спина – в струнку! Локти прижаты к бокам! Кисти можно положить на стол. Кисти – это ладони.

– В них тридцать косточек, – вырвалось у Параси воспоминание о лекциях Василия Кузьмича.

– Да? – удивилась Ирина Владимировна. – Откуда такие знания? Впрочем, неважно. Слушайте, милая, что я вам скажу. Выбор у вас невелик. Либо следуете своей природе стеснительной барышни, либо ломаете себя во имя идеи... нет, не тот случай... во имя идей своего мужа. И тут уж придется забыть про то, какая вы нежная, слабая, трепетная. Вы своему мужу либо соратница, либо лишняя проблема. Выбирайте.

– Соратница! – выпалила Парася.

– Доброй ночи!

Ирина Владимировна развернулась и пошла к лестнице.

– Дык что делать-то? – вопрошала ей в спину Парася.

Ответом ей было легкое пожатие плечами.

Парася сидела как пригвожденная, смотрела перед собой и ничего не видела. Ей казалось, что, если она расслабит спину или руки опустит, сразу свалится бесформенным кулем и будет рыдать до утра.

«Пошто рыдать-то? – задалась она вопросом. – Из жалости к себе, потому что нужно натуру мою ломать. А ты така-растака нежная, прям сахарная, что ли? Скольких людей жизнь-то переломила, и ничего – все сдюжили... Ну, почти все... Не могу я! Не могу распоряжаться, приказывать, не могу кричать, в плохую работу носом тыкать... Значит, не повезло Степану с женой, не соратница ты. Кто, я? Да я за него! Жизнь отдам! Жизнь – пожалуйста, а распоряжаться не могу? Мама говорила, что в каждом человеке много семечек заложено. Одни прорастают, пышно цветут: доброта или жадность, например, совестливость или жестокость. Другие же спят до времени, а то и вовсе никогда не проклюнутся. Стало быть, мне надо в себе взростить командирскую семечку».

Приехавший после месячного отсутствия Степан не узнал жену. Она руководила бабами. Сморщится, насупится, почти зажмурится – и пошла наряды на работы раздавать, проверять качество уже сделанного.

Степан расхохотался, когда они остались вдвоем:

– Ты у меня, оказывается, мать-командирша!

– Будешь веселиться, сам бабами руководи!

– Молчу, сдаюсь! – шутливо испугался Степан. – Слушаюсь, товарищ командующий!

– Я не командующий, а обыкновенна соратница.

- Кто-кто?
- Дед Пихто! Ты все-таки насмехаешься.
- Ни капельки! Восхищаюсь!

Осенью, после сбора первого урожая и убоя скота, когда выполнили планы, поделили оставшееся на зарплаты, стало ясно, что коллективный труд увенчался большим успехом. Лучшими агитаторами за коммуну стали бабы. Они приезжали в родное село или в деревню наряженные в городские обновки и говорили как бы нехотя, скрывая довольство: «Чего ж вы хотели? На то и коммуна. Это вам не в единоличном колупаться». Хотя те же самые бабы еще год назад в три ручья слезы лили, проклинали мужей, которые срывают семью со всем добром с насиженного места и бросаются на «вантюру».

Весной каждому приезжающему в Масловку или проезжающему мимо безо всякой агитации было ясно, что дела тут идут отлично. Потому что шло большое строительство – заложили десяток домов, большой амбар, коровник и свинарник. В то время как во многих селах уже давно не слышали визга пил и стука топоров. В коммуну потянулись желающие. А в Омск потянулись жалобщики и полетели кляузы: Степан Медведев нас не берет, цензу требует.

Степан был готов к этому разговору и на заседании бюро окружка партии, куда его вызвали пропесочивать, заявил: «Наветы! Берем всех, кто желает честно трудиться, кто согласен жить в землянках, потому что жилья не хватает – масловские деревенские избы, сдаваемые на постой коммунарам, переполнены. Я считаю важнейшей задачей возведение домов, потому что если люди осядут на этой земле, она им станет родной и вырвать их будет невозможно. Как известно, у нас в крае на двадцать ежегодно создаваемых коммун и товариществ приходится десять распадающихся. Мой и всей нашей ячейки партийный долг – избежать подобной чехарды. В связи со сказанным просил бы снизить нам план лесозаготовок на тридцать процентов».

Степан уже научился политике, без которой не бывает хорошего организатора, помнящего, что над ним стоят еще двадцать начальников. Не мели лишнего языком, не спрашивают – промолчи, спрашивают – сумей ответить так, чтобы разговор перекинулся на твои проблемы и начальники были втянуты в их разрешение, почувствовали, как их волей «решаются вопросы на местах».

Он не делал секрета, но и не распространялся о том, что в «Светлом пути» есть три вида тружеников: члены коммуны, коммунары с

совещательным голосом и нанятые работники. На общем собрании – высшем органе власти в коммуне – высказывались все, но голосовать, принимать решения имели право только члены и только они входили в совет коммуны. Эта задевающая честолюбие иерархия оказалась мощным стимулом для мужиков, про каждого из которых теперь говорили: «он член», или «он совещательный», или «работник». Работники стремились выбиться в «совещательные», а те в свою очередь – выплатить ценз и стать «членами». Хотя зарплаты, выдаваемые на трудодень натуральным продуктом, были у всех одинаковыми.

Андрею Константиновичу это казалось абсурдом.

– Как можно уравнивать труд кузнеца и пастуха? – спрашивал он Степана. – Один вспахал за день пять десятин, а другой – десять, один пол-луга накосил, а другой в неудобьях с гулькин нос. А труд по распилке бревен на доски? Рабские галеры по сравнению с ним – санаторий.

На высокие козлы клали бревно, один пильщик стоял внизу, второй наверху, вниз-вверх водили большую пилу, двигаясь вдоль бревна. Степан несколько раз работал пильщиком. Придя домой вечером, сидел тупо перед миской еды – не было сил поднять ложку, зачерпнуть, донести до рта. И все-таки он был не согласен с Андреем Константиновичем.

– На то она и коммуна, – говорил Степан. – От слова «коммунизм». По словам Карла Маркса: от каждого по способностям, каждому по потребностям.

– Еще до Маркса, знаете ли, в Новом Завете написано: «И каждому давалось, в чем кто имел нужду». Ленин в двадцать первом году заявил, что России потребуется пятнадцать лет для перехода от капитализма к коммунизму. Полагаете, что через десяток лет наступит эра всеобщего благоденствия?

Это был редкий случай, когда Андрей Константинович позволил себе высказывания на политические темы.

– По срокам, может, и рановато. Однако Маркс и Ленин утверждали, что коммунизм победит капитализм, потому что коммунизм способен обеспечить более высокую производительность труда. Разве наша коммуна тому не доказательство?

Степан с удовольствием поспорил бы еще, но Андрей Константинович уже пожалел, что вырвалось у него крамольное высказывание.

Сказал как отрезал:

– Вы как председатель вольны не прислушиваться к моим советам.

– Дык в чем совет-то?

– Необходимо ввести нормы. За их перевыполнение поощрять, за

невыполнение штрафовать.

– Штрафовать, конечно, нужно. Но не за то, что у одного сил и выносливости меньше, чем у другого. А за прямое вредительство. Ванька Осипов, варнак криворукий, две бороны сломал. Мишку Ладыжкина оставили стога охранять, он заснул, пять копенок украли. Надо доску установить, – размечтался Степан, – такую, как в школе. И каждый день отмечать, кто сколько напахал или накосил, для плотников – сколько венцов подняли...

– Вы, Степан Еремеевич, моральные стимулы ставите выше материальных, экономических.

– Еще в Новом Завете али в Старом записано, что не хлебом единым жив человек, – вернул Степан шпильку.

Когда на общем собрании по случаю годовщины Октябрьской революции впервые вручали премии за отличную работу (бабам – отрезы мануфактуры, мужикам – сапоги яловые), присутствующие онемели. В тесном помещении школы, куда набилось много народу, повисло гнетущее молчание. Степан, державший «премии» в секрете, даже струхнул: он вызывает одного за другим отличников сельскохозяйственного производства, вручает подарки, пожимает руки, а в зале народ точно заколдовали...

– Чего замолкли? – прокашлялся Степан. – Поздравим наших чемпионов!

И первым захлопал. Через секунду народ повскакивал, бешено заколотил в ладоши. С Ольгой Панкратовой случился натуральный припадок: прижимая к груди отрез бязи, рыдала так, что хоть водой отливай. Ольга была из работниц, то есть ее муж не «член» и не «с совещательным голосом». Лучшая доярка, Ольга за день выдаивала двадцать коров. И прежде никто никогда ей за это слова доброго не сказал.

Коммуна в первые годы состояла в основном из молодежи, в том числе и неженатой. Ровесников Степана было пять мужиков, они, на десять-пятнадцать лет старше остальных, считались пожилыми. Сорокалетние Фроловы – вовсе стариками. Там, где молодежь, не только свадьбы, рождение детей, гулянки-хороводы, зимние забавы, но еще и соревнование молодух, противостояние, меряние силой молодых парней и мужиков, вспыхивающая любовь, измены и следующие за ними мордобои. Жили-то тесно, работали совместно, а родители, пред чьими очами не забалуешь, были далеко.

Степану подчас казалось, что проще пять часов за отчетами просидеть,

пыльщиком неделю оттрудиться, чем сызнова примирять баб по вопросу, кто из них хорошо продаивает коров, до последних, самых жирных струек, а кто вымя непродоенным оставляет. Или с Акулиной Павловой разбираться.

Акулина была трудницей, каких поискать. Пахала, боронила – иных мужиков за пояс могла заткнуть, что на жатве, что на сенокосе. И зарод закладывает, и на зарode стоит, только успевают ей сено подкидывать. Одному ребенку хлебную соску даст, другого сиськой покормит – и пошла косить, не угонишься. Такой же сильной в труде была Марфа, невестка Степана. Но Марфа – смиренная и тихая, а у Акулины в одном месте нетерпеж водоворотный. То одного, то другого мужика совратит. Муж Акулину за косы таскал, бабы не раз ухватами и коромыслами прикладывали, а с Акулины как с гуся вода.

Даже Парасю эта гулящая баба довела до крика на мужа:

– Она к тебе прижиматца! Морда разбита, глаз заплыл, так она вторым тебе подмигиват!

– Кто? – сделал удивленный вид Степан.

Успел увернуться от полетевшей в него сельницы – большой деревянной миски, в которую Парася сеяла муку.

Если кому-нибудь из родных рассказать, что Парася ему в морду посуду швыряет, не поверят. Вот что делает с человеком свободный труд! Всесторонне развивает.

– Созывай совет коммуны! – потребовала жена.

– Да? И с какой повесткой дня?

– Распутство Акулины Павловой и последующее ее изгнание из коммуны.

– Хорошо, нож-то положи от греха. Вызову Акулину для серьезного разговора и последнего предупреждения.

– В моем присутствии говорить будешь!

Марфа и Петр

Степан несколько раз предлагал брату и невестке: «Вступайте в коммуну, переезжайте к нам! Первое время потеснимся, потом вам дом построим». Он видел, что Петр и Марфа задыхаются в Омске. Летом жара и вонища: фекальной канализации в городе нет, из отхожих мест бочками вывозят нечистоты, сбрасывают прямо в Иртыш и в Омь, берега которых превратились в свалки нечистот и мусора. Ассенизаторских бочек не хватает, многие домохозяева выливают нечистоты на улицу, выбрасывают зимой туда же трупы павших домашних животных. По весне все это оттаивает и начинает гнить, испускать зловоние. Но летом в сухую погоду хуже дурного запаха досаждают пыль. Часто дуют ветры, и Омск накрывают пыльные тучи. Оседая, весной и осенью пыль превращается в непролазную грязь. На субботниках, воскресниках комсомольцы, партийцы и сознательные граждане высаживают деревца, но коровы, козы и прочие овцы губят зеленые насаждения. Город-то что большая деревня. Каменных домов, двухэтажных деревянных и смешанных (подвал, первый этаж кирпичные, второй – деревянный) не более трех процентов, остальные – частные дома-срубы с огородами, саманные, насыпные и землянки. В них проживало до ста пятидесяти тысяч человек.

С местом жительства семейству Петра даже повезло – отдельное. Начиная с семнадцатого года на Омск накатывали одна за другой людские волны, жилья не хватало катастрофически. Старые вагоны, землянки, халупы – люди цеплялись за землю, как только могли. В общежитиях (городу, ставшему на путь индустриализации, требовалось много рабочих) в комнатах теснились по три семьи.

Петр трудился кочегаром на заводе сельхозмашин, и жили они при кочегарке, в полуподвальном чулане за стенкой угольного склада. Окошко мутное под потолком, пыль угольная постоянная, несмываемая.

– Зато печки не надо, – гыгыкал Петр. – От кочегарки тепло, если дверь открыть.

Степану казалось, что после родных сельских просторов, в которых они выросли и в которых он с женой и сыном сейчас жил, чулан, кочегарка, подвал, пыль, вонища – хуже тюрьмы.

– Марфа! – злился Степан, оставаясь с невесткой наедине. – Петька – ладно! Он вырвался из-под маминой диктатуры, лопатой уголь бросает – невелик труд при его природной силе мышц. На рыбалку ходит, в шахматы

сам с собою играет...

– Он с Митяйкой играет.

– Все одно! Не перебивай! Петр у нас... сама знаешь! Но ты-то! Разумная трудящаяся женщина! Какого лешего вы здесь сидите, угольной пылью дышите?

– Спасибо, Степан! За приглашение спасибо, за подарки-продукты, что привез, Парасеньке поклон земной. Скучаю без моей сестренки до замирания сердца.

– Дык собирайся! Прямо сейчас, едем!

– Извини, нет-ка. Мы тут, как сложилось.

– Марфа! Ты вроде не дура, а рассуждаешь, как форменная дура!

– Прости!

– Чего «прости»? Тыфу ты! На языке мозоли набил вас агитировать. Парася сказала, ежели сами опять не поедете, с твоего согласия Митяя забрать на лето. Отпускаешь?

– Конечно. Хотя сыночек наш – единственная здесь отрада глазам, душе и сердцу. Кто на него ни взглянет, все в восхищении. Могутен в своей малой размерности, весел и добр, пацанам гораздо старшим не дал новорожденных котят мучить, с отцом... с Петром в шахматы почти на равных, и глаз у него приметливый: на веточку какую глянет или на облако, кричит: «Мама, смотри, на чертенка веселого похожа или на барашка, что на задние ножки встал!» Точно как...

– Дедушка, – договорил Степан вместо запнувшейся Марфы. – Еремей Николаевич со всей его тягой к прекрасному окружающему.

– Ну да, дедушка...

– Марфа, я тебе в последний раз предлагаю!

– Митяя соберу сейчас. Пусть на воле порезвится.

Как и мать, Анфиса Ивановна, Степан хорошо разбирался в людях. В том смысле, что видел способности и пределы возможностей каждого. Но ни мать, ни Степан никогда не задумывались, в чем причины тех или иных поступков людей. Если человек поступал, с их точки зрения, разумно, то это было нормально, а если противился мудрому совету или предложению, то по глупости. Искать причины чужой глупости так же нелепо и бесполезно, как пытаться понять источник непогоды.

Откройся Степану истинная подоплека отказа Марфы вступать в коммуно, прочитай он ее мысли, ужаснулся бы и еще раз утвердился в мысли, что в чужую голову лучше не забираться.

Марфа хотела второго ребенка. Желание было навязчивым, неотступным, терзавшим днем томлением тела, а ночью мучительными снами. Ей снилось, что она родила дитя и потеряла, не может найти. Снилось, что рождает детей безостановочно, одного за другим, как крольчиха, и всех любит, от счастья захлебывается, но не знает, куда девать прорву младенцев, снилось, что она бросается на грудь к разным мужикам, умоляя осеменить ее. Последний сон был самым кошмарным, потому что очень походил на дневные мечты. Она без труда контролировала себя и на мужиков, конечно, не бросалась. Был только один человек, перед которым она не устояла бы. Боялась очумевшей от зова природы волчицей накинуться на него. На Степана, свою безысходную любовь и мужа обожаемой сестрички Параси, которая душой была чиста и прекрасна, которая, единственная в жизни, проявила к Марфе сестринскую заботу и участие.

Несколько раз приезжал Еремей Николаевич, и Марфа ни словом, ни взглядом не дала понять о своем бабьем томлении, да и свекор не выказывал желания покрыть сноху. Не сговариваясь, они вычеркнули из памяти свой грех, словно того никогда и не было. Хотя плод греха, чудный карапуз Митяйка, вот он, бегают, прыгает от радости:

– Дедка мне машинку на колесиках смастерил! Дедка, а паровозик можешь?

– Могу, – гладил его по голове Еремей Николаевич. – Следующий раз приеду, будет тебе паровозик с вагончиками. – Повернулся к Марфе и спросил: – Баловень?

– Ох! – ответно улыбнулась Марфа, мол, разве этот пострел может не быть баловнем?

Она не стригла сына наголо, как другие матери. У Митяя на голове кучерявились нежные льняные завитушки. Пятилетнего, крепенького и рослого, его все принимали за семилетку. Когда начинал говорить, не картавя и не шепелявя по-детски, впечатление взрослости еще более усиливалось. Митяй был не только ладен телом, но и пытлив умом. Отец ему читал книжки. Их всего две было: сказки Пушкина и стихи Некрасова. Обе Митяй скоро выучил наизусть.

Он не был неженкой, рохлей или трусишкой. Когда, уступив просьбам дворовой ребятни, вынес на улицу свою лошадку, а старшие пацаны ее сломали, Митяй бросился на них с кулаками. Домой его принесли избитого

в хлам. Месяц в постели провалялся, боялись, что нутро отбито или хребет сломан.

Петр, увидев, что завистники с сынком сделали, загыгыкал не привычно дурашливо, а точно судорожно выплевывая яд:

– Я их, гы-гы, в топку брошу!

Как Марфа ни была испугана увечьями маленького сына, она поразилась, застыв на мгновение, той лютой злобе, что плескалась в глазах покладистого глуповатого мужа.

– Не надо, тятя, – прошлепал разбитыми губами Митяй. – Я их сам, когда подрасту...

Летом в деревне Митяй заметно крепчал, кудри на головке выбеливались до снежности, на тельце, к удивлению взрослых, бугрились зачатки мышц. И опять-таки само собой получалось, что он малец исключительный, особенный. Над двоюродным братом Васяткой, который был чуть-чуть, на две недели старше, сразу взял покровительство.

Тетя Парася, выпуская их утром на волю, говорила:

– Митяй, за браткой-то присматривай!

И не зря. Шустрый Васятка, на голову короче Митяя, был егоза, проныра, задира, в каждой бочке затычка и придумщик. Но ловкостью телесной не обладал. Если бы не двоюродный брат, Васятка десять раз погиб бы.

Мать с отцом не ведали, как их сынок плот построил, тот плот в метре от берега рассыпался, Васятка на дно пошел, Митяй братку вытащил. И таких случаев, откровенно для жизни опасных, у них за лето набиралось немало, ведь на воле бегали. Вечером придут, их помогут, накормят, спать они падают мертво, чтобы с утра снова умчаться незнамо куда. В непогоду мальчишки придумали в гости к Ирине Владимировне хаживать. По лестнице на второй этаж взбегут, в дверь поскребутся, услышат: «Войдите!» – и сидят в покоях учительницы до обеда. Скатываются вниз, когда Андрей Константинович приходит. Через час он уходит, а братья опять бегут к учительнице. Чем они там занимаются, Прасковье было недосуг выяснять – уж плохому не научатся. А чуть дождь притих – они во двор выскочили.

– Прасковья Порфирьевна! – как-то обратилась к ней Ирина Владимировна. Вместе еду готовили. То есть каждая отдельно, но на одной плите в кути. – Вы в курсе, что Дмитрий умеет играть в шахматы, знает наизусть «Руслана и Людмилу» и «Кому на Руси жить хорошо»?

Прасковья недомогала, чувствовала себя плохо, подозревала и

надеялась, что понесла, забеременела. Сегодня на дойке работала, пыталась от других не отставать, теперь едва руками перебирала. Кто такой Дмитрий? Руслан и Людмила? Какая нам разница, кому в Расее жить хорошо?

– У мальчиков прекрасные... не побоюсь сказать, выдающиеся способности, – продолжала Ирина Владимировна. – Василий, не желая отставать от брата, выказывает... Что с вами? Вы меня слышите?

– Дык вы мне просто скажите – шалят?

– Вы устали смертельно? Я буду кратка. Хотя надо пояснить. Волею судеб я некоторое время работа в сельской школе. Так вот, крестьянские дети из-за вечного голода не способны постичь грамматику, арифметику ни в семь лет, ни в восемь, ни даже в десять.

– Кто из наших-то своих дитёв недокармливает? – насторожилась Парася.

– Я не про коммунарских детей, а про тех, что были в одной деревне... в одной из российских губерний, позвольте не уточнять.

– Так оно в Расее, – перевела дух Парася, которая, как все коренные сибиряки, сызмальства впитала: Сибирь и Расея – отдельные территории.

– Справедливости ради, – продолжала Ирина Владимировна, – следует заметить, что большинство моих нынешних учеников особого рвения к учебе не выказывают. В то время как Дмитрий и Василий не просто смышлены, они обладают отличной памятью и зачатками крайне важного качества – интереса к познанию.

– Это вы про кого? – не поняла Парася.

– Ваши сын и племянник. Мальчики Медведевы.

– Степа говорит, что в образовании – сила.

– Степан Еремеевич совершенно прав.

Парася разделяла точку зрения свекрови, Анфисы Ивановны: мальчика нужно вырастить крепким и выносливым, научить быть сметливым хозяином. Он должен будет кормить свою семью, помогать родственникам-лишенцам, преумножать богатство, которое оставит наследникам. Школьные науки, грамматики с географиями, в этом никакой пользы не дают. Однако оспаривать слова Степана или вот теперь учительницы Парася не смела.

– Не будете возражать, если я с Василием осенью займусь... развитием... подготовкой к школе? – запинаясь, спросила Ирина Владимировна.

– Ежели Степа одобрит.

Степан одобрил горячо и со многими благодарностями.

В конце лета младших Медведевых отвозили в Погорелово, погостить у стариков. Бабушку Тусю они обожали. Туся их защекотывала с прибаутками, вечерами пускала к себе в кровать и рассказывала волшебные сказки.

Запах старой избы, в которой утром пекли хлеб, перина бабушкиной постели, сначала воздушная, а потом из-за твоего ерзания сбившаяся, и уже ребрами чувствуешь остов кровати, запах самой бабушки – пота рабочего, трав луговых, льняной рубахи, вытащенной из сундука, собственный запах – еще не просохших после мытья волос... И кажется, что искусанные комарами, в красных пятнышках запекшейся крови ноги, которые так приятно чесать огрубевшими пятками, тоже источают слабый дух весело проведенного дня – и все под урчание бабушки, рассказывающей сказку про могучего богатыря. Бабушка Туся задремывает, но если ее в бок пнуть: «Дальше!» – не обижается, продолжает рассказывать, с того места, которое уже было, не со второго подвига богатыря, а с первого...

Это останется с Митяем и Васяткой на всю жизнь. Они не будут помнить, как выглядела бабушка Туся, и запахи – старой избы, свежего хлеба, бабушкиной перины, своих покусанных комарами ног – забудут. Иногда повеет вдруг знакомым, непонятно знакомым... Сохранится нечто общее, неуловимое и в то же время стойкое, как клеймо на сердце.

У бабушки Анфисы в доме было совсем по-другому. Хотя мальчишек все любили и баловали: тетка Нюрания, шепутная, быстрая, вечно занятая, дядя Аким и дядя Федот, похожие на ожившие коряги, Василий Кузьмич, доктор, который разговаривал сам с собой, дедушка Ерема – добрый затейник, построивший сказочный дом, где здорово играть в прятки. Но была еще бабушка Анфиса. Очень большая, великая. Ростом не выше дедушки или тети Нюрани, но все равно какая-то громадная. И злая. Васятку не трогала, а на Митяя шипела:

– Ишь, греховное отродье, как зацветилось. Черт любит краситься. Васятка, ты этому выродку не верь, он жизнь мою загубил.

Митяй, привыкший к своей исключительности, к тому, что надо переждать, пока тобой восхищаются, пугался. Васятка бабушку Анфису, которая ему на ухо жарко шептала про какой-то клад, про то, что он мал, но потом оценит, невзлюбил именно за то, что она Митяя обзывала вырождением и пинала. Могла изо рта Митяя кусок пирога выхватить и Васятке сунуть:

– Тут с начинкой, выродок, конечно, себе отхватил, а тебе припек да горбушки!

Если бы не тетя Нюраня и дедушка Еремей, неизвестно, каким кошмаром обратилась бы для них бабушка Анфиса.

Нюраня, руки в бока, хитро спрашивает:

– Вы думаете, она Баба Яга? Дык вы настоящих ягинь не видавали!

Шмыг в куть – и выскакивает оттуда простоволосая, всклоченная, лицо сажей перемазано. Кричит, что она главнейшая Баба Яга и сейчас их на паужину схрумкает. Митяй и Васятка врассыпную, Нюраня за ними гоняется – весело!

Дедушка им вырезал фигурки Бабы Яги и Черта Лысого. Недолго куклы продержались, потому что сражались, управляемые братьями.

Они не будут помнить лиц бабушек: доброй Туси и злой Анфисы. Они были еще слишком малы, когда бабушки были живы, а сельское летнее приволье было насыщено играми, беготней – не до скуки и размышлений-запоминаний.

Но в их ночных кошмарах, быстро забываемых, надолго поселятся образы старух; одна суетливая, добрая, вторая – сильная, умная, грозная и желающая их погубить.

Камышины

Марфа работала уборщицей, мыла лестницы и коридоры в заводууправлении. Привычная к честному труду, она держала вверенное помещение в чистоте. То есть драила ступеньки по несколько раз в день. Поэтому нажила себе врага – Мотрю, уборщицу, которая прежде отвечала за этот участок, а потом повышение получила – убирать в кабинетах. Мотря поначалу посмеивалась на Марфиным усердием, обзывала деревней и говорила, что надо один раз в день мыть, всю грязь не вынесешь, вон сколько ее в распутицу. Но Марфа знай себе мыла и мыла. Летом и зимой проще было, а весной и осенью с тряпкой и ведром не расставалась. Ей платят за то, чтобы было чисто, значит, чисто должно быть всегда.

На подоконниках лестничных площадок Марфа горшочки с зеленью поставила, маленький палисадник у входа цветами засадила. Мотря возненавидела Марфу лютой ненавистью. Для ненависти преступления необязательны, добрые дела тоже подходят. Чего только Мотря каждому встречному про Марфу не говорила: и что она задницей крутит, ступеньки намывая, чтобы перед мужиками повихляться, у самой-то муж недоумок, и что она дура-дурой, деревенщина, а хитра как лиса, выслуживается – после собраний залу моет бесплатно, а все потому, что на ее, Мотрино, место метит в кабинеты, поближе к начальству.

Однажды Мотря нарвалась на Степана и не сообразила, кому ябедничает. Степан уже был сыт по горло разбирательством со своими коммунарами. Строго-настроено было постановлено: на базар излишки не возить, чтобы в спекулянты не записали! Бабы слово «спекулянт» переделали в «пискулянт» и тайком «пискулянили». На базаре больше прибыли получишь, чем в рабочей заготконторе. Час назад Степан своих пискулянток на рынке отловил и погнал прочь. В том, что бабы убрались, а не спрятались за забором и после его ухода снова за прилавки станут, у Степана уверенности не было. Поэтому он злился, а тут еще какая-то халда про Марфу гадости изрыгает.

Степан схватил Мотрю за плечи, оторвал ее от земли, потряс гневно в воздухе, оглянулся по сторонам, понес к кирпичной стенке здания и припечатал так, что ноги Мотри на полметра от земли болтались.

Марфа все это видела. Захлопнув рот ладошкой и вытаращив глаза, наблюдала. Слов, которые Степан Мотре в лицо кричал, не слышала. И не досмотрела представление, убежала в свою коморку. Тело скрутило так, что

пришлось со стоном на корточки сесть, уткнув голову в коленки, обхватив ноги руками. Желание Степана – красивого, давно любимого, защитника наилучшего, отца для ее ребенка наипрекрасного – было нестерпимым, до судорог, тошноты и умопомрачения.

Тогда-то, кое-как оправившись, и приняла Марфа окончательное решение – в коммуну они не поедут.

Науки Степана Мотре хватило почти на месяц, потом она снова пошла языком чесать. Но люди по делам, а не по сплетням составляли мнения. Поэтому от Мотриного злословия Марфе и вреда не было, и хоть какое-то развлечение души имелось. Это как в долгом монотонном труде вдруг появляется раздражитель – например, зудящий прыщ на ноге, и ты отвлекаешься ногу почесать.

Однако именно благодаря Мотре жизнь Марфы, вместе с ней Петра и Митяя, судьбоносно переменялась.

Несколько омских предприятий были объединены в трест сельскохозяйственного машиностроения. Ведущим специалистом прислали из Питера Александра Павловича Камышина, инженера с Путиловского завода. Он прибыл в Омск с женой и дочкой, определился на жительство в один из немногих двухэтажных домов, имевших электрическое освещение, водопровод и канализацию. Александр Павлович искал домработницу и обратился за протекцией к Мотре, мывшей полы в его кабинете. Мотря рекомендовала Марфу. Хотела ей свинью подсунуть – эта деревенщина в глаза не видела городских квартир, оскандалится и будет с позором выгнана.

Вышло в точности наоборот. Марфа у Камышиных прижилась, а Мотре при очередном пересмотре норм труда добавили за ту же зарплату Марфин участок – лестницы и коридоры, еще и попеняли, что зелень в горшках на подоконниках и цветы в палисаднике чахнут.

Марфа не умела любить мужчин. Был, конечно, Степан. Но он как бог, абсолютный и недоступный. В детстве богомольная мать не пускала ее играть на улице, и с мальчишками девочка не зналась. После смерти матери вредная тетка не разрешала Марфе водить хороводы летом, участвовать в зимних забавах, ходить на супрядки, и внимания парней Марфа никогда не достаивалась. Вышла замуж за Петра – в нем мужицкой силы не больше, чем в развратном подростке. Было несколько соитий со свекром, спасшим ее от самоубийства. Завершились они рождением Митяя. Вот и весь список. Природа, наделив Марфу физической силой и выносливостью, заложила в нее громадный запас любви, которую требовалось расходовать, и Митяй,

единственный ненаглядный ребенок, не исчерпывал этот запас.

Настоящую любовь, душевную привязанность, неопишное удовольствие ответного чувства Марфа пережила с Парасей. Тогда, в беременность и во времена кормления младенцев, две молодые матери всегда были вместе, их сплетение чувств умножало счастье материнства.

Марфа влюбилась в Елену Григорьевну Камышину с первого взгляда. Она ей показалась ожившей «статуткой», так Марфа про себя называла бережно хранимый подарок Степана – фарфоровую статуэтку балерины. Елена Григорьевна была миниатюрна и хрупка, кукольна, игрушечна. На мысль о кукле наводила и ее прическа – одуванчик взбитых, завитых в пружинки, рыжевато-золотистых волос.

Александр Павлович представил Марфу жене и дочери – семилетней Насе, уменьшенной копии матери. Марфа устала на руки девочки – у Митяя такие крохотные пальчики были только при рождении.

– Марфа, спасите меня! – пропела Елена Григорьевна. Голос у нее был тонкий, высокий, почти детский. И говорила она с придыханием, подхватывая в середине слова воздух. – Я совершенно беспомощна, домашнее хозяйство для меня непостижимая премудрость.

– Однова за раз не управлюсь, – сказала Марфа.

Камышин ее уже провел по квартире, показал: тут у нас спальня, здесь детская, кухня, ванная и клозет... Везде была грязь, паутина, беспорядок, запущение.

– Простите? – выдохнула дым Елена Григорьевна. Она курила папиросу, вставленную в длинный янтарный мундштук. Сидела в кресле, нога на ногу, откинувшись на спинку, локоть руки с мундштуком стоял подлокотнике.

– За один раз не отмыть все, – пояснила Марфа.

– Вас никто не торопит, – подал голос Александр Павлович. – Елена, ты не могла бы показать Марфе, где у нас ведра, тряпки?

– Не могла бы, – опять затаилась и выпустила дым Елена Григорьевна. – Увы, понятия не имею. А кухарку ты нанял, Алекс?

Муж ей не ответил, обратился в Марфе:

– Разберитесь здесь сами. Если в чулане не найдете орудий труда, возьмите деньги у Елены Григорьевны и купите все необходимое. Мне на завод пора, – попрощался он.

Александр Павлович по фигуре был полной противоположностью жене. Кряжистый, широкоплечий, тулово – коробка, ноги короткие, но сильные, руки точно клещи, лицо грубой лепки. Он походил на купца или ямщика, никак не на столичного инженера.

Елена Григорьевна очаровала Марфу, да и многих очаровывала, это было ее главным занятием. И только муж относился к ней с плохо скрываемым раздражением – наверное, период очарования остался в прошлом.

Через неделю Марфа отмыла квартиру, через две недели стала готовить Камышиным еду, потому что найти кухарку так и не удалось. Через месяц Камышины уже не могли себе представить жизни без Марфы.

Летом ей не составляло труда мотаться от заводоуправления до дома инженера. Митя был в деревне, Петр обитал в шалаше при огороде. Отказавшись от вступления в коммуну, Марфа попросила Степана оформить им участок под огород. Созревший урожай приходилось охранять, чем Петр и занимался. Он увлекся огородничеством и на следующий год, как только кочегарка закрылась, переселился в шалаш. Недалеко от их участка протекала речка Омь, и Петр мог предаваться любимому делу – рыбалке.

Осенью, когда зарядили дожди, работы в заводоуправлении прибавилось, вернулся из деревни сын, Марфе стало трудно бегать туда-сюда. Деревянные тротуары во многих местах прогнили, она однажды поскользнулась и вывихнула ногу, два месяца хромала. Александр Павлович предложил ей уволиться с завода, повысил зарплату прислужившей кухарки и выхлопотал Медведевым квартиру в подвале его же дома. Формально жилье получил Петр. Два помещения – кухня и комната, узкие окна опять-таки под потолком, солнца никогда не бывает, видно только ноги прохожих. Но все-таки это было значительное улучшение жилищных условий, и на новом месте отсутствовала досаждавшая жирная угольная пыль.

Александр Павлович с утра до вечера находился на заводе. Но в тот день, когда Митя познакомился с Настей, был выходной. Марфа заранее спросила разрешения привести сына – у них в подвале мышей и крыс травят, а на улицу она пока отпускать ребенка побаивается, только отошел от увечий.

Настя Камышина на улицу никогда не ходила, с местной ребятней не водилась.

Эта сцена надолго врезалась в их память. У детей все было как у взрослых, только парень и девушка, мужчина и женщина маскируют свои чувства, а дети представили их в оголенном виде.

Митяй увидел Настеньку и застыл. Рот чуть приоткрыт, глаза навыкате. Моргнет, точно хочет видение чудное убрать, и снова таращится.

Настенька, во всем подражавшая маме, вдруг шею вытянула, головой из стороны в сторону поводила, глаза закатила, как бы в презрении, и спросила капризно:

– Он немой?

– Нет-ка, говорливый, – прихлопнула рот ладошкой Марфа, смеясь.

Елена Григорьевна подавилась дымом и закашлялась. Александр Павлович беззвучно трясся. Взрослые пытались не расхохотаться в голос.

Митяй был трогательно беспомощен перед открывшейся ему красотой, а Настенька, превратившись в кокетливую барышню, которой досаждают кавалеры, вертела носом, зашипнула пальчиками край платица, показала свою ножку в миниатюрной туфельке, покрутила ею, как бы скучая, в воздухе.

– Можно потрогать? – протянул Митя руку к девочке.

Она издала насмешливый звук:

– Пф-ф!

– Сынок, да ты что? – покачала головой Марфа.

– Трогай, трогай! – позволил Александр Павлович.

Митяй приблизился к Насте, ладошкой коснулся ее волос – таких же пышных, мелким бесом пружинчатых, как у матери. Но Елена Григорьевна свои подкрашивала отваром луковой шелухи, и они были рыжеватыми, а кудряшки Насти цветом напоминали отбеленный лен.

– Мягонькие, – с затаенным восторгом проговорил мальчонка.

Настя снова пфыкнула и ударила его руке – не трогай.

– Как это мило и трогательно, – выпустила струю дыма Елена Григорьевна. – Пережить бурю страстей в семь лет. Или первую бурю, за которой последуют...

– Елена! – перебил жену и скривился Александр Павлович. – Не надо этого пошлого декадентского пафоса! Дети – это только дети. Митяй, Настена, марш в детскую!

– Митяю пять исполнилось, – почему-то сочла необходимым уточнить Марфа.

– Как скажешь, дорогой, – закатила глаза Елена Григорьевна, и стали понятны ужимки Насти, карикатурные по сравнению с материнскими.

Александр Павлович, когда дочь проходила мимо него, захватил ее легонько за ушко, склонился и проговорил тихо, но всем слышно:

– Больше естественности! Жеманство и кривляние быстро наскучивают. – К Митяю он обратился во весь голос: – Мужик! Не теряй головы, потом долго отыскивать придется. Когда найдешь и на место башку установишь, совсем другая картина мира откроется.

– Алекс, я тебя прошу! – процедила без придыханий Елена Григорьевна.

– Дядя, я сам знаю! – высвободил захваченное плечо Митяй.

– Вот видишь! – другим тоном, снова воркуя, произнесла Елена Григорьевна. – Он сам знает. Ах, какие они милые! Оба блондины кудрявые, и глаза... ты обратил внимание, дорогой, что они голубоглазы? Но у Насти цвет нежного летнего утреннего неба, как у меня, а у Митяя – глубокий, в синеву, оттенок неба зимнего...

– Я обратил внимание на то, что ты стала прикладываться к бутылке еще до завтрака!

Камышины часто ссорились. Правильнее сказать, они постоянно ссорились. Марфа поначалу этого не понимала. Для нее ссора – это крики, ругань, битье посуды. Камышины в голос не орали друг на друга и тарелок на пол не бросали. Они разговаривали странно: в каждой фразе, в построении предложения (значения многих слов Марфа не знала), в интонациях было что-то ненормальное. Марфа определила через некоторое время – замаскированные упреки. Обращаясь друг к другу по мелким бытовым поводам – привезти купленную мебель, забрать билеты в театр, отправиться на торжественное заседание по случаю годовщины революции, найти учительницу музыки для дочери, – Камышины умудрялись в каждую фразу вложить упрек. Елена Григорьевна упрекала с миной оскорбленного достоинства и с интонациями обиженной девочки. Александр Павлович – с усталым обреченным раздражением.

Елена Григорьевна была переменчива, как весенний ветерок. Могла полдня заниматься с Настей музыкой или обучать ее хорошим манерам, а потом две недели гнать от себя дочь:

– Оставь меня! Не досаждай!

Настенька ее боготворила и была как цветочек, который то раскрывается при материнском внимании, то никнет, когда мама не в настроении.

Елена Григорьевна загорелась обустроить квартиру, носилась за старинной мебелью и люстрами. Остыла, и буфеты, шкафы, ящики с люстрами долго загромождали коридор. Вдруг принималась учить Марфу накрывать на стол, подавать блюда, рассказывала, что в институте дворянском их не столько познакомили с достижениями мировой культуры, сколько муштровали по этикету. Могла прийти на кухню и вместе с Марфой готовить необычное блюдо. Елена Григорьевна читала по книге, Марфа исполняла, обе хохотали, когда не получалось. А потом, когда

Марфа по науке институтской стол накрывала, Елена Григорьевна шипела свистяще:

– Прекратите! Что за пародия! Несите, как обычно.

Она могла быть милой, нежной, дурашливой и через минуту – раздраженной, ядовитой, несправедливой. Могла три часа просидеть с модисткой, болтая про моды, а в это время из забившегося толчка в клозете ползла зловонная жижа, и по запаху это было понятно, и слесарь уже трижды в дверь звонил. Но клозет – епархия Марфы, которая ушла на рынок за продуктами. Придет – разберется, вычистит. А спустя месяц могла трубочисту замызганному, который пришел перед зимой дымоходы от сажи освобождать, пересказывать сказки Гофмана. Сидеть в углу кухни, ножкой качать и соловушкой заливаться. Новая пластинка для патефона могла подвигнуть Елену Григорьевну на домашний маскарад: нарядить Митяя, Настю, Марфу, самой разукраситься – и плясать, прыгая по комнате. На следующей неделе она запрещала любые громкие звуки, шипела на Марфу за звяканье посудой в кухне, отгоняла дочку от пианино.

Единственным исключением были «вечера» Елены Григорьевны. «Вечера» проходили по средам, Марфа их про себя называла «вечёрки». Каким бы ни было с утра настроение Елены Григорьевны, как бы она ни хандрила днем, к вечеру в среду непременно наряжалась и принимала облик загадочной Елены Прекрасной. Так они ее называли – омские и заезжие художники, поэты, режиссеры, писатели, прочий народ, имевший отношение к культуре. Марфа открывала дверь на звонок, принимала верхнюю одежду. Особо примечала тех гостей, что в калошах: снимут – не наследят. Со временем и потому что писатели-поэты были одеты как попало, осмелилась – просила их обувь о тряпку тщательно вытирать.

Грязные полы были проклятием Марфы, что в заводоуправлении, что у Камышиных. У нее в голове не укладывалось, как люди могут жить в помещении, где по полу вихляются серые разводы в комочках уличной грязи. В доме Анфисы Ивановны полы скреблись ножами и полировались дресвой – прокаленным песком. Потом застилались сшитым в единое полотнище холстом, который по краям прибивался маленькими гвоздиками. Сверху раскладывали домотканые половики, в горнице – настоящий «персяцкий» ковер. Если бы человек вздумал войти в избу в грязных сапожищах, его бы приняли за тронувшегося умом. Такого позора не могло случиться даже с вусмерть пьяным мужиком.

В гостиной Камышиных все курили – дым стоял коромыслом. И говорили, говорили, спорили, доказывали, читали стихи и прозу. Женщин было мало, мужики то и дело воспевали Елену Прекрасную. Марфа метала

на стол «легкие закуски». Так их Елена Григорьевна называла, на самом деле – пироги. Печь пироги с разной начинкой Марфа была мастерица, и ни разу не случилось, чтобы голодная культурная братия оставила хоть краюшку.

Александр Павлович иногда присоединялся к компании в гостиной. Но чаще, вернувшись с работы усталым, спрашивал Марфу:

– Салон Анны Павловны Шерер бурлит?

– Вечёрка, как водится. – Она брала у хозяина пальто, на вешалку не цепляла, чтобы какой-нибудь писатель, уходя, не накинул на свои босяцкие плечи.

– Поддай-ка мне в кухне, – просил Александр Павлович. – Не все пироги поэты с режиссерами умяли? Дык мне-то приберегла?

– Дык, конечно, ваши любимые, с картохой и грибами.

Марфу поражало, что Александр Павлович, относившейся к жене как к повешенным на тело веригам, никогда не отказывает Елене Григорьевне в ее безумных тратах. Камышин зарабатывал немало, его жена цену деньгам не знала и знать не хотела. Часто случалось, что в конце месяца денег не было даже на дрова.

– Опять гениальные поэты и артисты нас обескровили, – усмехался Александр Павлович. – Марфа, одолжите?

У нее всегда было отложено – свекровь приучила. Анфиса Ивановна говорила, что хозяйка без припаса как корова без вымени. В городе главным припасом были деньги. Марфа вела строжайший учет выданных хозяйских денег. Отчасти стремясь быть похожей на Анфису Ивановну, завела толстую тетрадь, в которую Петр под диктовку жены вписывал ежедневные траты и подводил итог. Если не сходилось, хоть на две копейки, Марфа нервничала. Да и Петру, который любил арифметические подсчеты, было завлекательно выяснить, где ошибка, по три или три пятнадцать за фунт говядину Марфа покупала. Она подсовывала тетрадку Александру Павловичу – проверьте расход. Инженер поражался точности подсчетов:

– Марфа, у вашего мужа математический талант!

– Хоть какой-то...

Марфино обожание Елены Григорьевны и Настеньки было не явным, хотя и ни для кого не тайным. Оно, неожиданно для самих Камышиных, сцементировало их семью, распад которой казался неизбежным. Марфа взвалила на себя хозяйство Камышиных, не ведая того, что убрала из их отношений бесконечный раздражитель – бытовые проблемы. Каждое утро у Александра Павловича были вычищенный костюм, свежая рубашка,

надраенные ботинки. На спинке кресла в гостиной висело с вечера заказанное, отглаженное платье Елены Григорьевны и рядом на стульчике – наряд Настеньки. Их ждал горячий завтрак, с кухни тянуло готовящимися к обеду щами, пряным духом теста для вечерних пирогов. На мебели ни пылинки, на полу ни соринки. Кот сидит на спинке дивана и умывается.

Елена Григорьевна подобрала на улице котеночка, принесла в дом, умилялась, три дня кормила из блюдечка молоком, назвала Мартой. Через неделю Марта, скачущая по портьерам, дерущая когтями обивку мебели, наскучила Елене Григорьевне, а Настенька к котенку трепетно привязалась, и выкинуть его на улицу у родителей не поднималась рука. Марфа первым делом объявила, что оно не Марта, а Март, то есть кот, и чтоб оно дома питалось, да еще и гадило – это ересь. Кыса должна мышей ловить и тем кормиться, а нужду справлять на улице. Камышины поразились чудесам дрессировки: Март разжирел на отхожем промысле, в доме не гадил, чисто вылизывался после охоты, и за это получал от Марфы селедочный хвост. Единственное, от чего не удалось отвадить Марта, так это от приношения трофеев в постель Елены Григорьевны или Насти.

Александр Павлович завтракал рано утром, первым. Раздавался истошный визг жены или дочери.

– Март опять ей на подушку мыша приволок? – поднимал бровь Александр Павлович.

– Пусть поголосит, – спокойно отвечала Марфа. – Еще чаю? Когда поверещит с утра, днем бодрее потом бывает.

– Елена Григорьевна?

– Она. После мыша, что Март ей подсунул, редко миргенью страдает.

– Но это, кажется, Настенька заходится.

– Тоже полезно. Вскакивает как на пружинках, а то бывает до полудня как тряпичная кукла, не растормошишь.

«Марфа! Марфа! Скорее!» – неслась по квартире женская истерика.

– Иду уж, иду! Сейчас заберу мыша. Делов-то! За хвост его взяла бы и отбросила на пол. Такие нежные!

Елена Григорьевна и Настенька прикоснуться к мышонку боялись. А хитрый Март убежал в гостиную. Он отстоял свои права: на личном прокорме пребываю, в доме не гажу и умываюсь на спинке дивана в гостиной!

Камышины, прекрасно понимая, сколь велико участие Марфы в их семейных делах, тешили себя надеждой, что этой деревенской женщине, избавленной от крестьянского труда, работается в их квартире

относительно легко. На самом деле для Марфы было много легче на деревенском приволье – на севе, сенокосе, уборке урожая. Упадешь на траву в обеденный перерыв, тело гудит, кости дрожат... Чуть еды перехватила, минутку соснула – и опять как новенькая, сильная. Небо над тобой, простор вокруг, воздух чистый – работаешь и радуешься. Силе своей радуешься.

В квартире городской все по-другому: мельтешение, закупоренность, духота, необходимость помнить о десятке мелочей, топтание на ограниченной площади – это выматывало сильнее, чем метанье зарода.

По средам, после «вечерок Анны Павловны Шерер», сбегав в подвал, накормив сына и мужа, вернувшись и отмыв первичную грязь в коридоре и в гостиной, приготовив щепу для самовара и залив кипятком крупу (Александр Павлович любил на завтрак кашу), Марфа иногда оставалась до рассвета. Потому что Елена Григорьевна, напившись дрянного вина, падала на кровать в одежде, принималась блевать и могла захлебнуться. Марфа подставляла ей ведро, давала воды, которая через минуту фонтаном вырывалась изо рта обессиленной Елены Григорьевны. Потом, чтобы «статуточка» остаток ночи проспала чисто и спокойно, Марфа несла ее в ванную, обмывала и переодевала.

– Ее всегда и все баловали, – говорил Александр Павлович, поднявшийся на шум. – Завидная участь. Но так, как вы, Марфа, пожалуй, никто не старался. Ради чего?

– Шли бы вы почивать, барин!

Когда Марфа уставала отчаянно, она их называла «барин» и «барыня», Настеньку расшкодившуюся – «барышня».

Александр Павловичу было невдомек, что Марфа видела в Елене Григорьевне страдальцу. От чего барыня страдала, Марфа объяснить не смогла бы. Но так ли уж важно знать причину терзаний, если ты заведомо не в состоянии убрать ее? Зато способна скрасить жизнь обожаемому человеку.

Хотя в начале своей работы у Камышиных Марфа испытала потрясение, которое едва не свергло Елену Григорьевну с пьедестала. Потрясение было связано с женскими панталонами.

Сибирские крестьянки никогда не носили нижнего белья. В холод надевали дополнительные юбки, одна поверх другой, хоть три, хоть десять в мороз. По их представлениям, панталоны были частью наряда продажной женщины.

За свою жизнь Марфа перестирала горы мужского исподнего, но никогда в глаза не видела дамских трусов. А тут в ворохе грязного белья –

они, батистовые, с кружевами... Первой мыслью было: «Подкинули! Какая-то шлюха подбросила!»

Марфа двумя пальцами захватила панталоны, на вытянутой руке понесла хозяйке:

– Глядите!

Елена Григорьевна, лежа на диване, читала книгу.

– Что вы мне хотите сказать?

– Дык вот же! – потрясла Марфа панталонами в воздухе.

– Вижу. Мое белье.

– ВАШЕ?

– Не французский шелк, конечно, но вполне достойное. Что вас удивляет? – И не дожидаясь ответа, Елена Григорьевна выпроводила Марфу: – Не досаждайте мне глупостями!

Марфа потом у Мотри поинтересовалась, неужели все городские женщины носят исподнее. Мотря в очередной раз обозвала ее деревенщиной, задрала юбку и показала свои панталоны. Сама-то она, давно уехав из деревни, на панталоны решилась полгода назад.

– Не французский шелк, конечно, – пробормотала Марфа, разглядывая перешитое из грубой солдатской бязи бесстыдство.

Как Парася в коммуне, так Марфа в городе – обе, выскользнув из-под руководства и покровительства старших женщин (матери, тетки, свекрови), вынуждены были приспосабливаться к новым условиям. Раньше им не позволялось «брать волю», а теперь без личной воли, без того, чтобы сломать характер, избавиться от забитости, было не прожить. Прежде их обижала свекровь Анфиса Ивановна, но и она же другим их в обиду не давала. Теперь приходилось самим обороняться и нападать, защищая свою семью и доведки к ней: у Параси – коммуна, у Марфы – Камышины.

Марфа и Парася редко переписывались, на бумаге им было не излить тоску друг по другу. Передавали весточки, слали с okazji подарки: Марфа – городские вещи, Парася – деревенские гостинцы. Пережив шок с дамскими панталонами, Марфа хотела даже купить их и смея ради отправить сестричке. Но вовремя одумалась – за такие шутки можно было на всю жизнь рассориться.

Они все больше отдалялись друг от друга, потому что в приобретаемых знании и опыте, в окружающих их реалиях было мало общего. Две «сестрички», разделенные несколькими десятками верст, существовали как будто на разных планетах.

Нюраня и Максимка

Дом Анфисы Турки прежде имел удивительную особенность менять настроение. Весной, с покрашенными наличниками, он походил на девушку, что вертится перед зеркалом, напялив на себя столько дорогих нарядов, сколько оказалось в сундуках. В сырую погоду дом напоминал ворчливую барыню, попавшую под дождь. В жару, с распахнутыми окнами, млея, как одышливая тетка, которую не заставишь сделать лишнее движение. В облике дома всегда было что-то женское. Даже зимой, засыпанный снегом по окнам, с белой шапкой на крыше, он был похож на богатую даму, спящую в легких перинах гусиного пуха.

Еремей, построивший дом, точнее – усадьбу, самую красивую в округе, а может, и во всей Сибири, свое творение не любил. Ему редко нравились собственные старые произведения. Еремей считал, что при строительстве усадьбы его подвело чувство меры – слишком много резьбы, куда ни кинь взор, пропилены даже на досках заплота. Ажурный двускатный козырек над воротами и калиткой, особенно поражающий своей красотой, Еремей считал подходящим для надгробия какой-нибудь капризной артистки, если в камне вырезать, конечно.

Построенный на совесть, дом мог простоять еще сотню лет, однако последние три года он пребывал в одном настроении – брюзгливого старения. Весной его не подновляли, не мыли от конька до крыши, не ремонтировали, не красили. Дом в точности повторял состояние хозяйки, Анфисы Турки. В селе бабы судачили: думали, что Анфиса, могучая и волевая, проживет до ста лет и до ее последнего часа все домашние будут под присмотром «по досточке ходить», а вот поди ж ты – *сдала* Анфиса после болезни.

Нюраня тоже считала, что первопричиной маминого *сдавания* была сердечная болезнь, а потом для нее страшным ударом стала смерть внука, мама даже умом как бы тронулась ненадолго, себя в гибели Ванятки обвиняла. Уход из дома братьев с семьями и воцарившаяся тишина еще более усилили мамину хандру, которую она *залежала*. Нюраня была уверена, что жизненные соки образуются внутри человека, только когда он двигается. Эти соки придают силы, пробуждают интерес, заставляют ставить задачи и выполнять их. А когда человек много лежит, спит, дремлет или просто в потолок таращится, соки не выделяются, и *залежаться* можно до смерти, как со многими стариками и происходит.

– Я, пожалуй, соглашусь с твоей теорией, – говорил Василий Кузьмич, – хотя «соки» звучит ненаучно.

Ни доктор, ни Нюраня, ни прочие домочадцы не знали, как и чем пробудить у Анфисы Ивановны интерес к жизни, заставить ее двигаться. Она вставала с постели, чтобы поесть или выйти во двор, возвращалась в свою комнату и снова ложилась. Перестала ходить в баню.

Чтобы вынудить ее помыться, Нюраня срывалась на крик:

– От тебя воняет уже! Ты которую неделю в бане не была!

– А ты не принохивайся. Пошла вон! – поворачивалась лицом к стене мать.

Отец тоже постарел, хотя ему не исполнилось еще и шестидесяти. Еремей Николаевич, решительно отойдя от крестьянской работы, хотя бы не лежал лежнем. Он вырезал прялки и веретена, ложки и деревянную посуду, делал игрушки. Отвозил этот штучный товар в Омск, продавал за бесценок, лишь бы на новые инструменты взамен пришедшим в негодность хватило.

Василий Кузьмич, как он выражался, «оставил практику», амбулатория закрылась, хотя к Нюране время от времени обращались за лекарской помощью. В сложных случаях доктор подключался, если был трезв. Но трезв он бывал редко, а пьяненьким страдал провалами памяти и болтливой суетливостью.

Нюраня как могла руководила хозяйством, дядей Федотом и дядей Акимом, которые напоминали старых коней – не сегодня-завтра лягут на борозде и помрут. Сажали и сеяли только на прокорм, сено заготавливали для двух коров, овец не держали, гусей не разводили, осталось два десятка кур. Нюране надо было прокормить долгой зимой всего шесть человек, она не представляла, как умудрялась мать сытно содержать большое семейство, помогать родне, делать коммерческие запасы, вести торговлю. Дочь явно не в мать пошла – не обладала Анфисиной сметкой, умением планировать текущие дела и на перспективу. Энергия была из Нюрани ключом, но не так, как у молодой Анфисы – в одну точку, а брызгала во все стороны.

Окруженная стариками, Нюраня не поддавалась их унынию и радостно встречала каждый день. Утром щебетала как птичка, вечером, усталая и возбужденная, засыпала с улыбкой на губах. Она была счастлива: красива, молода, влюблена и мечту имела. Бегала в сенник на тайные свидания с Максимкой Майданцевым. Про их тайну знало все село, ждали, когда наконец поженятся.

– Нюрань, когда поженимся? – спрашивал очумелый от поцелуев Максимка.

– Ты ж знаешь, – жарко и мелко дышала разгоряченная Нюряня.

– Знаю, на доктора желаешь поехать учиться. Ну, допустим, выучишься, а потом что?

– В Погорелове настоящую амбулаторию открою, буду людей лечить, тогда и поженимся.

– Это когда ж «тогда» будет?

– Не знаю! Чего пристал? Максимка, я про женские половые органы все знаю, а про мужские Василий Кузьмич мне ничего не рассказывал. Покажи, а?

– Нюр, ты дура? – возмущался Максимка. – Покажи ей!

– Это просто органы тела.

– Иди у быка смотри на органы.

– Вряд ли у тебя как у Буяна, – хихикала Нюряня.

– Проказница! – целовал ее Максим. – До чего ж ты меня измучила!

Она взяла с него обещание, что в своих ласках он не перейдет последнюю черту. И делала все, чтобы его к этой последней черте подтолкнуть.

Когда Максим совсем терял разум, дрожал, стонал и рычал, Нюряня принималась твердить:

– Ты слово дал! Ты обещался!

Максим с рыком откатывался, зарывался головой в сено. Нюряня не знала, радоваться ей или печалиться, за черту хотелось отчаянно.

– Не обижайся, ну! – толкала она его в плечо.

– Отстань!

– Ты же комсомолец!

– Ага! Я по такому случаю еще в партию вступлю и буду на свиданки к тебе приходить с партбилетом в зубах!

Максим, по сибирским меркам, был невысоок – ростом с Нюряню, а той пяти вершков не хватило до двух метров. Стройный и красивый до бабьей смазливости, он, однако, не производил впечатления избалованного женским вниманием повесы. Смотрел на собеседника прямо, серьезно и отчасти хмуро, словно давая понять, что шутки шутить с ним не стоит, что решения он принимает не с бухты-барахты, а тщательно продумывая, и заставить его изменить решение очень непросто. Когда же Максим улыбался и его красиво очерченные губы растягивались, обнажая крепкие, частоколом подогнанные зубы, а в серых глазах плясали искорки, на ум приходило: «Улыбкой одарил». Откуда-то ведь возникло это выражение – очевидно, от лицезрения улыбок таких вот сильных и добрых людей.

В селе он был завидным женихом. Девки по нему сохли, но это

значения не имело, гораздо важнее, что его хотели бы получить в зятья родители девок. При взгляде на этого парня опытным глазом становилось ясно: со временем он станет надежным, верным, сильным и добрым, справедливым и щедрым мужиком. Но родителям девок на выданье оставалось только вздыхать, сожалеючи, – Максимка Майданцев крепко присох к Нюране Медведевой.

Она полюбилась Максимке не только потому, что была хороша собой, – девок смазливых в селе и округе навалом. Хотя Нюране вслед даже старики языками цокали и головами качали – ладная кобылка! У Нюрани была мечта, портившая Максимке жизнь, но и поднимавшая его избранницу на высоту, недоступную другим сельским девушкам, на чьих лбах крупными буквами было написано желание выйти замуж, нарожать детей и стать хозяйкой своего дома. Это стремление делало их застенчивыми, ограниченными и глуповатыми. Познания в медицине, которыми уже обладала Нюраня, и те, к которым она рвалась, вызывали уважение. Любовь, замешанная на уважении, в сравнении с любовью телесной, брожением плоти, дарит ощущения несоизмеримо более вдохновенные. Это как высоко прыгать или летать.

Нюраня была свободна духом, открыта, но не проста. Весела, но умела притворяться опечаленной какой-нибудь Максимкиной провинностью, и он каждый раз попадался на эту удочку, пытался, клялся, убеждал в своей любви.

Слово «любовь» для обозначения чувства одного человека к другому в крестьянском обыденном общении практически не встречалось. Парень мог сказать девушке, что *сохнет* по ней, что она его *зазнобила*. Вместо «Я люблю тебя», он говорил: «Давай поженимся» или «Сватов жди». Любовь встречалась в пословицах: «была бы рожица, любовь приложится», «любовь не волос, скоро не вырвешь», и еще в религии – евангельская любовь.

У Нюрани это слово применительно к их отношениям не сходило с языка. «Наша любовь» была для нее как волшебный замок, куда они улетали «на крыльях любви», чтобы насладиться «эликсиром любви» и надышаться «эфиром любви». Максим, поначалу ошалевший от этих книжных слов, со временем тоже пришел к убеждению, что их любовь – исключительная, другой такой не бывает, подарок небес.

Восторженность Нюрани мирно уживалась с проказливостью и затейливостью. Максим не знал, чего ждать от любимой чертовки, и скучать ему она не давала.

Пришла на свиданку грустная, по рукам его бьет, обнять не разрешает,

голову в сторону отворачивает.

– Нюрань, ты чего?

– Ничего!

– Обидел кто?

– Да.

– Имя назови! Из родных или чужой?

– Я думала, он родной, а он чужой, оказывается.

– Это кто? – терялся Максимка. – Как зовут?

– Сам знаешь.

Так несколько минут, пока Максимка не выпытал имя обидчика и его вину.

– Ты! Потому что ты меня не любишь! – выпалила Нюраня.

– С чего тебе в голову взбрело? – поразился Максим.

– Я знаю точно.

– Всем сердцем тебя люблю!

– Не по-нас-то-я-щему!

– А как надо по-настоящему?

– Когда любят, не спрашивают.

И снова он принялся засыпать ее вопросами, а Нюраня увиливала от прямого ответа.

Максим уж до белого каления дошел, когда она призналась:

– Ты меня не любишь по-настоящему, потому что не пишешь мне стихов!

– Чего-о-о? – вытаращил он глаза.

– Когда любят, посвящают стихи! – авторитетно заявила Нюраня.

– Кто?

– Пушкин, например. Или граф Толстой.

Про Пушкина Нюраня слышала от Василия Кузьмича. Он как-то сравнил резьбу по дереву, выполненную Еремеем Николаевичем, с любовной лирикой Пушкина. И прочитал несколько стихотворений, «Я помню чудное мгновенье...» в том числе. У Нюрани чудных мгновений было много, а стихи отсутствовали. Настоящая любовь должна быть со стихами, решила она. Графа Толстого приплела за компанию, для внушительности списка.

– Я! – ударил себя в грудь Максим – Не граф и не Пушкин! Я Майданцев!

Нюраня поняла, что перегнула палку, что Максим заростился. Было немножко стыдно, хотя и весело мучить его, играть с ним в вопросы-ответы. Она была виновата в его напрасной злости, поэтому слезы

навернулись легко, и еще очень хотелось целоваться.

– Максимушка, – припала она к его груди, – так мне грезилось стихов про нашу любовь...

– Дык где ж я их возьму? – оттаял Максимка.

Нюраня обильно смочила слезами его рубаху в области сердца и поцеловала:

– Тут!

– В гроб меня загонишь, – сказал Максимка, поднимая ладонями ее лицо, – умру в молодые годы.

– Поживи ышшо, любимый!

Через месяц, когда Нюраня и забыла о «настоящей любви со стихами», но при этом не забывала периодически морочить Максимке голову своими проказами, он ей заявил:

– Стихи-то я тебе написал.

– Какие стихи? – ахнула Нюраня. – Всамделишные? Поэму?

– Поэму не поэму... – достал Максим из кармана сложенный листок.

– Дай сюда! – выхватила она. – Ой, темно здесь, не видно. У тебя спички есть?

– Нюрань, какие спички на сеновале? Увидят огонек, надерут нам ниже спины оглоблями.

– А ты наизусть помнишь? – Она бережно спрятала листок за пазуху.

– Помню, но у меня там последнее слово никак не подстраивается.

– Все равно! Читай.

Максимка откашлялся и торжественно начал:

*Цветет калина у ручья,
Но пилит сердце грусть моя.
Не увидать сегодня мне Нюраню,
Поскольку путь лежит ей в...*

– В баню! – возмущенно закончила Нюраня.

Максим хотел захватить ее в объятия, но Нюраня вскочила, бросилась к приставной лестнице, скатилась вниз, не переставая обзывать Максимку иродом, предателем, варнаком и лиходеем. Она клялась его больше не видеть и угрожала выцарапать ему глаза, если только появится.

Утром Аким подобрал на полу листок, протянул хозяину с вопросом, нужна бумажка али на самокрутки можно взять.

– Да тут стихи, – удивился Еремей Николаевич и принялся читать

вслух:

*Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.*

*Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица.*

*В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..*

– Фет, – сказал мечтательно Василий Кузьмич.

– Какой еще Ферт? – хмыкнула Нюраня.

Она слушала отца, затаив дыхание от восторга. Ни слова не понимая и не запоминая, улавливая только музыку, в которую превращались поэтические строчки.

– Афанасий Афанасьевич Фет, великий русский поэт, – пояснил доктор.

– Да это для меня Максимка Майданцев сочинил! – забрала Нюраня у отца листок и бережно сложила.

– Ну-ну, – покивал Василий Кузьмич. – Максимка. Майданцев.

Он не стал говорить, что сборник стихов поэта видел у школьной учительницы.

– Ты с Максимкой... того? – замялся Еремей Николаевич.

– Не «того», а поэтически, сами не видите, что ли? Только маме не говорите, а то она мне волосья повыдергивает.

– Если б повыдергивала... – вздохнул Еремей Николаевич.

Он не мог как положено блюсти выросшую дочь, своенравную любимицу. Или не хотел напрягаться.

– Если бы у Анфисы Ивановны, – подхватил доктор, – возникло желание что-нибудь повыдергивать, я не пожалел бы своей бороденки.

Максимка не форсировал женитьбу с Нюраней не только потому, что у нее была мечта, или жалеючи ее стариков. С этим он как-нибудь справился бы. Что, замужним нельзя учиться? Или Медведевы-старики поголовно парализованы, обездвижены и бревнами лежат? Максима останавливали личные обстоятельства.

У его бабки Аксины когда-то было пять сыновей, про них до сих пор вспоминают как о сибирских богатырях. И дед, муж бабки Аксины, и сыновья сложили головы в войнах и восстаниях. Трое сыновей, в том числе отец Максимки, успели жениться, двое оставили детей – у Максимки были родная сестра и две двоюродные. Словом, если долго арифметику не разводить, жил он в бабьем царстве: бабка Аксины, ставшая главой рода, мать, сестра, вдовы тетушки, двоюродные сестры. Плюс довесок – прабабка со стороны матери и прабабка со стороны отца, постоянно друг с другом мерявшиеся потерей ума. Женщины ссорились нескончаемо, у них возникали и рассыпались группировки, они шушукались, сплетничали, наушничали бабке Аксинье, которая, прожив молодость среди мужчин, не умела распознавать хитрых бабьих интриг и то одну сторону принимала, то другую. Запутавшись, приходила в ярость, хватала что под руку подвернется и лупила склочных баб направо и налево, не разбирая правых и виноватых. Хорошо, если полотенцем хлестала, а бывало, что ухватом прикладывала. При этом даже бездетной сорокалетней невестке не позволяла отправиться в город, в работницы. Хотя многие вдовы, да и девицы возрастные подались в Омск давно и нашли там свое место, и были среди них не только переселенки, но и коренные сибирячки. Для бабки Аксины подобная вольность была равносильна благословению на непотребство, шлюшество. Ее слушались, жили, как паучихи в банке, но против бабкиной воли пойти боялись.

Среди женщин Максимкиной семьи, разных по характеру и темпераменту, по большому счету не было прирожденных подлых злодеек. В других обстоятельствах они стали бы хорошими хозяйками и добрыми матерями. Но вдовство, тяжелый дневной труд и холодная постель ночью, скученность и, главное, беспросветность, бесперспективность судьбы выплеснули их энергию, неизрасходованные эмоции и чувства в нескончаемую и бессмысленную борьбу друг с другом.

Максимка давно, лет с четырнадцати, научился отстраняться от бабьих склок, оставаться сухим в топком болоте их взаимных упреков и обид. Дай им волю, с ума бы свели. Не лупить же ему мать и теток, как бабка Аксины. Единственный мужчина, продолжатель рода – его послушались беспрекословно, даже с каким-то радостным почтением: ему не

наушничать, при нем ссор не затевать, а то... Что «то», Максим не знал, да и они тоже, но внутренняя политика: «парень в дом вошел – рты на замок» – соблюдалась свято. Это вовсе не означало, что, приведи он жену в дом, ее оставили бы в покое. За неделю обглодали бы Нюраню до косточек.

Степан, брат Нюрани, как-то посочувствовал Максимке:

– Ох, и тяжелехонько тебе, парень, наверное, приходится.

Максимке было невдомек, что, намучившись с коммунарками – женщинами свободного социалистического труда, – Степан отдал бы руку или глаз, но не согласился жить в обстоятельствах Майданцева.

– Дык справляюсь.

– Дык молодец, – насмешливо похвалил Степан. – Организаторская руководящая жилка в тебе, наверное, есть. Тебе сколько исполнилось?

– Двадцать.

– А Нюране девятнадцать. Отец, Еремей Николаевич, рассказывал, ты стихи ей пишешь.

– Ну-у-у... – смущенно протянул Максимка.

– Не нукай, не запряг! – сменил тон Степан. – Ежели с моей сестренкой что-либо непотребное произойдет, то я тебя, парень, мехом вовнутрь выверну!

– Да мы пожениться хотим! Мы любим друг друга! – выпалил Максимка.

– Чего? «Любим»? Ишь как выражаешься, рифмоплет, – снова потеплел Степан. – Пожениться – это правильно, хорошо. А после свадьбы сразу ко мне в коммуну переселяйтесь, там мы из вас выкуем... перекуем... – запутался Степан.

Он явно спешил.

«Разве ты не ведаешь, что она мечтает на дохтора учиться? – подумал Максимка. – Или, в точности как я, считаешь это неосуществимой блажью?» Вслух он ничего не сказал.

– Извини, тороплюсь, – начал прощаться Степан. – Верчусь как белка в колесе. Знаешь, что это такое?

– Нет.

– Богатые купцы и мещане всякие сажали белку в клетку и ставили ей колесо, в котором белка беспрестанно бегала. Если белка не мчится, то организм ее погибает.

– Так ты, выходит, на потеху нынешней власти вертишься? – смело спросил Максимка.

Степан погрозил пальцем:

– Парень, длинный язык отсекают вместе с головой!

Максимка и Нюраня тянули со свадьбой, ждали чего-то. Пока не дождались краха своего счастья.

Пламя

Степан верно предчувствовал, что после визита Сталина в Сибири начнутся недобрые перемены. Но он и в страшном сне не смог бы увидеть размаха этих перемен.

Курс на всеобщую коллективизацию проводился параллельно раскулачиванию. По большому счету раскулачивать в Сибири было уже некого. Но Центр слал планы, а краевые органы брали повышенные обязательства.

Стон и вой стоял по всей России. Не осталось ни одной зажиточной семьи, которая не подверглась бы раскулачиванию. Спаслись только те, кто, наступив себе на горло, прокляв черта и бога, успел вступить в колхоз. Однако расейские кулаки, высланные в Западную и Юго-Западную Сибирь – немногие, только те, кто сумел сохранить работников в семье, – оказались на плодородной земле, в которую вгрызались, работая по двадцать часов в сутки, и закрепились.

Это была страшная волна человеческого месива, которая катилась по стране от западных границ к восточным, и сибиряки приняли на себя самый трагический удар, потому что им откатываться было некуда. Сибирским кулакам высылка предстояла в места, где человек прожить не может, сколь бы отчаянно ни трудился – не людские места, да и не для всякого зверя. Из Омской области ссылали в Верхне-Васюганский (Кулайский) район. Непроходимые болота, летнего пути нет, земледелие невозможно – гиблый край.

Именно тут Данилка Сорока стегал нагайкой первых ссыльных – белогвардейцев, церковников, прочую интеллигенцию. Они строили лагеря, то есть вышки, комендатуру и бараки для охраны. Строили до последнего. Последних, кто не сдох, Данилка расстрелял. Врагам революции – будущим ссыльным – жилья, считал Данилка, своровавший немало денег, не полагается. Лопата в руки, и пусть землянки роют.

Он вернулся в Омск героем. Слова «Васюган» и «Кулай» еще полвека будут вызывать у омичей холодную судорогу ужаса.

Медведевы-старшие, не без стараний Данилки, попали в первый список на раскулачивание, зимой двадцать девятого года.

Степану, приехавшему в Омск, старый знакомец, бывший адъютант Вадима Моисеевича, шепнул:

- Медведевы в Погорелове твои? Они в списке, по первой категории.
- Как по первой? – ахнул Степан.

То, что его мать могут раскулачить, он предполагал. Но почему по первой категории?

Всего категорий было три. Степан наизусть помнил: «Первая – контрреволюционный актив, участники антисоветских и антиколхозных выступлений; вторая – крупные кулаки и бывшие полупомещики, активно выступающие против коллективизации; третья – остальная часть кулачества». По первой категории подлежали аресту главы семейств, а остальные члены семьи – на выселение. То есть на Кулай. По второй категории выселялась вся семья, опять-таки «в необжитые районы», на тот же Кулай. Третья категория выселялась в пределах своих районов проживания.

– Я тебе ничего не говорил, – предупредил адъютант. – По старой памяти. Завтра Сорокин с отрядом в Погорелово выезжает. – И ушел бодрой походкой занятого человека, на ходу просматривающего бумаги.

Степан двинулся по коридору в противоположную сторону, хотя ему туда было совсем не надо.

Он испугался. Степан не испытывал страха, когда выходил один на один с медведем или с матерым сохатым, только азарт. Он не боялся завалить взбесившегося быка или пьяного мужика с топором. В Гражданскую войну он поднимал бойцов, когда еще не кончился артобстрел, – выскакивал с маузером в руке и орал: «За мной, чалдоны! За нашу революцию!», и оглохшие, не слышащие себя, орущие не про революцию, а «мать-перемать» сибиряки бросались за ним в контратаку.

Степан боялся только собственной беспомощности, неспособности защитить родных и близких.

Ноги вынесли его на улицу. Как будто ноги думали вместо головы, в которой находится мозг. Василий Кузьмич мозг человеческий возвеличивал, затейливо рассказывал... Доктор! Аким и Федот, работники! Матери их всех посчитают. Раскулачивают прежде всего тех, кто имеет работников.

Степан нашел своего возницу, паренька-подростка, достал из командирского планшета листок бумаги и карандаш, дрожащей рукой нацарапал Прасковье записку, велел пареньку во весь дух мчаться в Масловку, отмахнулся от вопроса о том, как сам доберется до коммуны, и от сетований на то, что конь еще «не отдохнувши».

Возвращаясь в здание окружкома, борясь с глухим отчаянием, он приказывал себе не распускать сопли, держаться строго и достойно.

Степана Медведева никто не видел хнычущим просителем. И не увидят! Его задача минимум – добиться, чтобы родителям поменяли категорию. О максимуме – исключении Медведевых из списка на раскулачивание – нечего и мечтать.

«Срочно привези моих в коммуны. Раскулачивание. Немедленно!» – с трудом разобрала Парася почерк Степана. Бросила домашние дела, попросила Фроловых присмотреть за Васяткой, кинулась на конюшню, велела запрягать сани. Парасе передался страх мужа, который она верно угадала за его каракулями. Степа ничего не боится, и страх на него могло нагнать только что-то настолько ужасное, что было неподвластно ее воображению. Парася суежилась, обхватив руками живот, – она была беременна, скоро рожать. Страх поселился под сердцем, близехонько к ребенку, и почему-то казалось, что дитя не вынесет испуга, рванет наружу. Не родится, а вырвется, разрывая ее кожу в лохмотья, через пупок укатится прочь. И всю дорогу до Погорелова, свернувшись в сани калачиком, с головой укрывшись дохой, она крепко обнимала живот, уговаривала дитя не паниковать, твердила, что тятя его сильный и умный, он обязательно всех поборет. Вознице, который правил лошадей, чудилось, что Прасковья молится.

К дому Медведевых они подъехали далеко за полночь. Несколько минут колотили в ворота – за ними надрывались собаки. Наконец в оконце вспыхнул свет, потом у ворот раздался голос Еремея Николаевича, спрашивающего, кто пожаловал.

Возница был погореловский и отправился ночевать к родным. Свекор помог снохе войти в дом. Закутанная в длинный тулуп мужа, наступающая на полы и боящаяся отпустить живот, Парася спотыкалась на каждом шагу. Собаки продолжали брехать, разбудили Нюраню, работников и доктора.

– Скорее! Собирайтесь! Запрягайте! Едем в коммуны! – выпалила Парася, как только ее освободили от тулупа.

Для нее приказ мужа, написавшего книжное слово «немедленно», вместо привычного «немедля», означал, что надо торопиться изо всех сил. Но Медведевы и не подумали торопиться.

– С чего это? – спросил Еремей Николаевич.

– Степа велел. Немедленно! Раскулачивание вас.

Нюраня издала насмешливый звук «пф-ф!» и улыбнулась:

– Здравствуй, Парася! В коммуне уже здоровканье отменили?

– Простите! – повинилась Парася. – Всем здравствуйте будьте! Пожалуйста, быстрее! Поехали!

С ней степенно поздоровались.

– Как беременность переносишь? – спросил доктор. Он был уже не пьян, но еще не трезв. – Отеки есть? Почему за живот держишься? Надо осмотреть.

– Я за вами приехала! Говорю же, Степа весточку прислал, пишет – раскулачивание...

– Чего у нас раскулачивать? – подал голос Аким и шумно зевнул.

– Окромя мышей, – поддержал его Федот, – в хозяйстве другого избытка не имеется.

– Вы не понимание! – с отчаянием воскликнула Парася. – Ведь Степа! Он понапрасну не станет... Где Анфиса Ивановна?

– Известно, – пожал плечами Еремей Николаевич и дернул головой в сторону комнаты, где целыми днями валялась на постели жена.

Парася ворвалась к ней без стука:

– Вставайте! Немедленно! Тут такое, а они не верят! Степа записку прислал. Раскулачивание, вас вышлют на Кулай, надо торопиться!

Про Кулай Парася от себя добавила, но ведь было известно, куда омских кулаков ссылают – в места, про которые рассказывали такие страхи, что верилось с трудом.

– Не ори! – подала голос Анфиса Ивановна. – Научилась хайлать, как я погляжу.

Она не видела невестку с лета, но говорила так, словно расстались завечор, и власть ее, Анфисы Ивановны, над Парасей нисколько не ослабла.

– Здравствуйте вам! – пробормотала Парася, снова почувствовавшая себя запуганным воробьем, над которым кружит коршун.

Анфиса Ивановна села на кровати:

– Чуни подай!

Парасе пришлось отпустить живот, нашарить в темноте на полу короткие валенки, натянуть их на ноги свекрови.

– Пошли! – поднялась Анфиса Ивановна.

«Одетая спала, – подумала Парася. – Раньше никогда такого бы себе не позволила».

Анфиса Ивановна вышла в горницу, села на стул под образами. Выглядела она помято: лицо в отпечатках подушки, криво завязанный плат, из-под которого торчат седые спутанные волосы, несвежая одежда. Но смотрела в точности как раньше – обводила всех по очереди внимательным, колючим, все замечающим взором. Сквозь неопрятную, заспанную старуху на волю как бы пробивалась прежняя Анфиса Ивановна, чистотка и генеральша.

– Говори! – велела она Парасе. – Чего живот держишь? Не убежёт. Ну?

– Дык Степа, – растерялась Парася, покорно опустившая руки по швам, – записку прислал мне. Мол, срочно вас увозить к нам в коммуны, потому как идет кампания раскулачивания парательно-лельно... одна с коллективизацией! А у врагов-кулаков забирают все имущество, высылают семейно в Васюганский край, а там, говорят...

– Это он все тебе написал? – перебила Анфиса Ивановна.

– Нет, он кратко...

– Где записка?

Парася вытащила бумажку из кармана и положила перед свекровью. Та молча протянула руку в сторону. Нюраня подхватила, вытащила из ящика буфета очки и вложила в ладонь матери.

Анфиса Ивановна читала одну строчку долго. Вернее, прочитала быстро, а размышляла продолжительное время. Так же, как и Парасе, ей стало ясно, что сын в большой тревоге и в страхе.

– Еремей, собирайся, бери Нюраню и уезжай! Доктор, Аким и Федот тоже прочь со двора, – велела Анфиса Ивановна.

– В коммуны? – спросила Парася.

– Нет! – отрезала Анфиса Ивановна.

– Вот ышшо! Никуда я не поеду! – воспротивилась Нюраня, для которой внезапное расставание с Максимкой было хуже острого ножа в сердце.

– Меня гонят? – дернул бороденкой Василий Кузьмич. – Но позвольте! Я тут не из милости, то есть не то чтобы...

– Я с тобой останусь, хозяйка, – сказал Аким.

– Ага, с тобой, – кивнул Федот.

Прежде покорное, войско за время фактического отсутствия командования забыло, как надо подчиняться генералу – быстро и беспрекословно. В безвластии это войско собственного ума не приобрело, а слушаться разучилось.

Анфиса встала, заправила под плат выбившиеся волосы, выпрямилась, сколько позволял окаменевший хребет, шеей хрустнула, поворачивая головой, и принялась кричать. Горло ее, от ора отвыкшее, извергало хриплые вопли:

– Губошлепы! Вам, пустоумным, Степиного слова мало?! Вам не ясно, что ежели я встала, то дело сурьезное?!

Она закашлялась, махнула в сторону Параси и Нюрани, те мгновенно поняли, что матери надо принести теплого взвара горло промочить, и бросились в куть.

Отпив взвара, поставив кружку на стол, Анфиса заговорила спокойнее:

– Доктор и работники своим судьбам личные хозяева. Благодарствуйте, Василий Кузьмич, за все ваши добрые дела и не обессудьте за наше невежество. Аким и Федот, вы мне нужны на час-другой, а потом вам вольная воля. – Анфиса Ивановна выдержала паузу, глядя в стол, точно подыскивала нужные слова. Подняла голову и посмотрела мужу прямо в глаза: – Ерема, спаси дочку! Ты ж не хочешь, чтобы вшивела она по тюрьмам, чтобы ее на Кулае в клочья большевики-стражники порвали-ссылничали? Не хочешь в мерзлой земле хоронить свою пташку?

– Да что ты, Анфиса, несешь?! – ужаснулся Еремей.

– Правду. Близкую правду. Другая будущность Нюрани только от тебя ныне зависимая.

– Мам-ма, ма-ма... – начала заикаться испуганная Нюраня.

– Цыть! – заткнула ее Анфиса.

Она лежнем лежала последние два года, сначала придавленная предательством мужа, потом наложив на себя епитимью за ненависть к младенцу, за страшный грех убийства внука. Теперь же почувствовала, что наказание может сбросить, снова задышать полной грудью и силы свои, далеко не исчерпанные, пустить в ход. И одновременно поняла – поздно! Прошло ее время. Ее время – то, которым управлять могла, а теперь она беспомощна против обстоятельств. Если уж Степан забоялся, то ей и паче не осилить. Но покорной кончины от нее не дождутся!

– Чего с собой брать? – спросил Еремей, подчинившийся воле жены.

– Парася поможет собраться.

Нюраня убежала в свою светелку и рыдала все то время, что Еремей Николаевич собирал инструменты в деревянный чемоданчик, а Парася суетливо наваливала в две большие шали, расстеленные на столе, какие попало вещи. Никто никогда в ссылку в спешке не отправлялся, и что брать – не знали.

Доктор слонялся по дому, путался у всех под ногами, периодически заворачивал к буфету и прикладывался к рюмке, пока не свалился на лавку и не захрапел.

Анфиса велела работникам затопить баню, последующие приказы отдавала вполголоса, чтобы муж и невестка не слышали. Аким и Федоту стал понятен страшный замысел хозяйки, но послушаться они не посмели.

* * *

Еремей Николаевич с дочерью уезжали, когда забрезжил мутный

зимний рассвет. Прощание с Анфисой Ивановной не было сердечным: ни объятий, ни поцелуев, ни слез.

– Пусть Бог тебя простит, а я не смогла, – только и сказала Анфиса мужу.

Дочь, опухшая от слез, икающая, смотрела на мать зло. Нюрания сбежала бы к любимому, но Максимка, как назло, ушел в тайгу на охоту.

– Не будь дурой! – пожелала мать набычившейся Нюрание, которая в ответ хотела сказать что-нибудь грубое, но икота послерыдательная не дала вымолвить слово. – В жизни дуру не празднуй, – повторила Анфиса Ивановна, как бы подчеркивая, что не имеет в виду не сейчасшнее поведение дочери, а напутствует.

Когда сани с мужем и дочерью выезжали со двора, Анфиса подняла руку, чтобы перекрестить их, но рука застыла в воздухе – не имеет права такая грешница на крестное знамение.

Она долго и тщательно мылась в бане. Парилась, скребла тело жесткой вехоткой, окатывалась водой и снова шла в парилку, выходила и опять драила себя, точно хотела очиститься от всех напластований до нежной белизны кожи.

Вернувшись в дом, Анфиса нарядилась. Длинная рубаха, новая, ни разу не надеванная, с прошвами на груди и по низу рукавов. Атласного материала бледно-желтая блузка. Суконная юбка, поверх еще одна, самая богатая и любимая – бархатная, цвета темной крови. В последний раз Анфиса надевала ее на свадьбу сына. На подоле юбки обнаружила едва заметные дырочки, не поленилась зашить. Голову повязала кашемировой шалью, уложив ее вроде короны. Блузка и юбка были тесноваты, но надетая поверх кацавейка, расшитая золотой нитью, отороченная соболем, это скрывала.

Анфиса подошла к зеркалу и, осмотрев себя, осталась довольна:

– Чисто боярыня.

Она была готова, и дома все подготовлено: вдоль стен навалена солома, сами стены политы маслом.

Проснувшийся Василий Кузьмич соломы не заметил, а наряженную Анфису Ивановну оценил:

– Экая вы сегодня пава. Праздник, что ли?

– Вроде того.

Доктор не помнил про ночную суматоху, про «раскулачивание». События недавние в его памяти не задерживались.

– Самовар поспел? – спросила Анфиса работников и принялась

накрывать на стол, выставив свой парадный сервиз.

Чай пили под перезвон: руки Акима и Федота дрожали от страха, у Василия Кузьмича – из-за похмелья, чашки бились о блюдца с веселотревожным треньканьем. Только Анфиса была спокойна. Поставив локти на стол, обхватив блюдце пальцами, манерно оттопырив мизинцы, шумно втягивала горячий напиток.

Данилка Сорока имел большой опыт по экспроприациям, реквизициям и раскулачиванию. Умел обставить эти мероприятия театрально, насладиться представлением, в котором играл главную роль карателя жестокого и безжалостного.

Прибыв с тремя бойцами в Погорелово, он вызвал в правление сельских активистов, велел им согнать народ к усадьбе Анфисы Турки. Домой, к матери и отцу, Данилка и не подумал заглянуть. Он давно прервал с ними связь, и родители по этому поводу не печалились.

Люди собрались у ворот Медведевых и некоторое время топтались на морозе – Данилка не спешил. Наконец он появился в сопровождении трех бойцов с винтовками. Выглядел франтом: короткий овчинный полушубок, отороченный смушкой, через грудь ремни португепи, по бокам две кобуры. На голове каракулевая папаха, лихо заломленная на одно ухо. Щегольские галифе отличного офицерского сукна заправлены в белые, стеганные коричневыми кожаными ремешками войлочные сапоги.

– Чего стоим? – не поздоровавшись, спросил Данилка расступавшихся перед ним односельчан. И кивнул бойцам.

Те принялись колотить прикладами в ворота. Залаяли собаки. Никто не спешил открывать.

– Ломайте! – велел Данилка.

Бойцы переглянулись: чем ломать крепкие ворота? Попробовали с разбегу на них навалиться. Ворота даже не дрогнули. В толпе раздался смешок, быстро смолкнувший, когда Данилка обернулся и обвел всех внимательным взглядом. Один из бойцов дернул калитку, она оказалась незапертой. Боец вошел во двор и, сняв с петель большую заворину, распахнул ворота.

– Прошу! – куражась пригласил Данилка.

Вначале никто не двинулся с места, но потом по толпе понеслось: «Анфиса... Там Турка», – и люди стали просачиваться во двор, задние напирали на передних, но вокруг Данилки и бойцов был незримый круг, который не преступали.

На крыльце стояла Анфиса. Прежняя. Высокая, статная, красивая,

нарядно одетая, без шубы не дрожала на морозе. Бабы завистливо поджали губы: а говорили, что она немощная лёжем лежит... Но скоро от этой зависти не осталось и следа.

Рядом с хозяйкой суетился доктор в накинутах на плечи незастегнутом зипуне. Аким и Федот держались поодаль, у амбаров. Еремея Николаевича и Нюрани не видать.

Сорока помнил, как уже стоял вот так перед Анфисой Ивановной, когда пришел нагребленное золотишко реквизиловать, хотел нахрапом взять – не получилось. Теперь отыграется, теперь у него приказ имеется...

Данилка достал постановление о раскулачивании и принялся читать. Его никто не слушал, все смотрели на Анфису, застывшую, как монумент. Кто тут главное действующее лицо, было понятно. Никак не Сорока.

– Позвольте, милостивый государь! – Василий Кузьмич засеменил с крыльца. Какие три батрака? Покорно прошу! Я свободный гражданин...

Он не договорил. Сорока достал из кобуры маузер, небрежно, не целясь, наставил в грудь доктору и выстрелил. Василий Кузьмич беспомощно взмахнул руками и упал. Анфиса бровью не повела. Толпа ахнула: взгвизнули бабы, рыкнули мужики, кто-то выматерился. Доктора в селе любили, он многих вылечил в своей анбулатории, последний год «не практиковал» и превратился отчасти в блаженного – вечно хмельного, болтливого, но доброго и незлобного.

Парася, утром отправившаяся в родной дом, припозднилась, быстро ходить она не могла, переваливалась из стороны в сторону, как жирная утица. Вместе с матерью Парася подходила к дому Медведевых, когда услышала звук выстрела и последовавший затем многоголосый людской крик ужаса.

Расталкивая односельчан, Парася протиснулась через толпу. Анфиса Ивановна стояла на крыльце. Похоже, на праздник собралась, только шубу еще не успела накинуть. А на запорошенных, давно не подметаемых досках двора лежал... Василий Кузьмич... в луже крови, которая сочилась из-под него, впитывалась в снег, расплывалась неровным красным пятном. И никто не спешил доктору на помощь!

Парася дернулась, но мать цепко схватила ее за локоть:

– Стой!

– Да он же!.. Как же!.. – принялась вырваться Парася.

– Стой! Анфиса знает, как надобно.

– Будем еще сопротивление оказывать? – с мерзкой улыбкой спросил Данилка. – Или добровольно проведем мероприятие?

Анфиса посмотрела на него, точно на противного мерзкого гада, которого только что заметила. Скрутила фигу и, резко выпрямив руку, ткнула в сторону Данилки:

– Рыло у тебя коротко! Облизьна в портупее! – Вскинула голову и обратилась к людям, как пророчество огласила: – Помните! Где наглость и похабство, там подлость и рабство!

Данилка вскинул маузер и сделал шаг вперед.

– Горит! – крикнул кто-то. – Дом горит!

Из незапертой двери белый дымок сначала заструился нежными струйками, а потом повалил широким столбом. Перед выходом на улицу Анфиса высыпала угли из печки на солому.

Поклонилась в пояс:

– Прощайте, люди!

Отыскала взглядом Парасю:

– Прости!

Развернулась и шагнула в дым, мгновенно закашлявшись.

Загорелся не только дом, но баня, амбары, подожженные Акимом и Федотом. Последнюю волю хозяйки они выполнили на совесть.

Толпа, поначалу застывшая в немом ужасе, была вынуждена отступить на улицу – дым не давал дышать, жар становился нестерпимым...

Потом, вспоминая, одни люди говорили, что слышали предсмертные дикие вопли Анфисы, а другие им возражали: разве в том ужасе можно было разобрать бабий крик?

Были, сильнейшей тягой сотрясаемые, точно адовы музыкальные инструменты, трубы двух печей, домашней и в летней кути. Скулили в предсмертной муке собаки, надрывались коровы и лошади. Полыхало мощно, как перед концом света. Это и был конец родового гнезда Турок-Медведевых.

Вдруг вылетел петух. Пронесся по воздуху на горящих крыльях и рухнул прямо у ног Данилки, испачкав сажей его щегольские сапоги. Все посчитали это знаком проклятия Сороке.

Кроме Медведевых, у Данилки было постановление на раскулачивание еще одной семьи в Погорелове. Завороженных гибелью красивейшей усадьбы, давящихся слезами, восхищенных мужеством Анфисы Турки и раздавленных собственной беспомощностью людей погнали к другому дому.

Сорванное представление, о котором так долго мечталось, озлобило Данилку до крайности. Он надеялся учинить революционный суд на глазах

Степана и Параськи. Но Степана не было, да это и к лучшему, потому что триумфа не вышло. Полуобморочную Параську мать и помогавшие ей бабы поволокли домой.

Второе раскулачивание Данилка провел стремительно и с некоторыми нарушениями порядка. Торопился залить горечь провала. Ссылно-раскулаченным полагалось брать с собой носильные вещи, утварь – не более того, что помещается на одни сани или в телегу. Данилка этим пренебрег. Нагайкой выгнал из дома хозяина, его жену с молочным младенцем, троих детей. Они успели схватить только верхнюю одежду. Так и двинулись в сопровождении одного из бойцов в сторону сборочного пункта раскулаченных, где будет сформирован обоз на Кулай, от Погорелова сорок верст.

Данилка торопился, чтобы потешиться вторым актом *спектакли*. Он обожал театр – там на сцене все придуриваются. Устраивал свои постановки одной и той же пьесы, не надоедало. Наслаждаться людской подлостью он мог бесконечно.

– Теперь это все ваше! – зычно объявил Данилка, махнув за спину, на дом раскулаченного. – По революционной справедливости, добро кулака-кровососа принадлежит вам! Разбирайте! Оценку завтра произведет председатель сельсовета. Корова – рупь, самовар – копейка! – загоготал Данилка.

Он ожидал, что погореловцы бросятся, расталкивая друг друга, хватать дармовое, тащить скот...

Но они стояли молча.

Раскулаченный мужик не был богатеем. Под кампанию попал, потому что приютил попoven – трех девок, которые оказались на улице, когда арестовали отца Серафима с женой. Попoven зачислили в батрачки, что и послужило основанием для раскулачивания. Теперь несчастные девки стояли в стороне, сцепившись руками, раскачиваясь от страха.

Вдалеке пылал дом Анфисы Турки.

Сначала ушел один человек, потом другой, третий, группами стали покидать место *спектакли*, никто не проронил ни слова, ушли все зрители, включая активистов. Остались только мать и отец Данилки.

Мать плакала безмолвно, не утирая слез. Ручейки на щеках, прихваченные морозом, напоминали раны, точно мать кто-то полосовал ножом по лицу.

Отец на трясущихся ногах подошел к Данилке:

– Гнилое семя! Проклинаю тебя! До последнего часа буду Господа молить, чтобы послал тебе смерть лютую и страдания нестерпимые. За всё

горе, что ты...

– Да ладно! – перебил Данилка. – Раскудахтался. Придержи язык, а то я могу...

– Стреляй! – Отец вдруг рванул доху, обнажив грудь в редких седых волосках. – Убей отца! Освободи!

– Егор, пойдем! – Подошедшая мать запахла на отце доху. – Пойдем домой, родной! – Она повернулась к поповнам: – Идите с нами, любезные.

– Куда-а? – взвился Данилка. – У меня еще две деревни на раскулачивание, барышни с нами. Для приятного сопровождения!

Мать оглянулась:

– Знала бы... удавила бы в колыбели... единственного сыночка. Бес! – Взяла за руку ближайшую из поповен. – Идемте, не бойтесь.

Девушки потянулись за матерью Данилки, как испуганные, сцепленные руками слепцы, чей внутренний темный мир подвергается постоянной внешней опасности, и передвигаться они могут только за поводырем.

Проклятия родителей Данилку не напугали и никаких струн сыновней почтительности и привязанности не затронули. В душе у него попросту не было подобных струн. Но злость его от сорванных *спектаклей* растворилась. И на смену ей пришло любимое состояние – азарт в предвкушении насилия.

– Чего стоим? – спросил Данилка своих бойцов.

– А чего надо? – рявкнули они хором.

Свою гвардию Данилка лично отбирал. Чтобы были тупыми, бесчувственными, сластолюбивыми – животными, хищниками, людоедами. Мир – это царство зверей, и он, Данилка, пусть не царь, но царек – точно.

– Едем устанавливать революционную справедливость. По коням, гвардия! Эх, погуляем!

* * *

Степан приехал в Погорелово через два дня, когда пожарище уже не курилось отдельными тонкими струями дыма. Он стоял на улице и смотрел на пепелище, которое было его родным домом, а теперь походило на блевотину великана, чье нутро не справилось с перевариванием заглотанного, ядовитыми соками зачернило и извергло из себя наружу. Выплюнуло два зуба – остовы печей.

Во внутреннем кармане у Степана лежало постановление о переводе

семьи Еремея Николаевича Медведева из раскулаченных по первой категории в третью. Бумажка, коей он добился, угрожая партбилет положить на стол, канцелярские слова «постановление», «категория» – все было бессмысленно, не имело никакого отношения к трудам его матери, отца и дедов, ко всем Туркам-Медведевым.

Беспомощность, единственный страх Степана, который он, казалось, одолел, получив постановление, сейчас предстала во всей красе – в прахе его родного дома.

Парася чувствовала себя дурно, но когда Степан вошел в дом тещи, сползла с лавки, засеменила к мужу, обняла его. Хотела привычно, теплотой своей забрать его печали и тревоги. Но Степан был холоден как зимняя скала, не отогреешь.

За обедом молчали, потому что вид серого от горя Степана к беседе не располагал. Обычно Степан ел с аппетитом, и смотреть на него во время трапезы было приятно: сильный, здоровый мужик набирается сил. Теперь же он только поковырялся в миске с кашей, к пирогам не притронулся, самогона пить не стал.

– Рассказывайте, – сказал Степан.

Заговорила Наталья Егоровна. В ее изложении события напоминали сказку. Анфиса предстала суровой боярыней; Данилка – дьяволом, нечистой силой; смелый доктор, получивший смерть прилюдную, – верным защитником боярыни.

– Взошла Анфиса на костер, не покоровшись дьяволу. Поклонилась народу, попросила прощения и шагнула в пламя страшное, – закончила теща.

– Отец и Нюраня? – спросил Степан.

– Мать их ночью снарядила и услала, – ответила Парася.

– Куда?

– Неведомо.

– Аким и Федот?

– Пропали.

– Не сгорели, – уточнила Наталья Егоровна, – просто сгинули, косточек их, черепов не нашли. А матери твоей косточки и доктора я собрала. В два сундучка. Мужики второй день на кладбище костер жгут, землю отогревают. Наверное, уже можно копать. Надо похоронить, Степа.

– Похороним.

– Крестов нет.

– Вырежу.

Поднялся и ушел в сарай.

Парася опасалась, что за внешней холодной броней мужа клокочет бессильная ярость. Сейчас он возьмет топор и примется крушить все вокруг, а то и пальцы себе отрубит. Но Степан работал спокойно, тщательно выстругивал кресты.

На погребение никого не приглашали, но народу пришло много. Это были бы молчаливые похороны, священника-то не имелось, но поповны неожиданно стали читать по очереди молитвы – «За ослабление мук умерших без покаяния», «За всех в вере скончавшихся христиан». Когда опустили ящики в ямы, поповны на три голоса затянули «Молитву Ангелу-хранителю»:

– Святый Ангеле хранителю, данный усопшей рабе Божией Анфисе и рабу Божию Василию! Не преставай охраняти душу его и ея от злых страшных оных бесов; буди пестуном и утешителем и тамо, в оном невидимом мире духов; приими под криле своя и преведи невозбранно чрез врата воздушных истязателей; предстани ходатаем и молитвенником у Бога, – моли Его Преплагаго, да не низведена будет в место мрака, но да вчинит ю, идеже пребывает Свет невечерний. Аминь.

Все, кроме Степана, перекрестились. На крышки сундуков с обгорелыми костями посыпались комья мерзлой земли...

В коммуне уже знали, что произошло с семьей Степана, – возница рассказал. Андрей Константинович и Ирина Владимировна Фроловы сдержанно выразили соболезнования и пригласили на ужин. Степан и Парася впервые трапезничали в их комнате, а Васятка чувствовал себя здесь как дома. Салфетки крахмальные, батарея рюмок, стопка тарелок, вилки, вилочки и ножи, ножички серебряные (Ирина Владимировна принимала их как ровню, дворян) не произвели впечатления на Медведевых, они слишком устали. Андрей Константинович не забывал подливать в рюмки и рассказывал о делах коммуны.

– Данилку Сороку я убью! – вдруг заявил Степан.

Оборванный на полуслове Андрей Константинович не удивился и ответил так, словно до этого говорил не о заготовке леса, а о бесчинстве, случившемся в Погорелове:

– Убить, конечно, можно. И, в общем-то, несложно. Но человек – это только функция. Источник, его питающий и им командующий, уничтожить значительно труднее. Для этого нужна революция. На место сороки прилетит коршун, и еще неизвестно, какой хищник опаснее. Вы же, Степан, погубите себя, свою семью и коммуну.

– Верно, – согласился Степан. – Она мечтала, чтобы я стал хозяином... Он запнулся, в горле клокотали непролитые слезы. Всем было понятно, что говорит Степан о матери.

Молчание нарушила Ирина Владимировна:

– Вы и стали хозяином. Умным, хватким, пользующимся большим авторитетом. Ваша мать имела все основания гордиться вами.

– Не-е-е... – вдруг застонала Парася и рухнула лицом на стол. – Не-е-е-ту мочи... Рожая я...

Она давно терпела, схватки начались по дороге в Масловку. Парася кусала губы, молчала. Степа ведь все равно ничего не смог бы сделать, только лишняя тревога на его израненное сердце. Приехали, а тут Фроловы с приглашением небывалым, Степушку оно бы развеяло. «Перетерплю, погожу», – решила Парася. Но погодить с родами еще никому не удавалось.

Парасю перенесли на кровать, и через три часа она родила мальчика. Назвали Егором.

Беглецы

Еремей Николаевич с дочерью въехали в Омск, и настроение Нюрани заметно улучшилось. Она и по дороге уже, наикавшись, успокоилась: подумаешь, увезли ее! При первой же возможности рванет обратно, к Максимке. А в городе очень даже завлекательно.

Нюраня крутила головой, дивясь на каменные здания, на странно одетых людей, шагающих по сторонам улицы и стоящих с ведрами и флягами в очередь к водной колонке. Мелькнул какой-то памятник – каменный мужик, как бы на полпути замерший, прогромыхал автомобиль, выпускающий синий дым и оглашающий округу басовитым свистком. В первый раз услышав этот свисток, Нюраня с перепугу схватилась за отца и чуть не стащила его с облучка.

Остановились у Петра и Марфы. Плана действий у Еремея Николаевича не было. Поживем – увидим и услышим. Поживем пока у Петра, увидим Степана, услышим, что он скажет. В том, что Степан не оставит родительское гнездо на растерзание, ни у кого сомнений не было. На худой случай, Еремей Николаевич с его мастерством всегда сможет найти работу, да и дочка пристроится – вон их сколько, вчерашних девок деревенских, сегодня горожанками заделались. Нюраня, в свою очередь, мечтала посетить театр и особенно кинематограф. В институт медицинский заглянуть, узнать, как на подготовительные курсы поступить, но это лучше со Степаном, одной боязно.

Всех волновало не будущее, а куда деть коня и сани. Определить коня на постой и прокорм или продать? Как Степан скажет.

Степана они не дождались. Степан просто не сообразил, что отец и сестра бросятся в Омск – в логово борьбы с контрреволюцией. Он почему-то перенес на Еремея Николаевича свои знания, ведь тот был далеко не глупым человеком, а неглупый человек в данных обстоятельствах должен сделать все, чтобы затеряться на просторах Сибири или даже в Расее. Степан не учел, что отец давно жил в деревне, а город, из которого он уехал, изменился кардинально. Более того, когда отец и Нюраня приехали в Омск, Степан там и находился. Если бы он не в гостинице ночевал, а у брата, жизненный расклад потомков Анфисы Турки выстроился бы совсем по-иному.

Сознание катастрофы и невозвратности прошлой жизни обрушилось на Нюраню, только когда арестовали отца.

Она помогала Марфе в квартире Камышиных. Не столько помогала, сколько любопытствовала: мебель, кухонная утварь, одежда барыни в шкафу, баночки, флакончики на столике с зеркалом – все было интересным, диковинным, имело чудные названия. Столик с зеркалом в спальне – «туалетный», перекладники, на которых наряды в шкапе висят, – «тремпели». За пару часов Нюраня узнала столько новых слов, сколько за два года не привелось. Особое любопытство, конечно, вызывала барыня, Елена Григорьевна. Нюраня за ней в щелку приоткрывшейся двери подсматривала. Маленькая, хрупкая – кукольная женщина, какая-то ломкая, точно из бумаги скрученная. Курит! Лежит на диване, книжку читает, в пальчиках длиннющая папироса. Чисто Анна Каренина!

Потом привели дочку Елены Григорьевны Настеньку. Лохматый мужик привел.

Марфа пояснила: «Художник. Настенька у него уроки живописи берет. Хороший человек, сам приводит, я не успеваю».

За учителем живописи явился учитель музыки, тоже болезного вида. Настенька под его присмотром по инструменту «пианино», по белым и черным досточкам («Клавиши», – пояснила Марфа) наяривала. Заунывно, даже Елену Григорьевну проняло, и та перешла в спальню, на ходу бросив Марфе:

– Гаммы – неизбежный этап обучения, но невероятно досадливый. Принесите мне кофе.

– Гаммы – это кто? – спросила Нюраня Марфу.

– Не знаю. Думаешь, я уж все осилила?

– А «кофе»?

– Вроде чая, но из порошка. Александр Павлович говорит, что настоящего кофе тут в помине нет, а порошок этот из желудей горелых делается.

– Они тут такие все? – покрутила пальцами в воздухе засомневавшаяся Нюраня. – Как свиньи на бескормнице желуди толченые трескают?

– В городе многое по-иному. Все женщины из благородных и тех, кто к ним примазывается, панталоны носят.

– Иди ты!

– А вот и честно! Хошь, барынины и дочкины покажу?

Еремей Николаевич в это время в подземельном жилище Петра, отправившегося на работу в кочегарку, тешился с Митяем, учил его ножичек правильно держать, вместе лодочку вырезали. Митяй был счастлив, он очень любил дедушку.

От грубого пинка распахнулась дверь, и ввалились люди с оружием. Митяй в испуге запрыгнул Еремею Николаевичу на грудь.

– А вот он! – сказал дядя, по повадкам – главный. – Кулак сбежавший! Арестовываем. Где дочь? Где Нюраня?

– Ты, Сорока, не голоси! – Еремей успокаивающе погладил Митяя. – Не пугай ребятенка. Нету Нюрани, отбыла в неизвестном направлении.

Митяй удивился: дедушка сказал неправду. Нюраня вместе с Митяйкиной мамой двумя этажами выше в Настенькиной квартире трудилась. Его, Митяя, за неправду, за лукавство и хитрость любую мама хворостиной лупила.

Мальчик дернулся, головку вывернул, на дедушку посмотрел: зачем ты обманываешь? Дедушка сдавил его руку до боли. Митяй заверещал и вырвался.

Его тут же подхватил Сорока.

Данилка бывал у Елены Григорьевны и прекрасно знал, кто Камышиным прислуживает. В отличие от Степана он верно вычислил, где искать недобитых (не сожженных) кулаков.

– Говори! – рявкнул дядя и выкрутил Митяю ухо. – Где Нюраня?

– Сыночка! – дернулся дедушка, но его схватили бойцы с винтовками.

Митяй опять удивился: он был дедушке не сыночкой, а внучком. Хотя Еремей Николаевич ни так, ни этак его никогда не называл, только по имени.

Происходило что-то необыкновенное и неправильное. При опасности есть только одно место спасения – мама.

Митяй лягнул Сороку в пах, тот ослабил хватку. Мальчик в довершение еще и куснул плохого дядю за руку.

Данилка завыл от боли. Митяй бросился к выходу, помчался вверх по ступенькам.

Он влетел в квартиру Камышиных с ревом и воплями.

– Сыночка! – подхватила его на руки Марфа. – Что стряслось?

– Там они! С винтовками! Деду арестовывают! Мама, спаси деду! Там мужик как птица... сорока! Они Нюраню хотят, а деда соврал, что Нюрани нет, а она тут...

– Тихо, тихо, тихо, – успокаивала Марфа сына. – Все кончилось, все

хорошо. Нет Нюрани, дедушка прав, уехала.

– А это кто? – показал Митяй на свою тетку, стоящую рядом.

– Это образ. Скажи: «Сгинь, образ!» – и образ сгинет. – Последнее слово Марфа произнесла с нажимом, еще и уточнила: – Спрячется в кладовке, где дрова и уголь.

Потом, вспоминая эту сцену, Марфа удивлялась тому, что мгновенно сообразила, как надо поступить. Наверное, жизнь в городе все-таки научила ее действовать быстро, не раздумывая. Еще два года назад при малейшем затруднении она стояла бы и глазами хлопала. Точно как Нюраня, которой пришлось повторить: «Ховайся!»

Только Нюранина юбка мелькнула, а Марфа успела отослать сына к Настеньке, как дверь распахнулась. Сорока.

– Ты чего это мне мальчика пугаешь? – напустилась на него Марфа. Бывший односельчанин, Данилка не вызывал у нее ни страха, ни почтения. – Куда прешь с грязными ножищами?

– Замолкни, контра! По тебе за укрывательство раскулаченных тюрьма плачет.

– Испугал ежа голой задницей!

– Что тут за шум? – вышла в коридор Елена Григорьевна. – О, Данила Егорович!

– Приветствую, Елена Григорьевна. Извините за беспокойство – служба. Ваша прислуга прячет раскулаченных Медведевых...

– Барыня! – всплеснула руками Марфа. – Свекор из деревни прибыл погостевать. Нешто у него на лбу написано, что раскулаченный?

– Тише, не ори, Марфа, – поморщилась Елена Григорьевна.

– Свекра ейного, – продолжал Данилка, – мы взяли, но была еще кулацкая дочка. Где Нюраня?

– А я знаю? – вопросом на вопрос ответила Марфа.

– Нюр... кто? – переспросила Елена Григорьевна.

Несколько часов назад Марфа представила ей Нюраню, сказала, что золовка поможет по хозяйству. Елена Григорьевна кивнула, разрешая, и добавила: «Какие вы огромные. Чем вас только кормят?» Теперь же она на голубом глазу изображала неведение.

– Анна Медведева, – пояснил Сорока.

– Здесь, увы, такой нет, – пожала плечами барыня. – Или вы хотите в моей квартире обыск произвести? – спросила она кокетливо и выпустила струю дыма.

Сорока замялся. Елена Григорьевна рассмеялась.

– Извиняйте! Всего доброго! – попрощался Сорока.

– Не забывайте навещать меня, Данила Егорович. Вы настоящее украшение нашей скромной компании.

Закрыв за Данилкой дверь, Марфа повернулась к барыне, ожидая услышать справедливые упреки, угрозы и предупреждения. Но Елена Григорьевна, только что спасшая девушку, казалось, тут же выкинула из головы свой добрый поступок.

– Кофе остыл, – сказала она Марфе, – я забыла его выпить. Сварите мне новый, пожалуйста.

Испуганная Нюраня до ночи просидела в кладовке. Когда Марфа, сбегав домой и обнаружив, что свекор прихватил только свой чемоданчик с инструментами, коротко сообщила Нюране: «Забрали Еремея Николаевича», – девушка не расплакалась, только еще пуще затряслась. Однако через пару часов из кладовки послышались горестные стоны.

«Дошло до нее», – подумала Марфа.

Но причина страданий Нюрани была в другом.

– До ветру хочу, – кусала пальцы Нюраня, – во двор мне надо!

– Пойдем, в клозет-сортир провожу.

Уставившись на унитаз, Нюраня растерялась:

– Дык... как тут? Я не смогу!

– Смогёшь. Срать да ссать по-городскому не велика наука. Задирай юбку и садись.

– Марфа, я боюсь! – заглянула в фаянсовый бочонок странной формы Нюраня.

– Ага, оттель сейчас змей высунется и схватит тебя.

– Ой-й-й!

Нюраня попыталась спастись бегством, но Марфа ее удержала и силком водрузила на унитаз:

– Как закончишь, газетами подотришь, видишь, тут заготовлено. Потом за эту чушку, что на цепочке висит, потяни – водой смоеется.

Нюраня подозрительно долго задержалась в туалете. Марфа пошла ее проверить. Благополучно справившись с нуждой, Нюраня играла с выключателем. Поворачивала маленький рубильник – под потолком вспыхивала лампочка. В обратную сторону поворачивала – лампочка гасла, становилось угольно темно.

– Марфа! – задрал голову и не отрывая взгляда от лампочки, проговорила Нюраня. – Чудо какое!

– Обыкновенное электричество.

Сама Марфа еще не так давно боялась подойти к выключателю и

просила, когда темнело, Мотрю: «Тыр-кни в него».

Александр Павлович пришел домой поздно. Марфа приняла у него пальто, сапоги, поставила перед ним домашние туфли – обычный ритуал.

– Крепкого чаю, – попросил Александр Павлович, – и рюмку твоей настойки.

Марфа все это принесла на маленьком серебряном подносе – как барыня учила. Александр Павлович опрокинул рюмку, взял стакан с чаем в подстаканнике.

Марфа стояла перед ним в гостиной, не уходила.

– Спасибо, можешь быть свободна.

– У меня к вам разговор просьбенный по личному делу-вопросу.

Она несколько часов подбирала слова, чтобы они звучали по-городскому красиво.

– Да? – поднял брови Александр Павлович и откинулся на спинку дивана. Марфа никогда и ни о чем лично для себя не просила. – Говори!

Она рассказала все честно: про раскулачивание, что свекра арестовали в ее квартире, а Нюраню спасла барыня. И теперь надо Нюраню куда-то услатить, спрятать. Муж Петр, родной брат Нюрани, да и сама Марфа в «политике обстановки» не сильны, поэтому и обращаются к Александру Павловичу.

– Это опасно, – нахмурился он.

– Нюраню пока я в кладовке держу, а потом в дровяном сарае могу схоронить. Сейчас приведу ее.

Александру Павловичу стало стыдно – Марфа решила, что он видит угрозу только для девушки, хотя подразумевалось: опасно помогать врагам власти. Он уже сталкивался здесь с подобными женщинами: они органически не способны воспринять, что мужик может трусить, избегать опасности, даже не ввязавшись в драку. Возможно, благодаря подобным женщинам и вывелась сибирская порода мужиков, которых через колено не переломишь, они тебе самому шею одним мизинцем сломают.

Нюраня и Марфа, обе в платочках, стояли перед сидящим на диване Александром Павловичем. Нюраня, как подобает скромной девушке, тупила взор, а потом все-таки не выдержала – скосила глаза на хрустальную люстру, играющую огнями.

«Господи! – мысленно восхитился Александр Павлович. – Какие женщины!»

Обе высокие, пропорционально сложенные, большие. Всё большое: головы, повязанные платками, руки, кисти, длинные шеи, плавно

переходящие в крепкие плечи... Под юбками у них ноги... Какие, должно быть, ноги... Стройные, красивые, мускулистые, сильные... Вырастают из бедер, умопомрачительной контрабасной округлости... А груди! Лучше не смотреть, голова кругом идет, и не только голова. Заставить себя не таращиться на груди сибирячек требовало усилия. Александр Павлович даже закрыл глаза, как бы от усталости и в размышлении, но чертовы сиськи маячили... У Марфы они крупнее и отвислее... у девушки – козьими рогами, в стороны... Только какие же это рога? Это мед, собранный в прекрасные сосуды... «Остановись!» – приказал себе Александр Павлович и тут же стал рассуждать о том, что Марфа – зрелая налитая женщина, а девушка еще стройна... Так можно и оскандалиться! «Заткнись, похабник!» – приказал он себе еще раз. Открыл глаза, положил ногу на ногу, взял со стола газету, развернул и как бы машинально опустил ее на живот.

– Как, говоришь, тебя зовут?

– Нюраня, – ответила Марфа.

– Анна Медведева, – поправила девушка.

– Документов, конечно, нет?

– Ой, нет! – Марфа захлопнула рот ладошкой.

– Есть! – выступила Нюраня. Она достала из кармана вчетверо сложенный листок, расправила, положила перед Александром Павловичем, пригладила ладошкой. – Вот!

Добрый ангел надоумил Нюраню при бегстве из дома прихватить шутейную справку, когда-то выписанную доктором.

– Откровенная липа, – прочитав, сказал Александр Павлович. – Две печати, явно самодельные...

– Тятя вырезал, – похвасталась Нюраня.

Барин на диване ее нисколько не пугал. Он смотрел так... Словом, мужики возрастные так смотрят, когда девки хороводы водят. И еще девки говорили, что эти мужики бывают добрыми до идиотства. За сиську поторкает и может плат подарить. Сама Нюраня никогда этим не пользовалась. Сто тысячев платков и шалей не променяла бы на ласки Максимки.

– Амбулатория, – задумчиво крутил в руках «справку» Александр Павлович. – И ты там была...

– Милосердной сестрой.

– В прошлом остались милосердные, теперь говорят «медицинская сестра». Запомнила?

– Как скажете.

– Справка твоя – чушь собачья. С другой стороны, мы наблюдаем просто сакральный трепет перед каждой бумажкой с печатью. Какое у тебя образование?

– Четыре класса.

– А специальное?

– Чего?

– Медицинская сестра должна иметь специальную подготовку, – терпеливо пояснил Камышин.

– Анатомический атлас. Кожные болезни. Справочник акушерки.

– Чего? – теперь Александр Павлович вытаращил глаза.

– Книжки, по которым меня доктор учил.

– И ты всё в этих книжках поняла?

– Не всё, – честно призналась Нюраня. – Но главное вызубрила! Василий Кузьмич меня экзаменовал, мы хотели на экстерн или на подготовительные курсы, но мать не вставала.

– В каком смысле «не вставала»?

– Свекруха моя, – пояснила Марфа, – Нюранина мать, слегла от драм жизни.

– С вами не соскучишься! – Александр Павлович убрал газету и поднялся с дивана. – Я постараюсь, но ничего не... – Слово «обещаю» застряло в горле. Эти великанши просто не понимали подобных отговорок. Сталкиваясь с трудностью, они стояли насмерть, но если появлялся мужик, принимавший руководство, уходили в сторону, веря в мужика абсолютно и нерассуждающе. – Один товарищ уезжает в Россию... Странно, я тоже стал отделять Сибирь от... Не важно. Я попробую сделать так, чтобы Ню... Анна... как по батюшке?

– Анна Еремеевна.

– Чтобы он сопровождал Анну Еремеевну Медведеву. Медсестру, ёшкин кот... Спокойной ночи, барышни!

– Куда Нюраню определять? – уточнила Марфа, ничтоже сумняшеся свалив на Камышина ответственность за липовую медсестру, раскулаченную деревенщину.

Александр Павлович даже рассмеялся этой наивной беспардонности Марфы. И в то же время сам факт ее обращения льстил его самолюбию.

– В дровяном сарае ваша родственница, – он снова перешел на «вы», – околеет на морозе. Постелите ей где-нибудь, – повел рукой по сторонам. – Будем надеяться, что с обыском ко мне этой ночью не посмеют прийти. И что Анна Еремеевна не слишком громко храпит.

– Вовсе тихо сплю! – заверила Нюраня.

– Тогда, может быть, здесь, – ткнул пальцем Камышин, – под столом свернетесь? Скатерть длинная, до пола, незаметно будет, если не станете конечности вытягивать.

Он насладился их замешательствам – пиррова победа мелкого тщеславия, как слабая плата за приступ острой похоти.

Александр Павлович обладал развитым, то есть не каждому сразу понятным чувством юмора. Сибиряки же, по его наблюдениям, особенно бабы, лишены были способности воспринимать инакословие, подтекст, игру смыслов. Эволюция в суровых климатических условиях, вероятно, отбросила это качество как необязательное.

– Марфа, а зачем под столом-то? – спросила Нюраня, когда барин ушел.

– Шутил он, наверное.

– И чего смешного?

– Не знаю. Они, случается, с постными лицами: бу-бу-бу, тра-та-та... а потом хохочут. Шутили, оказываются. Или еще говорят так вежливо и гладенько, а потом Елена Григорьевна заявляет: «Наша сегодняшняя ссора с мужем была отвратительна».

– Как в городе все мудрено!

– Привыкнешь. Пойдем, я тебе на кухне у плиты тюфячок брошу. Чутко спи! Если шум какой-то, сразу беги в чулан и дровами заваливайся. А если тихо ночь пройдет, до рассвета плиту растопи. Наказание мое эта плита! Каждый месяц надо трубу пробивать, а трубочист, зараза, по пятерке за прочистку просит. Хочу Петра приспособить, но это, наверное, по весне. Свалится с крыши, он же увалень, хоть самой вместе с ним лезть для подсахоромки... подстраховки... – Марфа говорила и стелила Нюране постель.

– Сколько у тебя забот!

– Много. И все такие мелочные! Досадливые!

– Марфа!

– Что?

– Ты очень хорошая! Почти как... как Парася.

– Нет, я грешница, а она у нас... Лучше Параси не бывает. Ложись, почивай, голубушка...

В пути

Товарища, с которым Камышин хотел отослать Нюраню, звали непросто – Патермуфий. Он не представлялся полным именем, а просил обращаться к нему «товарищ Прохоров». За глаза его насмешливо величали «товарищ Проша». Он второй месяц околачивался на заводе, питался впроголодь, сапоги не на что было починить. Товарища Прошу командировали из Центральной России на омский завод для получения борон и плугов.

Но завод распоряжения о выделении техники не получил. Бумаг по стране летало множество: распоряжения, постановления, указания... Торопиться их выполнять не следовало, потому что на многие постановления приходили постановления об отмене постановления.

В бумажной кутерьме, которую направляли по долам и весям люди подчас малограмотные, нередко случались ошибки. Гнать человека через всю страну за техникой, которая производится в соседней области, было глупо. Так же как и отдавать сельхозорудия (без постановления), которых не хватает местным сибирским хозяйствам. Поэтому товарищ Проша обивал пороги заводского начальства, ждал разнарядку из центра, слал в него запросы и слезные письма.

Не исключено, что на каком-нибудь калужском заводе пылилась бумага, предписывающая выделить Прохорову плуги и бороны. Омск и Калуга – слова «похожие», перепутать легко. Выяснить, кто, когда и на каком этапе перелетных бумаг совершил ошибку, было делом совершенно безнадежным. Но и «отказ о выделении в связи с отсутствием постановления» Проше подписывать не желали. Он уедет, а завтра придет распоряжение, отвечай потом.

Камышин решил убить двух зайцев: избавиться от товарища Проши, который облюбовал его приемную, целыми днями сидел в ней со скорбным видом голодающей собаки, и отправить с товарищем Прошей Нюраню, пребывание которой в квартире могло обернуться разбирательством с ОГПУ.

Александр Павлович честно предупредил командированного, что выделяемая ему сельхозтехника бракованная и по-хорошему надо ее в переплавку отправлять. Товарищу Проше было плевать на качество орудий, ему страстно хотелось домой к жене и деткам. Он не был инженером, не смыслил в крестьянском труде – типичный снабженец, которому все одно,

что доставать – плуги или калсоны. Его дело – найти, получить, доставить, выгрузить; главное, чтобы по бумагам все было в порядке. Сибирскую столицу, где с документами получилась накладка, товарищ Проша уже ненавидел. Предложение главного инженера «помогу в решении вашей проблемы, но и вы не откажите в личной просьбе» вызвало у товарища Проши искреннее ликование. Тем более что с железнодорожниками о предоставлении товарного вагона он уже договорился.

Александр Павлович состряпал Нюране справку: бюрократического абсурда чуть больше, чуть меньше – Россия всегда славилась своими поручиками Киже. На заводском бланке он написал, что сотрудница медчасти (таковой на заводе не имелось) Анна Еремеевна Медведева направляется для дальнейшего повышения квалификации. Намеренно сделал несколько орфографических ошибок, неразборчиво расписался, шлепнул печать и слегка ее сдвинул, чтобы слова угадывались с трудом. Теперь у Нюрани имелись два липовых документа. На малообразованный люд бумажки с печатями оказывали магическое действие. Людей разумно-критических было ничтожно мало.

Первым, кого Нюранины «документы» удовлетворили, был товарищ Проша. Девка, навязанная Камышиным, ясен пень, была любовницей, отсылаемой восвояси. Но с бумагами у нее, как и заверил товарищ главный инженер, полный порядок. Медицинская сестра отправляется на повышение квалификации. Как же! Знаем мы эту «квалификацию»!

В товарный вагон, на две трети заваленный сельхоз– орудиями, Прохоров натаскал сена и даже раздобыл печурку, трубу которой вывел в вагонное оконце. Баба по имени Марфа, провожавшая пассажирку, притащила два баула – с одеялами, попонами, каким-то тряпьем и, что очень существенно, со снедью. Товарищ Проша решил, что Марфа – это сменщица медсестры на должности любовницы Камышина. То, что две бабы прощались на перроне тепло и слезно, его нисколько не смутило. На сибирских женщин, как он уяснил за время своего томления в Омске, нормальные правила поведения не распространяются.

Товарищ Проша был очень голоден. Не столько плотски, сколько натурально – жрать хотел. Только отъехали, попытался медсестру соблазнить. Получил в глаз – знатно. Фингал и через две недели отливал желто-зеленым, а поначалу глаз заплыл фиолетовым пузырем. У этой девки сила, как у быка!

А потом они подружились.

Дядя Проша был по возрасту как брат Степан. Не злой, хотя очень суматошный. Нюраня свои продукты в одиночку не трескла, с ним делилась. Дядя Проша на остановках за кипятком бегал и на рыночки пристанционные, продавал Нюранину одежду и покупал хлеб, сторожил, когда долго стояли и Нюраня выходила ноги размять, выносил поганое ведро, в которое справляли нужду. Дядя Проша был очень разговорчив, хвастливо болтлив. У другого человека, возможно, его беспрестанное словесное извержение вызвало бы помрачение разума. Но Нюране требовалось как можно больше узнать про те места, в которые лежит ее путь, про людей расейских, их обычаи, правила и привычки. Поэтому дядя Проша нашел в ее лице внимательного слушателя и не раздражался в ответ на нелепые вопросы и уточнения.

Нюраня очень тосковала и одновременно испытывала азарт перед неизвестным. Она была абсолютно убеждена, что разлука с Максимкой – временная, и мысленно разговаривала с ним перед сном, делясь открытиями «про расейских». Без убеждения во временности «приключений» она не смогла бы осилить горестей, внезапно на нее обрушившихся.

* * *

Товарищ Проша относился к тем славным парням, что в дороге, в командировке будут с вами вась-вась, а отъехав на десять метров, забудут, как вас зовут. Работа снабженца сталкивала его с десятками и сотнями людей, всех он забалтывал, большинство сторонились пустобреха, что нисколько его самого не смущало.

Он выгрузил Нюраню на перроне вокзала в Курске, ткнул куда-то в направлении города и бросился пристраивать свой вагон.

Когда-то Турки, предки Нюрани, из сгоревшей тамбовской деревни два года добирались до Сибири – в страхе перед ее суровостью, уповая только на милость Божию. И закрепились на новых щедрых землях, пустили корни, разбогатели, потому что сами трудились истово и потомство свое учили по труду оказывать уважение. Нюране потребовалось не два года, а две недели, чтобы оказаться в центре России. Не в Тамбовской губернии, в Курской.

Она была одета слишком концертно и выделялась из массы снующих баб, спрашивала, где тут медицинская канцелярия, с непривычным выговором. Над ней смеялись. Сами-то куряне «хекали», точно хохлы-

переселенцы, поди разберись, что «хородская лечебня» означает «городская больница».

Добиралась Нюраня до «лечебни» на извозчике. Сколько будет стоить проезд, она не знала. Но уж всяко не дешево в Расее катают! Дядька-возчик отщипнул бумажек из платочка, который развернула Нюраня (Марфа ей последние деньги отдала), заметно повеселел, и они покатили.

Курск отличался от Омска – каменных домов больше. И еще сооружения непонятные – громадная каменная буква «П», лепкой разукрашенная.

– Московские ворота, – пояснил извозчик. – В честь победы над Наполеоном.

Ворота такой величины в честь какой-то победы? И без заплота? Чудно.

– А там что? – спросила Нюраня, указывая на большое здание впереди слева.

– Тюрьма. Знаешь, как про Курск говорят? Две горы, две тюрьмы, посредине баня.

«Куда меня занесло?» – подумала Нюраня.

Она рассматривала людей на улице, одетых значительно беднее сибиряков. Но особенно странно было видеть кучки грязных детей, совсем оборвышей.

– Беспризорники, – пояснил извозчик.

– Это как?

– Сироты. Хулиганье, шавки, держись от них подальше – налетят, обчистят, глазом не успеешь моргнуть.

«Ой, мамочки!» – продолжала мысленно пугаться Нюраня.

Старший врач больницы был похож... точнее, Василий Кузьмич был на него похож, наверное, в молодости. Не старый, но уже с залысинами, добрый усталый человек.

– Это что за бред? – спросил он, прочитав Нюранины «документы». – Где ваши свидетельства об образовании? Что вы окончили?

Она разревелась. Сил не было больше терпеть. Унесенная от дома, от матери и отца, дяди Акима и дяди Федота, крестной и подруг, от Марфы и Параси, от братьев и, главное, от Максимки ненаглядного, Нюраня исчерпала свою страсть к приключениям. Две недели в грязном вагоне, поездка по страшному городу, с его автомобилями, каменными домами, воротами-великанами, острогами, беспризорными сиротами... Тятю арестовали, а она, Нюраня, – беглая. Значит, в каземат посадят, тут у них

тюрем на каждой горе...

Плакала Нюраня, как и смеялась, всегда от души, голосисто.

– Что вы?.. – всполошился доктор. – Мои вопросы законны... Прекратите! Я не выношу женских истерик!

Он ударил кулаком по столу, в ответ Нюраня прибавила громкости.

На шум в кабинет заглянула пожилая медсестра.

У каждого хорошего врача обязательно есть преданная медсестра, охраняющая тыл, обеспечивающая возможность спокойно работать, не отвлекаясь на десятки мелких проблем. Как правило, она занимает должность старшей медсестры, и адъютанты многих военачальников в подметки ей не годятся.

– Что здесь происходит? – спросила медсестра.

– Вот полюбуйтесь, Мария Егоровна! – ткнул в Нюраню доктор. – Прибыла черт знает откуда, из Сибири! Они там совсем с ума посходили, – обругал кого-то доктор. – Повышать квалификацию за тысячу верст! Ей надо не ко мне, а в Окружздрав. И у нее нет документа об образовании. Где вы учились? В Омске?

– А-а-а! – закивала Нюраня, не прекращая рыдать.

– Обчистили в пути? – спросила медсестра. – Воровство на железной дороге, говорят, ужасное.

– А-а-а! – с удвоенной силой завывала Нюраня, что можно было расценить как подтверждение факта ограбления.

– У меня сейчас череп треснет, – схватился за голову доктор.

– Я разберусь с ней. Пойдем, голубушка, – потянула Нюраню к выходу Мария Егоровна. – Узлы-то свои прихвати!

В маленьком кабинетике она строго велела девушке заткнуться. Если хочет рыдать, то беззвучно, нечего пациентов пугать. Не успокоится – выгонят на улицу и обратно не впустят. Затем Мария Егоровна принесла стакан жидкого теплого чая и ушла, оставив давившуюся слезами Нюраню одну.

После хороших рыданий на нее нападала икота. Когда из дома удирали, полдороги икала, сначала часто, каждую секунду, потом все реже и реже. Если губы стиснуты были, то очередной «ик» просто сотрясал тело, а при открытом рте вырывался оглушительный взвизг.

Мария Егоровна недолго размышляла о том, что делать со странной девушкой, наряженной в дорогую нездешнюю одежду. От девушки веяло опасностью или по меньшей мере грядущим беспокойством. Девушка позволила себе рыдать в голос, как могут делать только избалованные особы. С другой стороны, опытная Мария Егоровна уловила за воплями

признаки сильной гордой натуры – такой, что бывает у хороших тружеников, да и фигура девицы выдавала физическую мощь. Получалось, что, с одной стороны, от сибирской гренадерши надо было избавиться; с другой стороны, отпускать ее жаль.

Доктор план Марии Егоровны одобрил, и вызванная снова к нему в кабинет Нюраня слушала, как он расписывает ей дальнейшую судьбу.

– Вам следует отправить в Омск запрос, чтобы получить дубликат о вашем образовании. Без этого документа мы можем вас оформить пока только санитаркой. В больницу при сахарном заводе, это в пятидесяти верстах от Курска. Сейчас туда как раз отправляем медикаменты...

Доктор говорил и писал сопроводительную бумагу Нюране. Она открыла рот, чтобы спросить, но вместо слов вырвался такой ик-визг, что доктор испуганно вздрогнул, взмахнул руками, и чернила с пера ручки мелкими брызгами оросили его лицо и халат.

– Молчи уж! – велела Мария Егоровна Нюране, промакивая салфеткой докторское лицо.

То же самое она делала во время операций, только пот не оставлял фиолетовых разводов и хирург не выглядел клоуном. Правильно не оставили эту девку в городской больнице!

Нюраня захлопнула ладошкой рот, так и не вымолвив ни словечка, только сотрясалась от икоты.

Мария Егоровна лично проводила ее до саней, в которые уже погрузили два ящика, и места Нюране осталось совсем мало, узлы пришлось в обнимку держать. Возница, закутанный в тулуп с головой, что-то буркнул – не то поздоровался, не то выразил неудовольствие наличием пассажира.

– Кланяйся от меня Ольге Ивановне, – попрощалась медсестра. – С начальницей тебе повезло.

– И-ик! – вырвалось из Нюрани. – Благодарствуйте! – быстро проговорила она, пока не дернулась от очередного «ик!».

– Трогайтесь! – махнула рукой Мария Егоровна.

Санитарка

На место прибыли поздно ночью. В дороге Нюраня спала-куняла. Полдня, проведенные в городе, измотали ее больше, чем двенадцать часов работы в страду на поле. Возница, так и не посчитавший нужным вести с пассажиркой разговоры, несколько раз останавливался справить нужду. И делал это, хам расейский, прямо возле саней. Нюраня попробовала в сторону отойти, увязла в сугробе, пришлось тоже за санями приседать.

«Начальница, с которой повезло», встретила нелюбезно. Когда разгрузили сани и вошли в дом, прочитала выданную доктором бумагу, поднеся листок к лампе-коптилке. И заговорила вредно:

– По штатному уложению, данному медицинскому учреждению положены врач, фельдшер, акушерка, медсестра и две санитарки. Я акушерка и в единственном лице здесь.

– Не знаю, – ответила Нюраня. – Я прислана для повышения квалификации.

– Чего?

– Вы, тетенька, не яроститесь! Я как бы медицинская сестра, но без документов, которые ограблены.

– Я тебе не тетенька! Меня зовут Ольга Ивановна.

– Анна Еремеевна.

– Как это «документы ограблены», Анна Еремеевна?

– В пути следования из Сибири.

– Только сибирской дуры мне не хватало!

– Вы сначала меня в деле испробуйте, а потом обзывайтесь.

– Испробую, не сомневайся!

С момента бегства из дома Нюраня увидела множество новых лиц. Она прежде жила в закрытом обществе, где чужанин (незнакомый человек) – событие. Ее, непривычно испуганную, передавали по цепочке: Марфа – Камышину, он – дяде Проше, потом извозчик, доктор курский и Мария Егоровна, теперь Ольга Ивановна. За нее решали, не спросив ее мнения, руководили, как последней деревенской тетёхой. Она и была деревенской, но выступать тетёхой не желала. Она чувствовала, что все эти чужие люди, хотя и желавшие ей добра и, возможно, сотворившие добро, забирают у нее внутреннюю силу, делают слабой и беспомощной. Точно раздевают. Перед лицом фельдшерицы-акушерки Нюраня собрала волю и нагрубила, то есть в ответ на грубость не сдержалась. Хотя это было

недальновидно. Сейчас Ольга Ивановна выставит ее за порог – и куда податься?

– Есть хочешь? – спросила Ольга Ивановна.

– Очень!

Нюраня с утра маковой росинки не проглотила. Но то, что поставила перед ней Ольга Ивановна, вряд ли свиньи стали бы есть. В миске, наполненной мутью, плавали серые перья капусты и обрезки гнилой на вид моркови. Нюраня решилась попробовать и чуть не выплюнула – вкус оказался еще хуже вида. Откусила от предложенной горбушки хлеба – на зубы налипла глинистая масса.

– Ты, я вижу, по-другому привыкла питаться? – усмехнулась Ольга Ивановна.

Нюраня молчала, не смея обругать угощение.

– Тогда тебе у нас понравится. – Ольга Ивановна забрала миску и старательно, чтобы ни капли не упало, вылила ее содержимое в казанок. – Пойдем, покажу, где спать будешь.

Ночью Ольга Ивановна показала Нюране древней старухой. При свете дня Нюраня скосила ей десяток годов, но за пятьдесят – точно. Когда спустя некоторое время она узнала, что Ольге Ивановне сорок один год, была потрясена. Это как же судьба должна была измочалить человека, чтобы он раньше времени настолько исстарился!

Судьба Ольге Ивановне действительно выпала тяжелая, хотя вначале складывалась на зависть благополучно. Дочь мелкого чиновника, она окончила акушерские курсы и вышла замуж за молодого врача по страстной любви.

Они трудились в земской больнице, у них родилась дочь. Думали, что первенец, потому что детей хотели много: столько счастья, сколько у них было, грешно копить, надо тратить, дарить. Они не участвовали в революционном движении, но разделяли устремления толстовцев и верили в давно многих разочаровавшие идеалы народничества. Они исповедовали теорию малых дел, также опровергнутую великими умами.

Каждое утро муж просыпался со словами: «Сегодня мы снова кого-то спасем, избавим от страданий». Ольга с улыбкой обязательно над ним подтрунивала: «Вчера привезли мужика, завшивленного до такой степени, что я велела поместить его в сарай». «Добро вшей не боится!» – вскакивал с постели муж.

Они презирали богатство, покупали на свои деньги саженцы и возделывали сады, боролись с холерой, тифом, малярией в эпидемотрядах,

строили школу, читали крестьянам лекции о пользе чистоты и организовывали благотворительные концерты.

Революцию восприняли радостно – как новую светлую эру новых людей. А потом началась Гражданская война, окрасившая самых сильных и умных новых людей в два цвета – белый и красный. Белые увели мужа – призвали в армию. Больше Ольга Ивановна его не видела и ни одной весточки не получила. Победили красные, она превратилась в белогвардейскую жену.

Добрые люди шепнули: «Беги!» И она побежала, превратившись в щепку, которую несколько лет носило в мутном потоке, пока не выплонуло в больничке при сахарном заводе, давно не работающем, в Курской губернии. Подойдя к зеркалу, рассматривая свое отражение, Ольга Ивановна так и подумала: «Щепка».

Дочь к тому времени уже два года как умерла от тифа. Ольге Ивановне осталось только служение, только верность их с мужем наивным юношеским принципам: делать добро. Глядя на Ольгу Ивановну, сухую и темную лицом, словно корой покрытым, слыша ее голос, в котором отсутствовало сострадание, никаких «потерпи, миленький», «сейчас станет легче, голубчик», – трудно было предположить, что эта женщина в память о муже, и чтобы не сойти с ума, и чтобы отомстить кому-то, безжалостно разрушавшему ее жизнь, служит добру.

Ольгу Ивановну приводила в замешательство Анна Еремеевна. Девушка прекрасно показала себя во время сложных родов, даже внутривенные диффузии умела делать. Но когда ей было велено поставить клизму мужику с подозрением на непроходимость кишечника, побледнела и чуть не сбежала. Кружку Эсмарха, то есть клистир, явно впервые видела. Анна Еремеевна ничего не смыслила в химии. Про кислород заметила: «Им вроде дышат?», а железо считала исключительно металлом. Не имея понятия о химических элементах, она знала латинские наименования основных медицинских препаратов и вполне прилично готовила порошки, мази и настойки. Она профессионально накладывала повязки, смыслила в травматологии, даже предлагала сделать вытяжение при переломах костей со смещением, но элементарный анализ мочи поставил ее в тупик. Могла вынести правильный диагноз кожного заболевания, не путала крапивницу с рожистым воспалением, а стригущий лишай – с розовым, и выказывала подозрительное неведение в организации деятельности медицинского учреждения. Этому медсестру учат прежде всего, а потом она закрепляет полученные знания на практике в больнице или в клинике. Беспомощность

Анны Еремеевны в базовых вопросах была не просто подозрительна – она не лезла ни в какие ворота.

Анна Еремеевна проработала два месяца, когда Ольга Ивановна велела ей поставить судно лежащей больной с пневмонией.

– Судно? – переспросила Анна Еремеевна. – Корабль?

– Пароход! Идем!

Ольга Ивановна привела ее в кладовку, где хранился инвентарь, и ткнула пальцем в фаянсовое судно. Анна Еремеевна взяла его, явно теряясь в догадках, куда это ставить больной. Полнейший абсурд! Все равно что дать повару в руки кастрюлю, а он не будет знать, что с ней делать.

– Судно следует наполнить небольшим количеством воды, чтобы испражнения не прилипли к стенкам. – Ольга Ивановна говорила медленно и четко, как по книжке читала. – При подкладывании судна рука санитарки подводится под крестец больного, таз при этом поднимается, колени согнуты и разведены в стороны. Судно подводится под ягодицы так, чтобы над большим отверстием оказалась промежность больного, а трубка – между бедрами по направлению к коленям. Удаляется судно в обратном порядке. Затем освобождается от содержимого, тщательно моется и обрабатывается трехпроцентным раствором хлорной извести. Вопросы есть?

– Нет.

– А у меня есть! Жду вас в ординаторской.

Почему Ольга Ивановна свой маленький кабинетик называет ординаторской, Нюраня взять в толк не могла, никаких орденов там не имелось. Вопросов у Нюрани было много, но задавать их часто она опасалась. На каждом шагу она сталкивалась с предметами, предназначения которых не знала, проявляла беспомощность в ситуациях, которые Ольге Ивановне казались обыденными. Акушерка смотрела на Нюраню так, словно девушка страдает подозрительными провалами памяти.

Она не быстро выполнила приказ явиться в ординаторскую, потому что провозилась с пациенткой – простой бабой, измученной лихорадкой, обессиленной и слезно просившей помочь ей выползти на улицу, «сходить до ветру». Увидев судно, баба испуганно запричитала. Нюраня, выполняя инструкцию – под крестец, колени согнуты... – ласково называла женщину «миленькой», говорила, что страшиться нечего, больные и врачи стыда не имеют, судно – это ерунда, а вот городские граждане на двор до ветру не ходят, у их такие специальные помещения клозеты-сортиры... И то сказать! Если бы они все на улице испражнялись! Садов-то и дворов нет... Заболтала, успокоила.

– Хватит морочить мне голову! – напустилась на Нюраню Ольга Ивановна, как только та вошла в ординаторскую. – Вы такая же медсестра, как я печник!

– Воля ваша.

– Садитесь и рассказывайте!

– Что?

– Правду! Если поймаю вас на лжи, вылетите отсюда, как пробка от шампанского! – Ольга Ивановна запнулась и спросила: – Вы знаете, что такое «шампанское»?

– Нет.

– И скажи я, что это раствор для клизмы, поверите?

– Конечно.

– Но основные кости скелета человека перечислить можете?

– Могу.

– Это черт знает что такое! Рассказывайте! Всё без утайки.

И Нюраня поведала свою историю. Про доктора Василия Кузьмича, который учил ее медицине, но не регулярно, а когда был трезв или не шибко пьян, про «анбулаторию» на их дворе, про то, что мечтала учиться, но мать не отпустила бы, а когда мать слегла и «залежала жизненные соки», пришлось самой хозяйство вести. Про раскулачивание, бегство и Максимку, который обязательно за ней приедет, тоже рассказала.

– Хорошенькая у нас тут подобралась компания, – задумчиво сказала Ольга Ивановна. – Белогвардейская вдова и раскулаченная беглянка.

– А кто вдова, вы?

На этот вопрос Ольга Ивановна не ответила, несколько минут подумала, точно взвешивая что-то, принимая решение.

Встала и объявила:

– Пусть все остается как есть. В конце концов, вас сюда прислали, имеется распоряжение. Никто не может обвинить меня в том, что я пригрела приبلуду. На вас не распространяются мои... обстоятельства, а на меня – ваши. И вот еще что. Хватит вам конспирацию разводить. Спрашивайте о том, чего не знаете.

Сбросив груз вранья, открывшись Ольге Ивановне, Нюраня точно переродилась, а точнее – стала самой собой.

– В вас точно шампанского ввели, – качала головой Ольга Ивановна.

– Ага, – весело отзывалась Нюраня, – в виде клизмы.

Она не ходила, а носилась по больничке, ее физическая выносливость была поразительной. Засыпала Ольгу Ивановну вопросами, и та частенько

поднимала руки, словно обороняясь:

– Хватит! Вы сегодня узнали столько, сколько человеческая память не может за один раз вместить!

– А вы меня завтра проэкзаменуйте!

Ольга Ивановна экзаменовала, и оказывалось, что Анна Еремеевна отлично все усвоила.

Больничка представляла собой барак с длинным коридором, по сторонам которого шли комнаты – ординаторская, процедурная, где принимали больных, операционная, две палаты, мужская и женская, по пять коек, подсобки.

Изба, по-здешнему «хата», в которой жили Ольга Ивановна и Нюраня, стояла в тридцати метрах, наискосок от барака. Еще из строений – сарай, конюшня с сенником и домишко Николая, того самого возницы, что доставил Нюраню.

Угрюмый и неразговорчивый Николай, сторож, истопник, дворник и во всех остальных должностях единое лицо, был искренне привязан к единственному существу – коню Орлику. В отличие от Нюрани, не имевшей документов личности, Орлик обладал справкой как «животное, прикомандированное к медицинскому учреждению», освобождающей его от повинностей и мобилизаций. Жена Николая, бездетная Евдокия, числилась техничкой, то есть уборщицей, и поварихой, готовившей для больных и медперсонала. Она была доброй, но феноменально ленивой. Могла работать только из-под палки. Связка «работа-палка» настолько крепко въелась в скудоумную башку Евдокии, что иным мотивам труда некуда было втиснуться.

– Дуся! – орала Анна Еремеевна. – Кто так моет полы?! Ты сирота, что ли? Или мать тебя не научила? Моя бы такие полы не просто перемывать велела, языком драить заставила бы. Гляди, как надо! – И хватала тряпку.

Вечно полусонная Дуся оживала, когда Анна Еремеевна обзывала ее халдой или галямой и требовала отмывать медицинский инвентарь до блеска.

– Дуся, язви тебя! Ты чего наготовила? Ты какой еды наварила? У нас страждущие пациенты, а не свиньи! Моя мать тебя бы харей в это хлебово потыкала! Ох, потыкала!

В представлении Дуси, мать Анны Еремеевны была каким-то высшим существом, строгим до неимоверности. В общем, это было недалеко от истины.

– И не смей мне заявлять про продукты порченые! – топала ногой, продолжая разоряться, Анна Еремеевна. – Сами сгноили! Кто так хранит

зимой? Вам государство бесплатно выписало-предоставило, а вы спортили! Это пироги? Это угощение для грешников в аду! Я-тко научу тебя тесто творить! Спать любишь? Я-т тебя разбужу! Чтобы хлебы поднялись, надо до света вставать. Пошла мыть квашню! Песком до белого дерева отскрести! Сама замешаю, а ты только попробуй испортить тесто! Я тебе клистиров во все дырки навставляю!

Николай, что можно было понять по некоторым признакам, включил Анну Еремеевну в особы приближенные. Не так, как Орлика, конечно, но высшим знаком расположения из уст Николая звучал вопрос: «Чё нада или как?»

Пациенты обожали Анну Еремеевну, а Ольги Ивановны страшились. У Анны Еремеевны все отчаянно страдающие были «миленькие», «сердечные», «голубчики» и «голубушки». Но если крепкий мужик или баба принимался блажить из-за пустяковой царапины, Анна Еремеевна могла их так застыдить, такими эпитетами наградить, что Ольга Ивановна невольно прятала улыбку.

Нюране было невдомек, что с ее появлением к Ольге Ивановне вернулись улыбки, и лицо акушерки, давно забывшее выражения радости, теперь словно бы заново их осваивало.

Пациентов было много, до пятидесяти в день. Они забивались в коридор, мерзли на улице. Наплыв больных несколько спадал только в страду. Плюс экстренные больные с травмами и роженицы, за которыми прислали подводу или надо было Орлика запрягать. К акушерке бросались, если женщина не могла сама разродиться, значит, роды с осложнениями. Ночь-полночь, надо ехать.

Анна Еремеевна могла мало-мальски вести прием больных и сняла с Ольги Ивановны все заботы по хозяйственной части, то бишь командование Евдокией с Николаем. Непосильное напряжение ослабло, появилось время встрепенуться, оглянуться, задуматься. Хотя в непосильном труде тоже была своя прелесть – он приближал к окончательному израсходованию сил, избавлению от взятой на себя епитимьи.

В энергичной, часто заполошной сибирячке Ольга Ивановна вдруг обнаружила черты своего мужа. Как бывает, что человек с художественным талантом не может не рисовать, а музыкант – не сочинять мелодии, так есть редкие люди, для которых высшее удовольствие – лечить, врачевать. Таким был ее муж, но не она сама. Помогала ему, ассистировала, думала, что на него похожа. Но это было только проявление обожания, когда хочешь нестись на одной волне с любимым. В последние годы Ольга Ивановна

трудилась в память о муже и назло тем, кто его сгубил. Когда увидела в Анне Еремеевне задатки истинного лекаря, с удивлением почувствовала щемление в груди.

– Полагаю, что смогла бы вас подготовить для сдачи экзаменов, как бы в подтверждение вашей квалификации, ввиду отсутствия дубликатов из так называемого медицинского образовательного учреждения, которое вы якобы закончили. – Ольга Ивановна говорила витиевато, сама удивляясь своему порыву.

– Ой, спасибо вам благодарственное! – Анна Еремеевна выскочила из-за стола и поклонилась в пояс.

Они вместе пили чай в своей хате, что случалось редко, поскольку приходилось по очереди дежурить.

– Все-таки доктора – самые лучшие люди на свете, – заключила Анна Еремеевна, возвращаясь за стол.

– Вы полагаете? Скольких вы видели?..

– Достаточно. Василий Кузьмич, доктор в Курске и его Мария Егоровна, ох, непростая тетка, и вы, конечно. Хорошо бы мне успеть документ получить, пока Максимка за мной не приехал.

«Бедная девушка, – пожалела ее мысленно Ольга Ивановна, – верит, что за ней примчится любимый, каким-то волшебным образом узнавший ее адрес».

Весной, когда с новой силой развернулась кампания раскулачивания, обеим стало ясно, что нужно сидеть тише воды и ниже травы. Ольга Ивановна отговорила слать весточки на родину – опасно, пострадает не только сама, но и адресаты. До Нюрани стала доходить роковая безысходность ее положения, забрезжило сознание того, что она никогда больше не увидит Максимку. Нюраня гнала эти подозрения. Она каждую ночь, засыпая, разговаривала с любимым. Вечером тоскливо, но ведь днем так интересно! Нет ничего завлекательней, чем лечить людей и каждый день узнавать, как их лечить правильно.

Нюраня впервые увидела, как цветут деревья, – сначала жардельки (дикие абрикосы), потом вишня – листьев практически нет, а ветки усыпаны мелким нежным подвенечным цветом, следом яблони – у них цвет крупнее, мясистее, розово-белый... Подойдешь, вдохнешь запах дурманыщий, рассмотришь – что ни цветочек, то произведение.

– Ольга Ивановна! – восхитилась однажды Нюраня. – Это же какое-то райское великолепие!

– Да, весеннее цветение прекрасно.

– Не понимаю я. Весна ранняя, почвы жирные. Почему люди-то

нищие? На детей голодных, вспухших, без слез смотреть нельзя. Жрут какую-то гадость. И на такой-то земле и в этом климате?

– Боюсь, что на экономические, они же политические, вопросы я вам не отвечу. Знаю только, что ими лучше не задаваться.

– Степан, братка старший, ответил бы. Он у нас большак и председатель коммуны. Петр, второй брат, как бы умом тронутый, но очень даже сообразительный, в шахматы всех обыгрывает. Марфа и Парася – такие замечательные! А тятя мой! Василий Кузьмич говорил, что он гений в дереве, как Пушкин и граф Толстой в стихах.

– Граф Толстой стихов не писал. Вы плачете? Признаться, я слез не люблю. Или прекратите, или отправляйтесь к себе в комнату душу терзать. Все в руках Божьих.

– Да почему же? – вытерла щеки Анна Еремеевна. – Зачем к Богу взывать, когда сами при разуме и силах? И вообще Бога нет.

– Подчас мне тоже так кажется.

Анна Еремеевна разбила большой огород с грядками овощей, засадила несколько десятин картофеля. Точнее, все это сделали Евдокия с Николаем под руководством Анны Еремеевны.

Ольга Ивановна вела прием больных, а в открытое окно вносился молодой звонкий голос:

– Это почему Орлик под плугом ходить не может? Он конь! И жизнь его рабочая, ему радость в труде! Не то что... Дуся! Родимец тебя расшиби! Всё бы тебе хлюздить! Убери рассаду с солнца! Я над ней три месяца хлопотала. Дядя Николай, как ты с ней живешь? Порол бы жену, что ли. Мне на прием надо, помочь Ольге Ивановне, некогда лясы точить. Да, чуть не забыла. Я про цыплят и двух несушек договорилась. Стройте курятник. Через пару месяцев сможем детишек хворых подкармливать. Вы люди или чурки? Где ваша совесть смотреть на рахитов? Эх, хорошо бы кабанчиков, теля или корову... Как можно в деревне без коровы?

Еремей Николаевич. Последний час

Пока Нюраня пряталась у Камышиных, Марфа боялась выходить из дома, сторожила девушку. Поэтому разузнать, куда угнали отца, она уговорила Петра. Тот всегда сторонился общения с чужими людьми, от смущения гыгыкал, смотрел в землю, дурашливо лыбился и производил впечатление недоумка. Если же возникала необходимость задавать вопросы, Петр совершенно терялся, экал, мэкал, и его лицо – высокого сильного мужика, плечи саженью мерить – приобретало выражение детской беспомощности.

Выросший около материнской юбки, Петр жил теперь по указке Марфы. Но, как и в случае с матерью, его покорность касалась только выполнения приказов, связанных с физическим трудом. Принудить Петра сходить в контору за справкой или даже на рынок купить продукты никакими угрозами-криками было нельзя.

Марфа редко бывала ласкова с мужем в речах, относилась к нему как к работнику, за которым ухаживала – обстирывала, кормила и с которым вынужденно делила постель.

Теперь же она решила именно лаской растревожить его душу и совесть:

– Петруша, кары страшные пали на нашу семью. Отец в остроге, не сегодня-завтра сестру твою уволокут бесы, а что в Погорелове дется, то и помыслить сердцу дрозно.

– Дык Степка...

– Иде он? Могёт, тоже под политику попал? Так на сяк выходит, что ты ноне за главного!

– Да шо я-то могу?

– Походи! Где сможешь – выпрошай, а больше прислушивайся. Не один, поди, Еремей Николаевич заарестованный. Говорят, сгоняют людей в Омск, что скотину. Где-то их держат. Отца забрали как был, краюшки хлеба не захватил, голодат, наверное. Христом Богом, Петенька! Пересиль свою натуру, разыщи батюшку! Век себе не простим, что мизинцем не пошевелили для облегченья его положенья.

Вечером Петр пришел радостный и гордый – узнал, где пересыльный пункт. На краю города поскотину (выгон для скота) заплотом обнесли, туда людей и согнали.

– Молодец, – похвалила его жена.

– Дашь? – тут же потребовал награды Петр.

– Дам, – пообещала Марфа.

Ее супруг плотскую нужду справлял не как нормальный мужик. Терся удом о ее бедра, сосал с причмоком грудь, пока не пускал сопливую вонючую лужу. Когда-то свекровь возила Петра к доктору, тот сказал, что надо операцию делать. «Уд мне подрезать», – так Петр жене по секрету сообщил. Петька испугался до колик, чуть от матери не удрал, а ведь боялся ее пуще ада. Анфиса Ивановна махнула рукой, смирилась, а Марфа несколько лет маялась: не баба, не девка, черт разберет кто. Пока не полезла в петлю, из которой свекор вытащил. Он же ее распечатал и обрюхатил.

Проводив Нюраню, Марфа отправилась купить съестного Еремею Николаевичу на базар. Там через третьи уста проведала о случившемся в Погорелове бесчинстве, обросшем слухами и домыслами. Сказывали, что Анфиса Ивановна Медведева, по прозвищу Турка, держала речь перед народом. Вещала, будто пришел в Сибирь антихрист с войском бесовским и все христиане, если не хотят на милость нечистому сдаться, погубить душу, потерять нажитое, должны со святым знаменьем выступить против дьявола. А потом взошла она на костер, волшебнo вспыхнувший и поглотивший богатую усадьбу Турции.

Представить себе Анфису Ивановну, митингующую навроде партийца в первомайский большевистский праздник, было совершенно невозможно. Но в том, что свекровь погибла и родового гнезда Медведевых-Турок больше не существует, сомневаться не приходилось.

Марфа только-только задавила слезы после расставания с Нюраней. Это ж какая мука девушку невинную, егозу-красавицу отсылать в чужие неведомые края, на страдания невыносимые обрекать! А тут новое горе. Роковое. Хотелось выть. Забиться в угол и голосить. Нельзя. Как Анфиса Ивановна за себяжаление ругала? «Без твоих соплей мокро! – прикрикивала. – Побереги слезы, еще пригодятся!»

В пересыльный пункт за наспех обнесенную заплотом поскотину набили уйму народу. Кого-то из раскулаченных доставили на собственных санях с поместившимся скарбом, большинство же пригнали этапом – с детишками и теми вещами, что успели впопыхах прихватить.

Третьи сутки люди находились на улице, на морозе, под снегопадом. Дрова для костров подвозили, но охранники жарко топили железную печку в своей караулке – дощатом, продуваемом домишке, а «кулацкой сволочи»

выдавали дрова и сено лошадям в обмен на продукты и вещи.

По ночам люди тайком выдирали доски заплота, за это несколько человек, без разбора виновных или безвинных, увезли в острог. Но заплот все равно рушили, потому что, от холода спасая деток, на любые кары пойдешь.

Убежало малое число – подростки, парни неженатые да девки. Куда отец семейства денется? Или мать с молочным младенцем и еще трем мал мала меньше? В городе-то, страшном и жестоком, где приют найдешь? А потом еще объявление было, что если побеги не прекратятся, то мужиков от семейств отлучат и по другому этапу погонят. Тут уж сами беглецов за полы хватили – сиди, не накликай беду.

Продукты быстро таяли, потому что сибирячки не могли отказать чужим голодным деткам, тянувшимся на запах похлебки из котелка, подвешенного над костром. Детки подходили и молча стояли, не просили. Им с пеленок внушили, что кланчить зазорно. Одному ложку-другую дашь, второму, третьему – жадно втягивают, обжигаясь, опять-таки тепло заветное в нутро загоняют, и вот уже в котелке на доньшке...

Марфа добралась до пересылочного пункта в сумерках, зимой темнело рано. У ворот расхаживал часовой в долгополом тулупе с поднятым воротником, за плечами винтовка.

– Куды?

– Туды! – махнула свободной рукой Марфа на ворота. В другой руке она держала корзину. – Свекра проведать.

– Не положено!

– Кем?

– Командованием.

– Дык тут сейчас ты главное командование. Вот тебе и положу.

Она достала завернутый в белую тряпицу шмат сала, выменянный на базаре несколько часов назад на парадную юбку.

– Водки нет? – спросил часовой, забирая сало.

– Не догадалась, звиняй!

– Ты, это-того, быстро.

– Не задержусь, – пообещала Марфа.

Войдя за ворота, она остановилась, пораженная открывшейся картиной. Табор. Только не цыганский. Она никогда не видела цыганского табора, только слышала рассказы, как однажды занесло на их просторы вольных кочевых смуглых людей в пестрых одеждах. Они раскинули свои легкие жилища на поляне, пели песни и танцевали ежевечерне, цыганки

гадали по руке про будущую судьбу и, чтоб она была хорошей, выманивали у деревенских баб золотые и серебряные украшения.

Все цыгане воровали: бабы цыганские норовили стащить мелкое, что плохо лежит в доме или во дворе, что можно под юбкой спрятать, цыганята кудрявые разоряли огороды, цыганы-мужики умыкали лошадей. В Сибири конокрадства отродясь не было, и оно вызывало замешательство. «Ты зачем коня моего упер? – спрашивал могутный сибиряк, держа за шкуру пойманного на месте цыгана. – Ежели острая тебе в нем надобность, сказал бы. Я б тебе подарил конягу».

Единственный за всю историю села приход цыган оставил о себе воспоминание как о бесшабашном празднике народа, не вышедшего из детской поры, испорченного и порочного, тем не менее завораживающего своей дикой вольностью. Табором стали называть становища, когда в страду не уходили с поля или с сенокоса, кормились «с костра», спали под открытым небом.

То, что увидела Марфа, походило на табор изнаночный, ненастоящий. Потому что никакого табора не может быть сибирской зимой. Редкие костры, вокруг в несколько рядов теснятся люди, совершают медленные перемещения – передние уходят, дают возможность погреться крайним, детишек держат ближе к огню. Все укутаны с ног до головы, разговоров нет, только покашливания. В отдалении кони фыркают, сани маячат. И вонь нечистотная, которую почему-то не убивает мороз.

Покашливания, особенно детские, – очень плохой знак. Сибиряки в большинстве своем молчаливы и не любят языком трепать, потому что держать рот на замке их приучила долгая зима. В мороз нельзя дышать ртом, болтать понапрасну. Воздух следует втягивать носом медленно, чтобы он согрелся, пока внутрь идет. Но разве заткнешь рот плачущему голодному ребенку, неразумному младенцу, который несколько суток под открытым небом? Застудились, несчастные. Их бы сейчас в тепло, на печь да отварами напоить, грудки и спинки жиром гусиным натереть...

Марфа шла зигзагами меж костров, на нее косились, задерживая взгляд на корзинке, точно звери, унюхавшие запах съестного.

– Еремей Николаевич! – звала Марфа. Тихо звала, чувствуя, что в скорбной тишине громкий призыв будет неуместен. – Еремей Николаевич! Батюшко!

– Ась? Вот он я! Марфинька?

Вдалеке от толпы у костра с корточек поднялась заснеженная фигура. То есть сначала упала на бок в попытке встать, а потом уж с помощью Марфы поднялась.

– Еремей Николаевич!

– Вот он сам. Радость негаданная! Марфинька!

Она не могла разглядеть его лица, темновато было, но по голосу простуженному, по интонациям стариковским поняла, что свекор сильно сдал.

– Што вы? – спросила Марфа.

– Все хорошо, с Божьей помощью. – Он говорил не как прежний Еремей Николаевич, а как дряхлый старик. – Вот только ноги, кажись, приморозил. Хороши чёботы, да на долгий мороз непригодные.

– А-а, лихо! – на вздохе простонала Марфа.

Она оттащила свекра к заплоту. Сняла с головы верхний, козьего пуха плат (под ним еще два шерстяных было). Набросила Еремее Николаевичу на голову, крест-накрест на груди перекинула, на спине узлом перевязала. Сняла с него чёботы, сама разулась, в его обувку ноги сунула – согреть. Показалось, что в стылую глину провалилась. Распахнула тулуп, кофту рванула, рубаху, на голое тело ступни свекра уложила, запахнула полы, руками прижала.

– Болять?

– Ой, болять!

– Хорошо. Знать, не до стекла сморозились.

– Хорошо, – повторил за ней Еремей Николаевич. – Так сладко у тебя на брюхе. Будто даже пахнет, и я ногами чую.

– Чем?

– Женщиной, молоком, волей, счастьем.

Заледенелые ступни свекра, в шерстяных чулках, сделавшихся колючими, точно утыканными мельчайшими иголками инея, ее собственные застывающие ноги в его чёботах, кусающий голову мороз – Марфа изо всех сил старалась не дрожать. Как же он... они тут... детишки...

– Рукой дотянитесь до корзинки, мне несподручно, – сказала она. – Там в уголке масло топленое, а рядом хлеб. Покушайте, вам жирное сейчас надо.

– Мне сейчас, – скинув рукавицы (хоть они у него были подходящие, собачьего меха) и роясь в корзине, бормотал Еремей Николаевич, – и песьей косточке радостно.

Перекусив, он слегка приободрился. Марфа двинулась вперед, переместив его ноги себе за спину. Ее живот, подгрудину, исколотые ледяными шипами, приморозило насквозь, только у спины осталась прослойка тепла, которой она делилась.

Со стороны они выглядели чужаковато: два тулова, две головы смотрят одна на другую, между носами расстояние в вершок, и только две ноги, Марфины, раскоряченные, в мужских чеботах, за спиной у второго тулова. Она старалась не трястись от холода. Еремей Николаевич – не стонать от боли в обмороженных ногах.

Он даже пошутил:

– Эк мы с тобой устроились. Точно сиамские близнецы.

– Синайские страдальцы, – улыбнулась Марфа.

Слово «сиамские» ей было незнакомо, а Синай часто встречался в церковных книгах, которые мать заставляла ее читать в детстве.

– Нюраня? – спросил Еремей Николаевич.

– Отправлена в Расею с надежным человеком. Снарядила я ее, не беспокойтесь.

– А в Погорелове? Анфиса?

У Марфы не хватило духа добавить к его страданиям роковые печали. И лицо ее, стиснутое зубной судорогой, желанием не показать, что мерзнет, не выдало лжи:

– Неведомо. Дык вы Анфису Ивановну знаете...

– Она не пропадет! Уж она-то! Она у нас глыба, остов, матрица. Виноват я перед ней. От начала виноват, от женитьбы. Досталась дураку жемчужина, он ее не в оправу, а в карман, в крошки табачные. Опять-таки мы с тобой... грех попутал...

– Вас, могёт, и попутал. А я того греха и тыщу раз... ради чуда, ради Митяя.

– Хороший, славный мальчонка.

Марфу кольнуло, что он сказал о сыне как бы вскользь. Конечно, у него двое старших сыновей, и дочь, и внук.

– Анфиса не пропадет, она наладит, – продолжал стариковски твердить Еремей Николаевич. – Для нее наш род наиглавнейший. Хорошему роду нет переводу. Разметает семя, и где оно найдет хоть толику земли – взойдет, хоть на камнях. Опять-таки Степан. Что ж он нейдет-то? Отца не вызовет?

– В комнамдировку услали, – опять соврала Марфа. – Не ведает про вас.

– Степа, слава Господу, у власти в авторитете. Может, напрасно Нюраню в Расею услали? Как девке одной на железной дороге да в чужих краях?

Марфа, услышав в словах свекра упрек, еще больше разозлилась на Степана: где пропадает, когда такие безобразия творятся?

– Вот возвратится наш «авторитетный», пусть по-своему командует, – отрезала она.

– Какая ты стала...

– Какая?

Еремей Николаевич хотел сказать «грубая», но посчитал это слово слишком жестоким.

– Резкая, – ответил он. – Да и то, как говорится, живи не под гору, а в гору.

Они тихо беседовали еще несколько минут. Марфа пообещала завтра пригнать лошадь с груженными санями.

Отрывая застуженные ноги от теплоты женского тела, прощаясь с Марфой, Еремей Николаевич поймал себя на мысли, что расстанется с прежней жизнью – сытой, вольготной, благополучной. И это расставание напугало его.

– Не дернуть ли мне отсюда назад в Погорелово? – спросил он. – Под крылышко к любезной Анфисе Ивановне?

– Не-не! – замахала руками Марфа. – Туды вам никак нельзя! Другоряд заарестуют, в каземат упекут. Из ссылки Степану вас вернуть знамо легче, чем из тюрьмы выволить.

– На все воля Божья, – покорно кивнул Еремей Николаевич.

Прежде он редко Создателя вспоминал, а теперь – через слово.

Марфа продала все, что могла продать, однако выходило мало – мешок овса для лошади, несколько кусков сала, полмешка сухарей, бутыл самогона, вязанка мороженой стерляди. Из дома забрала одеяла, мужнины толстые валенки-катанки, его же белье на смену, старую доху. Пошла одалживаться к Камышинным, потому что надо было купить какой-никакой крупы да муки, хорошо бы строганины – как зимой в тайге без мяса?..

– У нас, кажется, финансы закончились, – в ответ на ее просьбу сказала лежавшая на диване в гостиной Елена Григорьевна. – Посмотрите в шкатулке, – она ткнула сигаретой в сторону буфета.

В шкатулке было пусто.

– Вам очень нужно? – спросила Елена Григорьевна.

– Свекра в ссылку погонят, надо снарядить. Он уж сколько дней голодавши и обмороженный.

– Пойдемте. – Елена Григорьевна направилась в спальню. Порывшись в ларце с драгоценностями, она достала усыпанное камнями кольцо. – Оно мне никогда не нравилось, хотя от бабушки досталось. Бабушка была купчихой и вкусы имела соответствующие. Да и куда мне носить его,

скажите на милость?

– Я отработаю, – пообещала Марфа.

– Ах, оставьте! – изящно взмахнула рукой Елена Григорьевна. – Считайте это подарком... Нет, еще вздумаете отдариться... Считайте моим вкладом – вот! Вкладом в дело борьбы с... с чем? Не знаю. Но они постоянно трубят про вклад в борьбу. И вот еще, Марфа. Не продавайте кольцо на рынке, вас примут за воровку. Отнесите его ювелиру, я напишу ему записку. Адрес запомните или тоже написать?

Ювелир отвалил столько деньжищ, что хватило и на крупы, и на муку, и на строганину, на полмешка пельменей, на три круга замороженного молока – это детишкам, Еремей Николаевич обязательно поделится.

Марфа ликовала. Погоняла лошадь и улыбалась. Удалось по-человечески обеспечить свекра, и обожаемая Елена Григорьевна, птишка хрупкая, существо нежно-неземное, уже второй раз выказала доброту сердца проникновенную.

Успела только-только: ссыльные вытекали из ворот нестройной колонной.

– Куда прешь? – накинулся на Марфу начальник конвоя.

– Дык там мой свекор, ему вот сани с поклажей.

– Не положено! Пошла прочь!

От недавнего ликования не осталось и следа, испуг навалился: столько хлопотала, и все зазря! За испугом накатилась злость, которая почему-то выразилась в том, что Марфа как бы превратилась в Анфису Ивановну – свекровь, умевшую ругаться и яроститься так, что отступали самые отпетые грубияны.

– Ты в меня потычь, потычь винтовкой! – зашипела Марфа. – На штык подыми! «Не положено!» – взяли моду лаять. Сказать, чего и где у тебя не положено пониже пупа? – Она вскочила с саней, приблизилась с кнутом в руках к бойцу. – Его раскулачивали с конем и санями! Такмо и по этапу вести должны. А то, что конь у меня содержался, только вашему пролетарскому сему экономия!

– Поговори мне! – невольно отступил начальник конвоя. – Ох, шальная баба!

– Сороку спроси! – повысила голос Марфа. – Он при делах, в его бумагах написано про сани с поклажей!

Она несла, сама не зная что, и почему вспомнила о Сороке-вражине, не ведала, но неожиданно попала в десятку.

– Какую сороку? Данилу Егоровича Сорокина, что ль?

– Его самого, моего односельчанина. Не пустишь сани, я Сороке по

старой дружбе бельмы-то выцарапаю и в задницу засуну. Посмотрю на тебя, когда выколупывать заставят!

Начальнику конвоя явно не понравилась подобная перспектива.

– Сынок! – подошел и обратился к нему Еремей Николаевич. – Дозволь на санях отправиться. Я еще вон ту бабу с четырьмя ребятишками малыми прихвачу. Пеши-то они далеко не уйдут.

– Ладно, – позволил боец и тут же отвернулся, как бы давая понять, что человек он важный и недосуг ему на мелочи отвлекаться, закричал в хвост колонны: – Не растягиваться!

Марфа и Еремей Николаевич простились торопливо: обнялись на секунду. Она передала кнут и отступила в сторону, он подзывал и на ходу пристраивал в сани ребятишек.

Первыми умирали младенцы. Как ни берегли, ни укутывали их матери, а у сосунков дыхательные пути короткие, плачут – рты не склеишь, застужаются и возносят свои невинные души к Богу. Кормящие матери давали грудь детишкам постарше, годовалым и двухлетним. Те быстро поняли, где есть источник тепленького молочка, и постоянно тыкали в материнские груди: «Дай! Дай!» Но все равно ослабевали – скудное молоко измученных женщин не спасало. Дети плакали, пока не умирали. Матери и отцы, хоронившие в сугробах детей, уже не плакали. Для них это был конец света, а перед концом света слезы неуместны.

Они не роптали, не бунтовали, не проклинали судьбу. Принимали выпавшие на их долю испытания с христианской покорностью. Делай, что в твоих силах, и не ропщи. Разве что иногда женщина после смерти ребенка забьется в падучей. Скрутят ее, ноги-руки зажмут, пока истерика не отпустит. И дальше в путь. Путь, движение, дорога казались спасением, как библейское спасение народа Моисеева. Хотя в конце пути, как они уже знали, их не ждет ничего благостного.

Еремей Николаевич продержался почти две недели – благодаря припасам, которыми снабдила Марфа. Припасы быстро таяли, потому что он жил общим котлом с Ульяной и четырьмя ее детьми-погодками. Потом с тремя, с двумя... Ульяна была на три года старше его дочери Нюрани. Мужа ее забрали в острог за тот самый порушенный на дрова заплот на поскотине.

До пункта назначения, по словам конвойных, оставалось пять дней ходу, когда Еремей Николаевич понял, что дальше двигаться не может. Ноги ему давно отказали, боль из них, уже бесчувственных, плыла вверх по телу, растекалась и была нестерпимой. Да и Ульяна, потеряв третьего

ребенка, умом тронулась. Не давала девочку похоронить, все баюкала ее и твердила: «Машутка спит. Ить, задремала как крепко. Я ее покачаю. Спит доченька, сил и красоты набирается. Детский сон сладок».

Еремей Николаевич кликнул мужика, который в их этапе стал за старшего, навроде старосты. Не выбирали, само собой вышло, что Федор за сушняком для костра на стоянках рассылает, павшую лошадь под нож пускает, свежует, конину по всем справедливо раздает, даже конвойным. Они тоже не звери, и сердца не каменные, насмотрелись на страдания, да поделаться ничего не могут – служба.

– Ты, слышь, – обратился к Федору Еремей Николаевич, – помоги, оттащи меня к Ульяне, вон она, на обочине сидит. И мальчонку тоже. Дышит пока. Тут, в санях, остались кой-какие припасы, раздай народу по справедливости. Лошадка пять дён на легкой поклаже еще протянет. Тут вот, – он ласково погладил деревянный ящик-чемоданчик, – инструменты мои. Они для тонкой работы, но авось сгодятся.

– Дык ты что? Удумал остаться? – помотал головой Федор. – Живой ведь, и баба, и мальчонка. На нехристианское дело нас толкашь, сибиряки никогда своих не оставляли! Не могу я...

– На небо посмотри. Пурга-вьюга идет, вам торопиться надо.

Подошел начальник конвоя. Еремей Николаевич снял с шеи Марфину пуховую шаль, протянул ему:

– Уши замотай, приморозил поди, отвалятся. Девки безухих не жалуют.

– Какие девки? – шмыгнул носом начальник. – Говорят, вьюга сильная надвигается?

– Дык так, – кивнул Федор. – Надо быстро идти, найти место укромное с наветренной стороны, схорониться самим и коней укрыть. Неизвестно, сколько в сугробе сидеть придется.

– Что вьюга идет, знаете, а сколько она продлится, вам неизвестно? – хмыкнул недоверчиво начальник конвоя.

– Ты парень не сибиряк! – в сердцах сплюнул Федор. – «Сколько продлится!» Хватит того, что вокруг солнца всполохи, послал Господь предостережение. Он тебе еще на небе цифры выводить обязан?

– Спросить нельзя, что ли? – снова хлопнул носом начальник.

– Сынок, ты Федора слушайся, – посоветовал ему Еремей Николаевич, – с Федором вы не пропадете. А сейчас, мужики, подхватите меня, хватит лясы точить.

Начальник конвоя и Федор оттащили Еремея Николаевича к Ульяне, которая все баюкала умершую дочь. На руки Еремей Николаевич принял

обмякшего в беспамятстве мальчонку.

Люди подходили к нему и кланялись, один за другим, прося прощения. И уходили. Дальше. По этапу. От пурги. Еремей Николаевич заиндевелой рукавицей осенял их крестным знаменьем.

Он в церкви последний раз был, когда крестили Нюраню. Не причащался с отрочества, не молился – ему Бог был не нужен. Его богом была красота. Но сейчас только промыслом Божиим можно было оправдать и объяснить чудовищные страдания – каким-то высшим смыслом. Иначе... иначе – пустота.

Красота была вокруг него в последние мгновения жизни. Вековые ели со снежными перинами на лапах искрились всеми оттенками радуги в лучах пурпурного предгрозового солнца, на которое уже заходили тучи. Равнодушная вековая красота природы, которой дела нет до человека с его страданиями и радостями, войнами, революциями, победами и поражениями, хлопотами, довольством, слезами, с его похвальбой и унижениями, с трудами и лентяйством, талантами и бездарностью. С его рождением и смертью.

Мальчонка, имени которого и фамилии Еремей Николаевич не знал, дернулся в судороге. Еремей Николаевич крепче прижал к себе мальчика. И стал, ритмично покачиваясь, наговаривать стишок, который более всего любил его сынок Митяй, всеми принимавшийся за внука.

Аты-баты – шли солдаты, ать, два!

Аты-баты – на базар, ать, два!

Аты баты – что купили? Ать, два!

Аты-баты – самовар! Ать, два!

Аты-баты – сколько дали? Ать, два!

Аты-баты – три рубля! Ать, два!

Митяй, еще полугодовалый, обожал кричать в конце каждой строчки «Ва!» – вместо «Два!». С выпученными глазами орал, словно от его правильного крика зависит сохранение привычного мира.

Ульяна перестала причитать, повернула голову, прислушиваясь, беззвучно шевеля губами, повторяя за Еремеем Николаевичем всем известные строки:

Шишли-вышли, вон пошли, ать, два, три.

На боярский двор зашли, ать, два, три.

*Там бояре шапки шьют, ать, два, три.
На окошки их кладут, ать, два, три.
Ать, два...*

«Тли!» – вопил Митяй. Или мальчонка на его руках, умерший несколько минут назад? С лицом тихого ангела, перенесшего недетские страдания, принявший их смиренно и отдавший душу Богу...

– Целься – пли! Ать, два! – договорил непослушными губами Еремей Николаевич.

Солнце уже скрыли тучи, подул ветер, швыряя первые снежинки. Скоро они без просветов заполнят землю до неба, равнодушно и красиво играя и кружась.

Метель бушевала три дня. А когда на четвертый день утихла, сквозь облака пробилось солнце. От Еремея Николаевича, Ульяны и детей остались только едва различимые сугробы.

Часть третья
1930–1937 годы

Женщины Камышина

Александр Павлович подозревал, что Марфа отдалась ему из благодарности. Он ведь помог Марфиной золовке бежать. Мысль о том, что женщина расплачивается с ним, была до зубовного скрежета постыдной.

Однажды вечером, когда Елена и дочь были в театре, он вернулся домой крайне усталым – той нервной, многодневной усталостью, которую снять с мужика может только женщина. Сильная, пышущая здоровьем – такая, как Марфа. Воробьиные прелести супруги его давно не возбуждали.

Александр Павлович овладел Марфой. Именно что овладел – без слов завалил на диван и с грубым исступлением, быстро выплеснул свою накопившуюся усталость, снял нервное напряжение. Марфа не сопротивлялась.

Когда все кончилось, она встала, поправила юбки и спросила:

– Чай пить будете?

– Прости!

Пожала плечами, будто он сморозил глупость:

– Пирог с картохой и грибами подавать или с капустой кислой?

– С картохой, – просипел Александр Павлович.

Он ненавидел себя, дал слово, что подобное больше не повторится. Но повторилось уже через несколько дней, и потом два месяца регулярно повторялось.

Эти два месяца – пожалуй, лучшее время в его жизни. День был наполнен ожиданием свидания с Марфой – не мыслями и мечтами, оформленными словами, а сладким чувством предвкушения, которое нисколько не мешало работе. Напротив, утраивало силы.

Камышин спускался в полуподвал, где обитали Медведевы, играл с Петром в шахматы. Ни разу не выиграл у этого дебила, через слово гыгыкающего. Ближе к полуночи Петр уходил на смену в кочегарку. Митяй уже спал. Александр Павлович ложился в постель с Марфой. Ему не удалось растопить ее, расшевелить ласками. Марфа была покорна, но любые проявления нежности были ей явно противны. Иногда признавалась вслух: «Да что вы цалуете везде? Давайте уж по-человечески».

После финального аккорда, когда Камышину хотелось просто полежать рядом с ней, восстановив дыхание, играть с ее волосами, перебирать пальцы на руке и каждый целовать, бормотать милые глупости, Марфа тяготилась его присутствием, напоминала, что ей до свету вставать

и печь разжигать.

– А мы еще разочек? – униженно просил Камышин.

– Только без глупостей, – позволяла Марфа.

Камышина угораздило влюбиться в простую деревенскую бабу. И баба эта, вместо того чтобы от счастья плавиться, гордиться, заноситься, сама одаривала его с барского плеча. Хотя кто здесь барин, без очков видно. Она допускала его в свое тело, в одно заветное женское место принимала его мужскую плоть, при этом не выказывала никакого чувственного наслаждения. В отличие от Камышина, который с ума сходил от сибирской амазонки. Она не допускала его в свое сердце, и когда он с юношеской беспомощностью спрашивал: «Но ты меня любишь? Я тебе нравлюсь?» – Марфа уходила от ответа: «Эт все барские слова да утехи, а я женщина необразованная».

«Необразованная» Марфа однажды сразила Камышиных наповал.

Александр Павлович и Елена Григорьевна уже давно и часто ссорились в ее присутствии, не находя нужным скрывать свои истинные отношения.

Александр Павлович за завтраком уговаривал жену пойти с ним на именины какого-то начальника, где соберется партийная верхушка.

Елена Григорьевна сморщила носик:

– Они так скучны, пресны, неинтересны, пошлы!

– Зато все при власти, – отвечал Александр Павлович. – Ты ведь любишь тех, кто успешен. Ты не терпишь неудачников, какими бы причинами ни были вызваны их поражения.

– Да, не терплю! Неудачники унылы, занудливы и постоянно твердят о несправедливостях, учиненных по отношению к ним. И потом они мне кажутся... – Елена Григорьевна кокетливо повертела в воздухе пальчиками, подыскивая слово. – Они мне кажутся... заразными!

– Прямо ни дать ни взять Бетси Тверская, – вдруг обронила Марфа, ставившая грязную посуду на поднос.

Камышины уставились на прислугу в немой оторопи.

– Вы читали «Анну Каренину»? – спросил Александр Павлович.

Марфа пожала плечами. Он уже знал этот жест – мол, чего о глупостях спрашивать, чего про безделицы толковать?

– Однажды, – Елена Григорьевна обратилась к мужу, – Марфа поправила поэта Безпамятного, когда он неверно процитировал Святое Писание.

– Энтот поэт хотел ваше пальто, Александр Павлович, умыкнуть, – не

утерпела Марфа. – И кашне! В пальто уж руки совал, а кашне вокруг выи своей бесстыжей лихо намотал. Едва содрала с него. С тех пор прячу по середам вашу одёжу верхнюю на кухне. У нас в селе таких поэтов розгами принародно воспитывали. – Подхватив поднос, Марфа вышла из гостиной.

– Мы столько лет говорили о народе, о его самобытности, благе, сломали тысячи копий, высмолили вагоны папирос, – задумчиво произнес Александр Павлович, – но, по сути, свой народ не знали. А когда этот народ революционной волной вынесло на один с нами горизонт, стали зажимать носы – воняет.

– Народ в лице Марфы, в единичном варианте, я принять готова. Алекс! Я уже несколько минут держу папиросу, а ты не подносишь мне огонь.

– Извини! – Он чиркнул спичкой. – Мне кажется, что Марфа тебя любит больше, чем меня.

Вырвавшаяся фраза была глупой, детски ревливой и выдавала Александра Павловича с головой, но Елену Григорьевну нисколько не насторожила.

– Конечно, Марфа меня обожает. А ты знаешь человека, который питал бы ко мне иные чувства? – жеманно скривилась она.

«Я! – хотелось воскликнуть Камышину. – Я давно тебя не обожаю!»

Он натянуто улыбнулся, как бы признавая ее сокрушительное очарование.

– Как-то я слишком много выпила, – продолжала Елена Григорьевна. – Ах, вино здесь преотвратительное!

– И нанюхалась порошка, которым тебя снабжает Сорока?

– Чуть-чуть. Не перебивай, пожалуйста! За чем-то отправилась на кухню. В голове сумбур. Там Марфа, женщина-гренадер, покраснелась у плиты. Я к ней близко-близко подошла, погладила по плечам и по груди...

Камышин не сумел совладать с лицом, его перекорежило.

– О, не злись! – проворковала жена. – Нарушая все правила интриги, я тебе заранее скажу, что кончилось все невинно. Так слушай! «Я ведь вам нравлюсь?» – спрашиваю Марфу. Она – «дык, дык» свои, ты понимаешь. «А знаете, – говорю, – что случается связь не только между мужчиной и женщиной, но и между двумя женщинами?»

Камышину хотелось придушить жену, стиснуть пальцами ее хрупкую шейку и услышать хруст позвонков.

– И что же Марфа? – натянуто ровным голосом спросил Александр Павлович.

– Ах, как мило! Ты меня ревнуешь! Я думала, шекспировские страсти

давно в прошлом, мой Отелло.

– И каков финал этой пошлой сцены? – повторил вопрос Камышин.

– Марфа сказала, что-де слышала про непотребства, которые с бабами в тюрьме случаются, но я-то и она-то не кандальницы! – колокольчато рассмеялась Елена Григорьевна.

Камышин встал, с шумом отодвинув стул. Вышел, ни слова не сказав.

Жена продолжала заливаться смехом.

Александр Павлович Камышин происходил из небогатых разночинцев. Отец – мелкий чиновник в провинциальной судебной палате, мать – из семьи дьякона заштатной церквушки. У них было семеро детей, четверо мальчиков, Александр – последний перед тремя девочками. Жили бедно, скудно, но приветливо, и атмосфера в семье была доброй, сердечной. Родители смысл жизни видели в детях, в их развитии, духовном и умственном. Возможно, поэтому таланты детей рано раскрылись, упрочились. Между собой братья и сестры были очень дружны, хотя не обходилось, конечно, без потасовок и мелких драк. Камышины-дети, потом подростки, были своего рода достопримечательностью их провинциального городка. Мальчики имели склонность к точным наукам и поступили в ремесленное училище (три старших брата) и в гимназию (Александр, самый способный) за казенный кошт. Девочки тяготели к естествознанию, литературе и музыке. В женской гимназии не было казенных мест, и девочки стирали белье в доме преподавателя музыки, оплачивая его уроки. Одно лето всей семьей трудились на сахарном заводе, чтобы заработать на пианино. Преподаватель естествознания давал девочкам уроки бесплатно. Стремление к знаниям было у младших Камышиных такой же потребностью, как необходимость дышать.

Казенный кошт – единственная возможность учиться, но чтобы иметь право на стипендию, ты должен быть первым. Не спать, зубрить и зубрить – получить отличные оценки. Быть первым – качество, не присущее им от рождения, в семье подшучивали над выскочками, но ради осуществления мечты стоило развить в себе честолюбие.

Один за другим, сначала братья, потом сестры оказались в петербургских учебных заведениях. Родители помогать, естественно, не могли. Государство помогало тем, что не брало платы за учебу и давало скудную стипендию, которой хватало на хлеб и квас. А еще надо было платить за жилье, покупать учебники, студенческую форму. Впрочем, форму покупали за бесценок – старую, от богатеньких студентов. Сестры ее мастерски штопали, а то и перелицовывали, корпя ночами, в кровь

искалывая пальцы, протыкая иголками добротное сукно.

Они были нищи, вечно голодны, но дружны, молоды, и родители были еще живы. Рассорили их революционные идеи, точнее – отдалили Александра, который, единственный, не принял марксистского учения. Он не верил в социалистическую революцию, а верил в промышленную. Сначала нужно с помощью машин избавить людей от черного рабского труда, а потом разбираться, кто каких потребностей заслуживает.

К моменту вынужденного переезда в Омск у Александра остались только брат и сестра. Остальные сгорели в революционной топке – от пуль на баррикадах, от штыков в Гражданскую войну, от тифа. Родители не вынесли последовавших один за другим ударов судьбы, умерли.

Александр познакомился с Еленой, когда заканчивал Технологический институт и уже точно знал, что пойдет работать на Путиловский завод. Там он проходил практику, там его знали и ждали. Безбедное житье было не за горами.

Елена поразила и очаровала его, как если бы он увидел экзотическую бабочку, порхающую на чердаке.

Бабочкой она была скорее ночной – одетая в черно-белое, газовое, струящееся, одуванчик волос и глубокие серые тени, нарисованные вокруг глаз. Чердак – большая комната Елены в родительской квартире (папа – генерал старинного обнищавшего рода, мама – из купчих, томная и постоянно жалующаяся на мигрени). По стенам висела мазня современных художников, в плохо убранной комнате на пыльных плоскостях уродливо кривились пузырчатые скульптурки, в которых с трудом угадывались изогнутые в ненатуральной истоме дамы и мужики, покореженные открывшейся им драмой мысли.

Вся эта ирония по отношению к Елене и ее обители пришла позднее. Когда же Александр Камышин случайно оказался в салоне Елены Прекрасной, он был раздавлен, сражен, убит. В первый вечер что-то малораздельно вякал, ночью плохо спал, притащился на следующий день и в последующие являлся, благо приглашений не требовалось, оглядывался, присматривался.

Елена была неземной женщиной, он *таких* не встречал и об их существовании не подозревал. Справедливости ради надо сказать, что никто, хоть чем-то похожий на Елену, ему так и не встретился.

Вокруг Елены вертелась декадентская шелупонь. Декадентство (что, кстати, означает «упадничество») было в большой моде. Соревноваться в упадничестве с Елениной свитой Александр не смог бы, даже если бы

сильно постарался. Ему претили стишки без рифм с уклоном в кладбищенские настроения, вызывал насмешливую гримасу виолончелист, который в перерывах исполняемой пьесы, языком, длинно высунутым, облизывал инструмент. Александр сдерживал хохот, когда певица, лежащая в гробу, вставала и принималась «о-окать» и «а-акать», не попадая в ноты. В семье Камышина любили и умели петь, знали множество народных песен, классических и душевных, жестоких романсов. Да и в целом полученные в детстве прививки «настоящего, правильного, гармоничного, красивого» и «честного, ответственного, правдивого» не позволяли ему кривить душой. Однако он был умен и нашел свою нишу. Буквально – в комнате Елены имелась полукруглая ниша, он туда поставил кресло, сидел, закинув ногу на ногу, курил, насмешливо щурился.

Декадентов Александр бесил, но Елена не позволяла трогать Камышина:

– Он наш верховный судия! Ах! В шокировании судии есть прелесть вкушения запретного плода.

Если Камышин отлучался и кто-нибудь усаживался в его кресло, Елена трепетно, как птичка, махала кистями:

– Освободите! Немедленно освободите! Там сидит только ОН!

Заснять Елену с ее птичьими взмахами-жестами на киноленту (тогда еще не было звукового кино) – и покажется она умалишенной, дергающей конечностями. Запиши ее голос на граммофонную пластинку – никто слова не поймет. Тонкий детский голосок, срывающийся в хрипотцу, паузы с подхватыванием воздуха в неожиданных местах, в середине фразы или слова. Всё вместе: облик хрупкой бабочки, вычурные жесты, необычной мелодики речь – сводило Камышина с ума. Не только его – всех, повально. В жестокой, трудной, изматывающей силы и нервы жизни вдруг встретить существо невесомое, не от мира сего – ни от какого известного мира – было восхитительно до щекотки за грудиной. Три года, которые Камышин добивался Елены, его преследовала мысль: «Разве можно ТАКУЮ женщину отъегорить?» А если можно, то это будет он. Он с поступления в гимназию усвоил: надо быть первым.

Единственными людьми, не поддавшимися очарованию Елены, были его сестры и братья. Только потому, что смотрели на Елену как на будущую супругу Александра. Из Елены жена, как из веника балалайка. С другой стороны, они знали, что Александр небыстро принимает решения, а приняв, никогда не отступает и добивается своего.

Обвенчались они в восемнадцатом году. Александр не тешил себя мыслью, что Елена вышла за него по любви. Он обладал профессией,

потребной при любых государственных устройствах, имел брата и сестру в большевистском правительстве, а Еленин папа-генерал после удара превратился в растение-клоуна (вот тебе, Саша, приданое). Мама Елены, забыв про мигрени, рванула через Финляндию в Париж, нисколько не заботясь о судьбе дочери и больного мужа.

Александр Камышину роковым образом не повезло с любимыми женщинами. Обе – Елена и Марфа – были фригидны, холодны в постели. Он же ценил женскую страстность и знал, как ее возбудить. С юношества понял, что лучшего, чем женщина, средства от нервного перенапряжения быть не может. Любовницы Камышина были страстными инфернальницами, а любимые женщины – стылыми рыбами.

Через три года после женитьбы Александр созрел для развода. Он и раньше желал бы проститься с Еленой, но бросить жену в лихие времена было бы подло. Тут подоспел НЭП – весной двадцать первого года краюшки подбирали, а осенью молочные поросята в витринах гастрономов на Невском пяточками красовались. Папа-генерал уже преставился, в квартире пятикомнатной Камышин две комнаты от экспроприации-подселения удержал, мигреневая мама слала письма из Парижа с замаскированными приглашениями приехать, но только прихватив ювелирные ценности. Этих ценностей у безалаберной Елены остался жидкий слой в ларце.

Выслушав Александра, который берет развод и уходит, Елена не взметнула руками-крылышками, как он ожидал, а свернулась клубочком в углу дивана:

– Как странно! – с придыханными всхлипами произнесла она. – Сегодня. Когда врач мне сказал. Что беременна. Ты меня бросаешь. Акулина... это наша прислуга недавняя... Как славно, что в жизни бывает недавнее... скучно жить в каменной постылости. У Акулины есть знакомая акушерка... Она меня избавит... Какая из меня мать?..

– Никакая, – сказал Камышин. – По сравнению с моей мамой ты как цветок в вазе и крепкое дерево.

– Цветы вянут быстро. Я с тобой абсолютно согласна. Милый, оставь меня. Дай Акулине денег, пусть отнесет акушерке. Меня все время тошнит.

Это был момент выбора, как в сказке: направо пойдешь, налево пойдешь... Причем ты точно знаешь, что справа ждет тебя постылость, а слева – свобода. Купленная ценой подлости свобода Александра не устраивала. Ребенок, которого Елена хотела убить, – его кровь.

– Если родишь, мы попробуем начать заново, – сказал он. – И прогони

Акулину, пожалуйста. Видеть не могу физиономию этой прохиндейки.

Им решительно не везло с прислугой: если не воровка, то пьяница, если не лентяйка, то безрукая имбецилка, опрокидывающая самовар ему на колени. Александра Павловича бесило, что с утра у него не было завтрака, чистой сорочки, костюма и обуви. Ему еще и кухаркой с горничной руководить?

Появление в их семье Марфы, когда перебрались в Омск, стало подарком небес.

Музыкант, повторяющий раз за разом этюд, оттачивает исполнительское мастерство. В семейной жизни попытки заново выстроить совместное существование напоминают хождение по старым граблям.

Появление Настеньки нисколько не улучшило атмосферу в доме, только к негодной прислуге добавились еще няньки-идiotки.

Причиной их переезда в Омск, напоминавшего бегство, сломавшего карьеру Камышина, была Елена, вокруг которой вечно крутились «люди искусства». Ей не удавалось заполучить на свои вечера литераторов, художников и режиссеров первой величины, только всяческую шелупонь, певшую осанны Прекрасной Елене. Среди «людей искусства» было немало провокаторов и доносчиков. Чем беднее талант, тем подлее его носитель.

Старший брат, работавший в Ленсовете, приехал к Александру на завод и сказал, что в ОГПУ имеются сведения, будто в доме Александра зреет контрреволюционный заговор. Брат предупредил, отчасти поступившись принципами, только потому, что от их большого семейства остались всего трое, и потому, что и Александр, и его жена всегда были далеки от политики. Однако, попав под гусеницы пролетарского террора, будут наверняка раздавлены.

Александр с семьей спешно выехал в Омск – налаживать производство сельскохозяйственных машин. Новая работа была далека от его прежних профессиональных интересов, однако освоился он быстро.

Камышин был честолюбив, но не тщеславен. Сам по себе карьерный рост, восхождение по лестнице должностей его мало заботили. Его честолюбие отдавало провинциальностью – «я должен уважать себя сам, а меня должны уважать те люди, к которым я питаю аналогичные чувства».

Возможности Сибири потрясали, он их изучил по книгам и справочникам в пути и в первые месяцы на новом месте. Раньше об этом крае Александр не задумывался, как и не интересовался сельскохозяйственной техникой. Теперь же ему казалось, что если сибирскому крестьянину дать в руки орудия интенсивного труда, он

накормит не только Россию, но и всю Европу.

Возможности были гипотетическими, а два объединенных заводишки и мастерская имели станки, над которыми только слезы лить. С другой стороны, где в российской провинции лучше? И это тоже вызов. Александр с детства привык отвечать на вызовы. Правительство закупало передовое оборудование за рубежом. Если правительство не сборище профанов, оно должно часть импортных станков направить в Сибирь. Александр червем проел костяные башки окружного руководства, слал телеграммы и письма в Москву в те инстанции, куда не имел права обращаться по рангу занимаемой должности. Он радовался новому кузнечному прессу, токарному или фрезеровочному станку так, как не радовался рождению дочери. Станки без станочников – груда металла. Сказать, что квалифицированных рабочих и мастеров не хватало, значило признать: жаждущему человеку достаточно капать воду в рот из пипетки.

Камышин организовал систему заводского образования. Сам преподавал мастерам, те, в свою очередь, вели занятия с самыми смышленными рабочими, многие из которых были вчерашними крестьянами. По наблюдениям Камышина, в группе из десяти человек встречались один-два одаренных и перспективных. После нескольких лет практики, получив дополнительные знания на курсах, они вполне могли занять должности мастеров. Богатство России, считал Камышин, не в недрах зарыто. Недра – это Божья милость избранным, как чудо появления фортепиано у колыбели гениального композитора. Если бы у Моцарта не было клавирина и отца-музыканта, из Вольфганга Амадея вырос бы заурядный бюргер. Богатство России ходит на двух ногах, имеет золотые руки и светлую голову.

Проиграв Петру две партии, третью Александр Павлович с трудом свел до ничьей – Петр опаздывал на смену. Гыгыкая, муж Марфы потрусил из квартиры.

– Хоть у младшего Медведева, у Митяя, я пока выигрываю. – Собирая чудные фигуры в деревянную коробку с резьбой, Александр Павлович бросил взгляд на мальчика, мирно спящего на лавке в углу.

Встал, подошел к Марфе, уткнулся ей в шею, втянул пряный родной запах.

– Не надоть боле, – сказала Марфа, отстраняясь.

– Как не надо? Почему?

– Чижолая я, на сносях.

– В каком смысле? – растерялся Александр Павлович.

– В известном.

– Ты беременна? От меня?

– Вам это без трудностей и забот обойдется.

– Погоди, погоди! Черт, голова кругом! Давай по порядку. Я, знаешь ли, человек твердой логики. Полностью отдаю себе отчет, что ты со мной... сошлась из чувства благодарности...

– За что? – искренне удивилась Марфа.

– Вовсе не потому?.. Что ж ты раньше молчала, я совершенно совестью изболевся! Тогда, значит, по иным причинам, потому что я тебя привлекаю как мужчина? Верно?

– Ребеночка я изжелалась, мочи нет. А Петька мой неспособный.

– Ты меня использовала как... как быка-производителя? – задохнулся Камышин.

– А то вы меня не использовали! – вернула упрек Марфа. – Сколь всяких слов про удовольствие говорили. Шли бы вы, барин, поздно уже.

– Ты!.. – мотал головой и не находил слов Камышин. – Ты меня унизила! Дура деревенская!

Он бросился к двери, врезался в нее, забыв открыть, развернулся и снова приблизился к Марфе:

– Прости! Сам не знаю, что несу. Марфинька! – Он сделал попытку обнять ее, но Марфа шагнула назад, всем видом демонстрируя неприступность. – Ты не можешь меня просто так выставить, а я – просто так уйти! Чего ты хочешь?

– Ничего. Вам, барин, почивать пора.

– Я тебе не барин! Не строй из себя крепостную крестьянку и не делай из меня помещика-самодура! Чего ты хочешь? Станешь шантажировать меня, Елене донесешь?

Марфа поменялась в лице и проговорила медленно:

– Ежели вы Елене Григорьевне хоть полсловом обмолвитесь, собираю вещи и в деревню возвращаюсь.

Камышин нервно рассмеялся:

– Самое забавное, что я желал бы твоего шантажа, а как отнесется Елена к нашей связи, мне наплевать.

Он заговорил о том, что любит ее, что она женщина, о которой мечтал, вернее, даже не мечтал, что переживает такое блаженство рядом с ней...

Марфа подавила зевок и сказала:

– Сорочку я вам на завтра в тонкую голубую полоску приготовила, все белые рубахи по манжетам истрепались. Новые будете покупать или подштопать мне?

Оборванный на полуслове, Камышин задрожал, зажмурился:

– Мне хочется тебя убить. От бессилия!

– Лишнего не след говорить. А силы, они не безграничные, за день так ухряпаешься, что только до постели доползти. – Она снова, теперь уже не таясь, широко зевнула.

Камышин и потом несколько раз пытался вести с Марфой разговоры об общем будущем. Предлагал женитьбу, говорил, что ее ребенок – и его ребенок тоже, поэтому он имеет право... Чем сильнее Камышин напирал, тем большее раздражение вызывал у Марфы. Она смотрела на него как на досадливую муху, которую не прогнать.

Очень редко удавалось добиться от нее какой-то внятной реакции.

– Какая я жена вам? Соловью телега. За мой грех окружающие: Настя, Митяй, Петр да Елена Григорьевна – страдать не обязаны.

– Скажи мне откровенно! – потребовал Александр Павлович. – Какие чувства ты ко мне питаешь?

Марфа ответила небыстро, но твердо:

– Уважаю.

* * *

Ее первые роды едва не окончились смертью, только благодаря Василию Кузьмичу она и Митяй остались в живых. Возможность того, что второй ребенок ее похоронит и сам не выкарабкается, была очень велика, и Марфа эта прекрасно понимала. Однако нестерпимое желание ребенка пересиливало все страхи, отшибало все разумные мысли.

Марфа считала, что, выпади ей другая судьба, то есть нормальный муж, она, Марфа, стала бы родливой бабой, каждый год по ребеночку приносила бы на счастье и радость. Она бы в Бога верила и не грешила. От того, что детки не рожались постоянно, два случившихся набирали у нее под сердцем рекордный вес – как бы за всех неслучившихся. Врачи посмеялись бы над ее умозаключением, но Марфа не спешила с ними делиться.

Когда весной тридцать второго года пришло время рожать, Марфа явилась в больницу с узелком и сказала акушерке:

– Тут мое смертное, в чем в гроб положить. Слезно прошу, тетенька, чтоб мне панталонов не пододели!

– Что вы несете? Не рожать, а помирать вздумали? Первый раз, что

ли?

– Второй, потому и приготовилась.

После пяти часов чудовищных мук Марфы акушерка привела врача. Было близко к полуночи, врач восемь часов оперировал железнодорожных рабочих, на которых опрокинулся состав. Он послал акушерку к черту, собираясь завалиться на стульях в красном уголке – вместо ординаторской у них теперь была комната для собраний, политучебы и самодеятельного театра. Но акушерка сказала, что баба молодая, повторнородящая, пришла со «смертным» и очень просила в гроб ей панталоны не надевать.

– Да? – удивился врач. – А чем ей панталоны не угодили?

– У сибирячек они считаются атрибутом проституток.

– Любопытно. Ну, пошли смотреть на святую нравственность.

Не исключено, что на сей раз панталоны, то есть их отрицание, спасли Марфе жизнь.

Осмотрев ее, врач сказал:

– Сама великанша, и ребенка вырастила, как на продажу. Готовьте операционную, будем делать кесарево сечение, а я полчаса... Нет, если усну, то не добудитесь. Чай – помои, кофе – отвратный. Чем прикажете подстегнуть себя? Так врачи морфинистами и становятся. Несите шприц.

Очнувшись после наркоза, который был как сказочный сон с игривыми катаниями-летаниями на разноцветных облаках, Марфа почему-то точно знала, что из чрева ее извлекли мальчика, крепенького и здорового. И еще знала, что сама она тоже как заново родилась. Больше не будет греха – соитий с чужими мужиками, два ее сыночка – все отпущенное ей материнское счастье, хоть и имела желание много деточек произвести на свет. Она точно спустилась с пестрых облаков на землю, надежно приземлилась на ноги, чуть согнув их в коленках. Так она стояла, когда зарод в три ее роста с одной стороны жердями еще не укрепили, а шла гроза и ветер поднялся ураганный. Марфа граблями с длинным-длинным черенком держала зарод, чтобы сено не разметало, мужики подтаскивали жерди, Анфиса Ивановна их торопила, покрикивая. Степан тогда сказал: «Однако, ты, Марфа, – сила!» И улыбнулся ей. Его улыбок, лично ей подаренных, было наперечет, и каждую она помнила.

Сына крестили Степаном, а Медведев Степан, роковая любовь Марфы, был провозглашен крестным отцом. У купели не стоял по идейным опасениям, но отцовство крестное над племянником принял.

Александр Павлович напрасно обвинял Марфу в холодности. Просто она была женщиной одного мужчины – Степана. Когда Степан случайно

касался ее – пронзало так, что вздрагивал каждый волосок на голове и трепетали пальцы ног.

Камышин, будучи подшофе, когда в компании в очередной раз зашла речь о положении женщины, о необходимости эмансипации, рубанул с плеча:

– Бросьте! Чушь! Природные женщины невероятно выносливы. Крестьянские бабы рожают в поле, освобождаются на неделю от тяжелых работ, но ни на день не исключаются из повседневных. Моя Марфа на пятый день после родов, после чревосечения, мыла полы на общей лестнице в доме, потому что ей, видите ли, претит, что «всяк варнак грязницей по ступенькам шлепает».

– Твоя Марфа, – уточнил один из приятелей, – это кто?

– Наша прислуга, – подавился нервным смехом Камышин.

Степан Петрович Медведев с младенчества, а с годами все больше и больше подозрительно походил на Александра Павловича Камышина. Это сходство отмечали многие, но не Елена Григорьевна. Или она предпочитала не замечать, как отбрасывала все, противоречащее мирку, в котором существовала.

С другой стороны, никто, даже охладевший к ней муж, не мог уличить ее в лукавстве, в игре. Точнее – игра была ее постоянным состоянием. Она была необыкновенной, уникальной женщиной. Но людям обыкновенным, живущим не в праздниках, а в буднях, было непросто с Еленой Григорьевной.

Студентка Пирогова-Сибирячка

Нюраня вышла замуж по расчету весной тридцать пятого года. Она долго ждала Максимку Майданцева: приедет за ней, увезет домой, или они останутся жить в Расее. Нюраня не задумывалась о том, каким образом Максимка может найти ее. Собственный путь в Курскую губернию врезался в память и казался единственным, точно русло реки. Максимку, как сказочного героя, должна была привести любовь. Их любви, необъятно громадной, нельзя поставить границы, сдержать ее, захомутать. Абсолютная вера в Максимку три года питала Нюраню, давала силы и надежды.

Где товарищ Проша высадил Нюраню, сибиряки не знали, а писем на родину она не писала. Ольга Ивановна говорила, что это опасно. А тут еще Нюраня насмотрелась горя: курские земли были объявлены зоной сплошной коллективизации, которая проводилась в рамках кампании широкого раскулачивания. В отличие от Сибири, должна была признать Нюраня, в Расее действительно были кулаки-мироеды, эксплуатировавшие бедняков, наживавшиеся и богатевшие на нищете, не дававшие односельчанам выбраться из нужды. Но это все-таки были сильные крепкие хозяйства сметливых тружеников, и обдирать их до нитки, выгонять из домов с малыми детьми, расстреливать протестующих или отправлять в ссылку покорных было жестоко.

* * *

Однажды, вчитываясь в очередное распоряжение, доставленное из Курска, Ольга Ивановна пробормотала:

– Охматмлад – как вам нравится? Охрана материнства и младенчества! Хорошее начинание, разумные меры, но как назовут, так хоть стой, хоть падай. Это даже не эзопов язык, а выражения заик.

– Эзопов – как латынь? – спросила Нюраня.

Она преклонялась перед латынью – языком медицинской науки.

Выслушав про Эзопа, про иносказания, Нюраня задумала написать в Погорелово письмо, используя метод древнего баснописца. Несколько недель мысленно сочиняла. Адресовала Тусе – матери Прасковьи, себя назвала «той девкой что вам шанежки от матери сперла а потом вы свои

принесли мать ими давиться заставила». Писала, что состоит при «анбулатории по месту своего судьбы призвания», и слезно просила поведать о родных и близких, а также «про самого могутного лучшего богатыря всех времен и народов». О Сталине уже говорили как о вожде всех времен и народов. Нюраня радовалась, найдя правильное эзоповское определение Максимки.

Получив письмо – событие нечастое, – прочитав и ничего не поняв, Туся перепугалась. Они привыкли бояться, отвыкли радоваться. Радость могла сглазить спокойствие и накликал новые беды.

Пришла с улицы дочь Катя, обнаружила мать, трясущуюся над листочком, забрала, прочитала, тоже ничего не поняла, ругнулась – теперь молодежь в словах была вольнее, чем прежде. После третьего или четвертого прочтения Катерина воскликнула:

– Дык это Нюраня! Я помню, как она шанежки нам принесла, а потом выяснилось, что ворованные. Ты у соседки муки заняла, напекла своих, пошла отдариваться. Анфиса Ивановна Турка в твои шанежки Нюраню носом тыкала и жрать заставляла. Нюраня голосила, давилась...

– Точно! Нюраня! Но чегой-то она пишет так, как будто ей дверью башку зашшибило?

– Тому, наверное, политические обстоятельства.

– Ага, – кивнула Туся.

И несколько часов, выполняя привычную домашнюю работу, думала, как правильнее будет поступить.

Отозвала вечером дочку в куть и зашептала:

– Возьмем грех на душу, Бог нас простит, не станем говорить Степану и Парасе про это письмо.

– Почему же?

– Дык если бы Нюраня могла, разве она бы им лично прямо не написала? Сама говоришь – политически обстоятельства. Они заразны, хуже краснухи, всех свалят.

– Однак, ответить она-то просит!

– Ответим, також мудрено.

Мудреный ответ заставил их поругаться, помириться раз десять и растянулся на неделю. Туся, словоохотливая сказительница, и дочь ее, перенявшая от матери любовь к сказкам и былинам, устно могли бы про каждое действующее лицо, которое требовалось указать в письме, сочинить характеристику, но только доходило дело до писания, они терялись. Вольная речь – как полет птицы, письменная – как кузнечнаяковка:

неверно настучал молотком, не исправишь, застыло.

В итоге пришли к соглашению, что имен называть не будут и только изложат факты. На собраниях-диспутах в комсомольской организации секретарь, в которого Катя была тайно влюблена, призывал к порядку-регламенту ораторов: «Хватит горло драть! Излагайте факты!»

Особенно трудно далось начало письма, в котором по неписаным, но строгим законам следовало отдавать поклоны. Кому? Искрошились умами.

Коров доили, птицу загоняли, огород пололи, варили, пекли, дом или двор мели и все перекрикивались.

– Туркинская дочь? – предлагала Туся.

– Дык это сразу понятно! – фыркала Катя. – Анна, дочь Еремеева?

– Ышшо понятнее!

Перед их двором с повалившимся заплотом остановилась соседка:

– Про кого баете? Не про Нюраню Медведеву?

– Телочке имя подбираем, – быстро ответила Туся.

– Дык рано! До отелу-то еще полгода.

– Заранее теперь велено, – нашла Катя. – Чтобы не было политически вредных имен.

– Осподь! – перекрестилась баба и потрусила прочь. – Храни нас Царица Небесная!

Стоило только упомянуть политику, у сельских баб отшибало способность мыслить трезво.

Имя телочке – это опять-таки воспоминание о Нюране-голубушке...

Отел и окот зимой – события долгожданные, волнительные, тревожные. Ночь-полночь хозяйка и домашние в хлев бегают смотреть, не началось ли. Теленок, козочка или барашек новорожденные до ущемления сердца трогательные. Губошлепы, и все с лаской, с теплой лаской – лизать, сосать, чмокать... Имя телю или телочке придумывать детворе и молодежи очень нравилось.

В последний отел перед тем недобрым летом, которое подрубило Анфису Ивановну, Нюраня возьми да и скажи матери:

– Что у нас всё Зорьки да Пеструхи, Ночки да Маньки? Давайте дадим современное имя!

– Ну-т-ка? – ухмыльнулась Анфиса Ивановна.

– Коммунистка, например, или Большевичка.

– А, давай! – неожиданно легко согласилась Анфиса Ивановна. – Когда эта Комунистка подрастет да норы показывать станет, я ее прутом-то постегая! А бычка Партеец наречем, через год прирежем, на мясо пустим.

Туся с дочерью поняли, что не сдвинутся с места, если не найдут Нюране определения. Измучились и обратились к ней в первых строках: «Девушка с шанежками». Далее пулеметной очередью излагались факты, мол, мать ваша взошла на костер и погибла вместе с домом, доктора–приживальщика еще ранее из револьвера птичьего имени варнак пристрелил, отец ваш, как сказывают, на этапе замерз, а у старшего брата вашего родился мальчик, также у среднего прибавление в количестве одного мальчика, а могутный богатырь вами интересуемый на Троицу женился. В конце шли поклоны и пожелания доброго здоровья.

Туся, когда письмо было закончено, вздохнула облегченно, листок аккуратно сложила и в конверт запихнула, смочив клейный уголок языком.

Катя рыдала. От невозможности передать Нюране, что Максимка, обнаружив увоз любушки, умом повредился и волком выл, не стесняясь. Потом ребят организовал в банду, в тайгу ушли, вознамерились убивать красноармейцев, что раскулачивание творят. Хорошо, Степану Медведеву про них сообщили. Степан с мужиками коммунарскими эту банду, не успевшую большой крови пролить, отловил, парней за шкуру в Погорелово приволок, матерям раздал, напоследок ниже спины пинок выдав. Максимку с собой забрал, и жил он у него в семье как родственник, под неуглядным присмотром. Говорят (сплетникам-то языки не пришьешь), что Степан Максимку поначалу кулаком воспитывал, но потом все больше речами. Мол, если бы Нюраня была жива и здорова, то обязательно весточку прислала бы или как по-другому дала бы знать, где находится. Степан смирился со смертью родителей и сестру тоже считал погибшей на недобрых просторах Расеи. Жену Максимке Степан сам выбрал – Акулину. С тремя детьми и на пять лет старше Максимки. Муж Акулины на сплаве леса погиб, когда по Иртышу бревна гнали. Бабы коммунарские повыли-поплакали на похоронах, а меж собой шептались: избавление ему от такой шальной супруги. В связи с этим и мнение в Погорелове было: Степан Акулину за Максимку с глаз долой отдал, потому что Парасю при виде Акулины трясьмя трясло. Но и другое мнение имелось: майданцевские бабы без Максимки совсем вразнос пошли, бабка Аксинья не сдюжила, преставилась, в большом доме воцарилась «садомоганора».

Степан Медведев туда Максимку с новоиспеченной женой отправил. Акулина, по слухам беременная, по срокам – уже от Максимки, из его теток да сестер двоюродных колхоз организует. Имени Розы Люксенбург (кто такая? Не иначе, жидовка), с правлением в доме Майданцевых, с правом вступления всех желающих, с председателем Максимкой. Очков не надо:

Акулина втрескалась в Максимку до беспамятства, как собачонка на задних лапках перед ним кружит.

Получив ответное письмо, Нюраня слегла. В точности как Анфиса Ивановна в свое время. Но у Анфисы Ивановны жизнь на закат шла, а у Нюрани еще только на восходе светилась.

Ольга Ивановна по несколько раз на день заглядывала к Нюране, говорила, что отчаиваться не надо, что женская судьба состоит из коротких мигів радости и долгих периодов оплакивания потерь.

– Анна Еремеевна, – спрашивала акушерка, – как вы себя чувствуете?

– Как морковка, – тихо отвечала Нюраня, – или брюква...

– У вас слегка повышена температура, и бредить вы не можете. Что за овощные фантазии?

– Морковку когда из земли тянут, она еще тонкими корешками держится, они рвутся – больно.

– Сравнение, пожалуй, уместное. Во-первых, плод созрел и ему пора на воздух. Во-вторых, эти корешки судьбоносной роли не играют, и обрыв их не может быть слишком болезненным. Вот если бы вы сравнили себя с березой, которую выдирают из земли, я бы задумалась над тем, чтобы прописать вам успокаивающие средства. Продолжим овощную тему. Будучи очень далека от сельского хозяйства, я долгое время не могла понять, откуда берутся семена моркови или той же брюквы. Корнеплод в земле, сверху зеленый кустик без соцветий и, стало быть, семян. Оказалось, что морковь на следующий год сажают в землю, она зацветает и дает семена. Все это, хотя и в переносном смысле, имеет к вам непосредственное отношение. Вам давно следовало проститься со старой жизнью, выбрать новую – погрузиться в почву, зацвести и дать семена. Задача ваша заключается в том, чтобы не быть схрумканной между первым и вторым циклом.

Ольга Ивановна позволила Нюране два дня предаваться горю в постели. На третий пришла и сдернула одеяло:

– Вставайте! Привезли роженицу с кровотечением. Надо постараться спасти женщину, у нее трое детей и муж – инвалид безногий. Если баба помрет, вслед за ней погибнет все семейство. Марш руки мыть!

* * *

Нюраня переменилась, повзрослела. Раньше она летала по больничке,

по двору, а теперь быстро ходила. Прежде устраивала разносы нерадивой Дусе с доброй насмешкой, а теперь злилась нешуточно и позволяла себе непечатные выражения. Бывшая фонтаном энергия не покинула Нюраню, но ушла вглубь и поменяла направление. По наблюдениям Ольги Ивановны, у Анны Еремеевны обострилась и упрочилась лекарская интуиция. Неграмотная девушка практически безошибочно могла предсказать исход болезни того или иного пациента. Подобным качеством обладал муж Ольги Ивановны. Очевидно, интуиция – неотъемлемая часть лекарского таланта. Это не означало, что Анна Еремеевна не совершала ошибок. Ее знания были скудны, а больных слишком много.

Прошли времена, когда Нюраня, не зная курского говора, терялась и краснела.

– Ой, ниможиць, кутник лезя, – держалась за щеку баба. С равным успехом она на китайском языке могла бы сообщить, что растущий зуб мудрости доставляет страдания.

– Абризал кружовник, – протягивал мужик палец, замотанный тряпкой, – колок упился, теперя нрывать.

О крыжовнике Нюраня слухом не слыхивала, но уже знала, что «колок» называют бодливую корову или козу. Надо постараться, чтобы напавшее на тебя животное поранило только палец. Оказывается, «колок» – это еще и колючка.

«Кутырка» – нога («Дохтор, нимаху на кутырку стать!»). «Ямки» – ухват, «вожба» – оглобля, «клёпки» – ресницы, «захолод» – студень, и так далее. У них сарафан почему-то называется «шубки», женский полушубок – «кубанка», а «кубатка» – хлеб, испеченный в домашней печи.

Невольно вспоминался Василий Кузьмич, нередко попадавший впросак из-за незнания сибирского говора. Нюране свой говор казался правильным, а речь курян – дремучей.

– Дикие люди, – возмущалась она, – анбар называют инбаром!

– Строго говоря, – улыбалась Ольга Ивановна, – правильное произношение – «амбар».

Анна Еремеевна в хорошем настроении насмешничала над кундюбой (нерадивой, медлительной) Евдокией, передразнивая курский говор: «Дуськя! Бяри вядро, няси у клеть. Твой Колькя чайкю ящѐ не апился?»

Нюраня постоянно вспоминала Сибирь как край всеобщего благоденствия и порядка: «Да у нас в Сибири такого отродясь... В Сибири вас бы на смех подняли... В Сибири соломой и скотное жилье не кроют, а вы тут хаты...» – и получила прозвище Сибирячка. Ей не очень верили, когда она расписывала сытое сибирское житье, – в представлении курян то

были края суровые, каторжные.

Однажды Анна Еремеевна прибежала к Ольге Ивановне со слезами:

– Они меня называют «вóрог Сибирячка»!

– «Вóрог», – улыбнулась акушерка, – означает не только «враг», но и «лекарь, знахарь». Меня в свое время тоже шокировало, когда приходили с заявлениями: «Был на селе вóрог, травмы личиль, малитви. Преставлсь». Можете гордиться своим званием.

Экстерном сдать экзамены на медсестру в курском медицинском техникуме Нюраня не решилась. Зачеты требовалось получить по тридцати предметам: от латинского языка до венерических заболеваний. Некоторые названия ей вообще ничего не говорили. «Десмургия и механургия» – что оно такое? Оказалось, правила лечения ран, наложения повязок и вправления вывихов. Как раз то, что она умела делать лучше всего – руками; объяснить и описать свои действия правильными терминами не могла. Названия вроде «патологическая анатомия», «эпидемиология» или «бактериология» ставили ее в тупик. Заниматься с Ольгой Ивановной не получилось, при огромном потоке больных просто не оставалось сил и времени. Но самое главное – у Нюрани не было паспорта или какого-то другого удостоверения личности.

Доктора в их больничку так и не прислали. Нехватка врачей в области была отчаянной. Поэтому в тридцать пятом году было решено открыть в Курске мединститут. Ударными темпами достраивали и перестраивали ту самую тюрьму, которая напугала Нюраню в первый день прибытия. По районам агитировали фельдшеров и акушеров поступать в институт. Нюраня не могла претендовать из-за отсутствия документов, хотя учиться желала страстно.

Весной к ним по жалобе явился сотрудник НКВД. Ольга Ивановна из прошлой жизни вынесла необоримый страх перед представителями власти с наганами. Нюраня не боялась никого и ничего. Да и кляузу накатал один из Нюраниных пациентов.

Она уже не называла всех подряд больных «миленькими» и «голубчиками», не уговаривала, точно дитяток, потерпеть. Лекарский инстинкт, чуткое восприятие посторонней боли научили с каждым разговаривать по-разному.

Тот мужик стонал безостановочно от раны на бедре. Заехали ему косой, но не глубоко, зашивать не потребовалось. Нюраня царапину обрабатывала, дядька от каждого прикосновения верещал как поросенок.

– Что ты, дядя, блажишь, дергаешься от ерундовой боли? Заставь тебя

рожать, перенести муки, которые твоя жена сдюжила, – наверное, отгрыз бы свой уд, сжевал да проглотил. Ерой колхозного труда! – обругала его Нюраня.

Они, куряне, всеобщей коллективизации новые труженики, так говорили: вместо «колхоз» – «колхоз». И дядя был «колхозным» бригадиром, мелким начальником. Мелкие всегда самые гадостные. Кляuzu наката, хотя к Нюране регулярно на перевязки являлся, но она его в конец очереди ставила.

– Есть мнение, – говорил проверяющий, – что вы оказываете помощь, вам по рангу не положенную. – Он заглянул в блокнот, картинно распахнутый на столе, и прочитал: – Врачебную. А по-вашему медицинскому статусу обязаны только доврачебную!

– Вы совершенно правы, – бледные губы Ольги Ивановны задрожали. Под столом она теребила носовой платочек. – Но если мы не можем отказать... конечно, если не можем...

Нюраню батистовый платочек Ольги Ивановны, утирочка носовая, которой она дорожила, потому что там инициалы погибшего мужа были вышиты, а теперь на нитки рвала, взбесил.

– Ах, тудыть-растудыть! – вскочила Нюраня. – Как вас?

– Емельян Афанасьевич Пирогов. Я уже представлялся.

– Пошли! Представлялся он!

Нюраня схватила его за плечо, оторвала от стула, поволокла к выходу из комнаты. Емельян Афанасьевич был крепким мужиком, но и Нюраня не из слабых. Китель его вздернулся, и воротник напoлз на лицо.

У двери Емельян Афанасьевич все-таки вырвался, одернул китель и рявкнул:

– Что вы себе позволяете?!

– Дык иди! Скажи им! В коридоре человек десять да на улице тридцать! Скажи им, что тут по штату только акушерка! Спроси, кто рожают! Остальных в Курск за врачебной помощью отправь. Как они свои дела домашние да колхозные бросят? На чем поедут? Может, на твоей лошади, что сейчас нашего Орлика бесценного овсом объедает, а дядя Коля слезы льет?

– Попрошу... попрошу ваши документы! – выпалил Емельян Афанасьевич.

– Документы ему! – еще пуще зашла Нюраня. – Али я не видела, на какие ты документы, – она захватила свои груди ладонями снизу и потрясла, – пились! Так и пились, Ольга Ивановна, так и пились!

Емельян Афанасьевич, пригвожденный неопровержимым фактом,

застыл с открытым ртом. Нюраня продолжала кричать, что у них крайняя нехватка медикаментов, ваты, бинтов – самого элементарного и необходимого. Что многие инструменты ржавые, а иголки для инъекций тупые («Тебя бы, проверяльщик, ими поколоть!»), что операций сложных они не делают, а каждого пациента в журнал записывают («Возьми-ка почитай! По сорок человек в день обращаются!»), что вправить вывих или зафиксировать перелом костей без смещения, рану обработать и зашить любая медсестра может и обязана...

Нюране нечего было терять – родители погибли, любимый женился на другой, учиться на врача мечтать не приходилось.

Ольга Ивановна, наблюдавшая схватку, вначале испуганная до обморока, вдруг подумала, что они, Анна Еремеевна и Емельян Афанасьевич, в сущности, еще молодые люди, задиристые и горячие, она же, как взрослая женщина, должна остановить это глупое противостояние.

– Емельян Афанасьевич! – подошла к ним Ольга Ивановна. – Позвольте пригласить вас разделить с нами трапезу, то бишь отобедать.

Нюраня фыркнула и получила быстрый грозный взгляд начальницы.

– Вначале, если не возражаете, я покажу вам наши владения. Анна Еремеевна тем временем сообщит пациентам, что сегодня приема не будет, а затем поможет Евдокии накрыть на стол.

Нюраня издала протестующий хрюкающий звук. Минуту назад яростная, всклоченная, под взглядом начальницы присмирела, покорно кивнула, даже как будто ростом ниже стала.

Эта смена состояний Нюрани настолько поразила Емельяна, что всю последующую жизнь он безуспешно надеялся увидеть повторение.

Емельян к ним зачастил. Приезжал с гостинцами. По наущениям Нюрани (вместе с ней) ездил по селам и наганом тыкал в харю мужикам, которые жен истязали, а бабам, которые плохо за ребятишками смотрели, обещал тюремное содержание.

Хорошее было время: начало лета, степь зеленела и цвела. Что твое море райское. Нюраня, привыкшая к окружению лесов, побаивалась просторов, и Емельян, обнимая Сибирячку за мускулистую талию, погоняя лошадь, кричал во весь голос: «Про-рвё-мси!»

Емельян был прост, незамысловат, не очень умен, скорее сметлив на бабий манер. Ведь женщине редко даются премудрости математики, зато она держит в голове сотни мелких хозяйственных забот, помноженных на календарные уроки и климатические зависимости. Внешностью Емельян обладал тоже невыдающейся – среднего роста, жидковолос, белокрыс, с

ранними залысинами. Он был незапоминающимся мужчиной и обратил свою незаметность во благо – в НКВД пребывал на мелкой должности, вроде порученца, находился в тени, бури, сотрясавшие властные органы, проносились над его головой.

Предложение руки и сердца Емельян сделал уже в третий свой приезд. Нюраня в ответ только фыркнула.

– А если тебя, девицу сомнительного происхождения и прошлой жизни, не имеющую документов, к ногтю прижать?

Нюраня не испугалась угрозы, только презрительно удивилась:

– Неужели ты на это способен?

– Ради любви и чувств люди на многое способны.

– Что ты знаешь о любви? – горько вздохнула Нюраня, вспомнив Максимку, чьи прикосновения заставляли ее трепетать каждой жилочкой. От редких, по ее противлению, объятий и поцелуев Емельяна ничего не трепетало.

– Больше, чем хотел бы, знаю, – ответил Емельян. – Искушила ты меня, Сибирячка. Выходи за меня! Под мою защиту. Волосу с твоей головы не дам упасть и по гроб жизни стану беречь тебя.

Нюраня неожиданно задумалась. Сорвала полевой цветок и принялась медленно отрывать от него листочки, потом лепестки.

– Через неделю приезжай, – наконец заговорила Нюраня. – Ответ дам. Хотя постой! Наперед скажу. Хороший ты человек, Емеля, не семи пядей, но добрый, не могутный, да и не подлый. Только нет у меня к тебе сердечной тяги.

– Стерпится, слюбится.

– Разве что. – Нюраня встала с завалинки, на которой они сидели, отряхнула юбку и повторила: – Через неделю.

Ольга Ивановна, которой она призналась, что Емеля сделал предложение, спросила:

– Вы его любите?

– Ничуточки.

– Тогда зачем? Хотя в нынешних обстоятельствах... бывают... случаются... крепкие браки по расчету.

– Точно! – воскликнула Нюраня и стукнула себя по лбу. – По расчету! Я все слово это вспомнить не могла, в голове «баш-на-баш» вертелось.

Она и Емельяну, когда тот явился взволнованный, в новой форме, в сапогах, подстриженный и чисто выбритый, заявила:

– Выйду за тебя по честному расчету. Коли выйду, то верна буду. Могилами родителей поклянусь. Те могилки мне вдесятеро святы, потому

что не довелось пролить на них дочериних слез. От тебя же попрошу содействия в исполнении моей самой крепкой мечты. Я доктором хочу стать, в Курске институт открывают, помощи поступить.

– Про-рвё-мси! – завопил Емельян, облапил Нюраню, оторвал от земли и закружил.

Его радость была бурной, откровенной, честной и чистой, но Нюраню не растрогала. Она «баш-на-баш» отдавала свою женскую судьбу за мечту.

– Ну, хоть сколько-то, – допытывался Емельян, – я тебе глянусь?

– Фамилия мне твоя очень нравится. Ее носил знаменитый хирург Пирогов. Василий Кузьмич, это наш сельский доктор, мой первый учитель, рассказывал, что Пирогов клал стопку бумаги, взмахивал скальпелем и точнехонько только первый лист пополам располосовывал.

Провожали Нюраню со слезами. Ольга Ивановна плакала беззвучно, расставаясь с девушкой, которая заменила ей дочь, мужа – всех самых близких и давно погибших, которая заставила встрепенуться заскорузлое от горя сердце, наполнила его новой кровью. Дуся, как подозревала Нюраня, рыдала не без облегчения: огородные работы в самом разгаре, а надзирать за ними будет некому.

– Ты мне! – погрозила Нюраня, сама слезами захлебывающаяся. – Дядя Николай, вы тут строжьте ее, а то другорядь станет на ходу засыпать.

– Обеспечу, – пообещал конюх и вытер морщинистые щеки пальцами, напоминавшими корни.

Подтянулись окрестные бабы, прослышавшие, что Сибирячка замуж в Курск отбывает. Кланялись, желали счастливой семейной жизни.

Нюраня тихо попросила Емельяна раздать им мелкие деньги. Прижимистому Емельяну подобные траты показались излишними, но спорить не стал – одарил присутствующих.

Емельяну хотелось скорее закончить тягостное прощание, усадить Нюраню в тарантайку, помчать в город, ввести в их новый дом – крепкую чистую хату с небольшим подворьем, со старым садом. Емельян договорился с хозяйкой снятой хаты, что та за небольшую плату будет убирать, готовить еду, а Нюраня заживет барыней.

Она не хотела устраивать свадебного гулянья, но Емеля сказал, что перед товарищами будет неудобно. Сам продукты и вино купил, стряпуха нанятая и хозяйка хаты наготовили угощений.

Товарищи, познакоившись с новоиспеченной супругой Пирогова, не могли скрыть своего удивления: экую паву отхватил! И чем больше пили,

тем их удивление становилось откровеннее и циничнее, все больше унижало Нюраню, которая сидела изваянием, как и положено новобрачной, и ее мужа, который чином был всех ниже.

Правильно мама говорила:

– Пьяный мужик, будь он хоть генерал, хоть ямщик – один идиот!

Нюраня ее как-то спросила:

– А царь?

У Анфисы Ивановны на непотребные вопросы был один ответ – затрещина. Сейчас Нюраня тысячу затрещин стерпела бы, окажись с ней мама, отец, работники дядя Аким и Федот, братья Степан и Петр с женами, крестная и крестный, двоюродные сестры, подружки – всех не перечислить.

И Максимка! Пусть бы, злодей, в глаза ей глядя, в порошок зубы перемолол – за трусость свою, за надругательство над их любовью.

У большинства товарищей были жены, тут же присутствовавшие, но это не мешало произносимым здравицам и тостам становиться все двусмысленнее и наглее.

Нюраня скосила глаза на мужа: пьянехонек, издевок не улавливает. Счастлив до оупения. Однако нет в нем чванства, будто Нюраня – племенная кобыла, которую за бесценок отхватил. Он ею не хвастается. То есть хвастается, но как бы призывая товарищей разделить его счастье. А товарищи – смесь генерала с ямщиком – пьяные рыла.

Нюраня раскаменела, повела плечами, слегка вскинула плавно руки, повернулась к Емеле, обхватила его за шею, положила ему голову на плечо и победно на всех посмотрела.

Последовало секундное молчание – все оторопели от этого проявления нежности красавицей Сибирячкой, до этого сидевшей каменной статуей.

Нюраня в сельском театре мастерски изображала жену кулака, с Максимкой она выделявала фортели – притвориться ей труда не составило. Но она перестаралась: главному начальнику, чина да имени которого не запомнила, только невзлюбила за особо колкие речи, – показала язык.

Как девчонка глупая глазами стрельнула на главного плохого дядечку, губки приоткрыла, зубки белые раздвинула и на секунду показала острый розовый язычок. Почти никто не заметил, или все сделали вид, что не заметили.

Емельян пребывал в блаженстве, начальник поднялся, тяжело дыша:

– Товарищи! Мы забыли выпить за родителей новобрачной. Кто были ваши родители?

Нюраня уткнулась носом в шею мужа.

Надо отдать должное Емельяну. Иногда верные слова спасают жизнь, а неверные отправляют на смерть. От пьяного счастливого мужика нельзя ждать спонтанного судьбоносного красноречия. Но любящий мужчина заранее продумает, как охранить свою избранницу.

– Сирота моя супруга, – погладил Нюраню по трясущимся от рыданий плечам Емельян. – Родители померли, когда ей и семи не исполнилось. Воспитывалась за казенный счет.

– Где-е?! – с дальнего конца стола раздался пьяный молодецкий вой. – Где эта богадельня?! В Сибири? Еду! Дайте отпуск! Если там такие девки...

Общий смех разрядил ситуацию, снял напряжение. Начальник предложил выпить за светлую память почивших родителей столь прекрасной новобрачной и затем скомандовал гостям: «На выход!»

И еще мама говорила Нюране:

– Не кусай того, от кого оторвать не сможешь! Не бей того, кому от твоих кулаков-царапок только чешется. Комара бьют хлестко, до смерти насекомой. Приглядишься, присмотришься, и пока не нашла, где бьется жила кровеносная, где у него слабое место...

Многое, оказывается, мама ей говорила. А ведь Нюраня думала, что мама ее не жалуется, только на Степушку не надышится...

Как же дальше про врагов могучих?

Отойди в сторону. С правильным видом отойди, как бы тебе недосуг, как бы ты при важных занятиях...

Нюраня в последующем избегала общения с коллегами мужа. И дело поворачивалось таким образом, что уличить Нюраню в нарочитом пренебрежении было нельзя, всегда имелись серьезные основания ее отсутствия на общих застольях и на пролетарских праздниках.

Она вспоминала родителей. Не часто и будто картинками. Маму – со словами, забытыми наставлениями. Папу – общим посылом веры в красоту и гармонию мира.

Емельяна Пирогова, благодаря женитьбе вдруг приподнявшегося, решили двинуть по служебной лестнице. Хитрован, он стукнул себя кулаками в грудь и потребовал назначить его на «самый слабый участок», то бишь на хозяйство, которое в их учреждении ведется из рук вон плохо, прямо-таки вредительски.

Так он стал почти главным над снабжением канцелярскими товарами, служебной формой, тряпками и швабрами. Не самым главным – над ним

был начальник, ответственный за оружие, к которому Емельян не имел никакого отношения. Его дело – уборщицами, дворниками, возчиками и прочим обслуживающим контингентом руководить. Начальник свои шахер-махеры учинял, Емеля в личную пользу отщипывал крохи. Он был прирожденным завхозом, у которого вверенное учреждение ни в чем нужды не имеет, полотеры по струнке ходят и одновременно к бухгалтерии-отчетности не придерешься, но чудесным образом в личной квартире завхоза полное процветание казенных вещей наблюдается.

Придерживаясь легенды, в анкете, в заявлении и в автобиографии Нюрани при поступлении в Курский медицинский институт написали, что она, сирота с детства, воспитывалась в сибирских богоугодных заведениях, прошла ускоренные курсы медсестер. Удостоверяющие справки получить не удалось по причине расформирования указанных учреждений. Справки, удостоверяющие расформирование учреждений, не предоставляются по причине отсутствия наличия восприимчивых учреждений.

Словом, очередная бюрократическая чушь. Но теперь, в связи с замужеством, статус Нюрани изменился и прошлое ее под лупой не рассматривалось. Ей не пришлось, как другим абитуриентам, писать, сколько у родителей имелось наемных работников, а также коров и лошадей.

Кроме того, у нее была протекция в лице старшего врача городской больницы, которого Нюрания в свое время напугала своими рыданиями. Перед старшим врачом, членом приемной комиссии института, за Нюранию хлопотали его верная медсестра Мария Егоровна и акушерка Ольга Ивановна. Ради своей хранительницы Марии Егоровны старший врач зачислил бы в студенты и обезьяну. Ольгу Ивановну он уважал. Других чувств эта дама, чернослив на ножках, вызывать не могла. Чернослив имел самый низкий процент смертности рожениц в Курской области.

Когда при зачислении личное дело Пироговой Анны Еремеевны легло на стол и члены приемной комиссии заинтересовались ее необычным сибирским происхождением, старший врач накрыл бумаги своей пятерней, хрупкой и одновременно сильной кистью хирурга:

– Тут мое поручительство!

Мечта сбылась, Нюрания поступила в медицинский институт. И оказалась на краю бездны под названием невежество. Четырех классов сельской школы, зазубривания латинских названий костей человеческого скелета и прочих премудростей из книг, что привозил из Омска брат

Степан, что успела прочесть под руководством Ольги Ивановны, было совершенно недостаточно, чтобы тронуться с места, понять, о чем толкуют лекторы. Объем знаний Нюрани в таких предметах, как математика, химия, физика, биология, исчислялся легко – ноль! Экзамены на «удовлетворительно» сдала только потому, что вызубрила как молитву ответы на несколько билетов, «случайно», то есть при участии все того же врача, попавшиеся ей на экзаменах.

Нюраня была не единственной, у кого хромало предыдущее образование, но одной из немногих, кто стремился ликвидировать белые пятна и более не желал сдавать экзамены «на дурочка».

У нее краснели и слезились глаза – из-за ночного чтения при керосиновой лампе; ныло тело, болели кости и суставы – от многочасового сидения, отсутствия привычных физических нагрузок. Иногда брызгали слезы: как ни хороша была память Нюрани, а не могла усвоить столько, сколько хотелось запихнуть в голову.

Нюраня не высыпалась, но никогда не куняла на лекциях, зато в постели с мужем отключалась в самый неподходящий момент.

Пироговы недолго прожили в съемной избе – Емельян выхлопотал небольшую квартиру, за обустройство которой взялся с горячим энтузиазмом. Их семья была семьей с перепутанными ролями. Жена практически не участвовала в домашнем хозяйстве, квартиру убирала и готовила еду приходящая женщина, неразговорчивая и аккуратная. Емельян тащил в дом мебель и радовался новой этажерке, шифоньеру, кровати – так, словно получил государственную награду. Вернее, так он не радовался бы даже ордену на грудь.

Емельян заставил подоконники горшками с цветами, купил на рынке кружевные салфетки, устелил ими все плоскости и поверхности. Внутренний мир Емельяна делился на две неравные части: одна, неглавная, – служба; вторая, основная, – семья. У Нюрани никакого деления не было, ее заботила только учеба, подстегиваемая униженностью собственного невежества.

– Какой ты у меня славный! – хвалила она мужа после очередного приобретения, вроде фикуса в кадке. – Добытчик!

– Правда? – светился от радости Емельян.

«Однако полюбить тебя, – мысленно добавляла Нюраня, – у меня не получается».

Она вступила в комсомол, но в общественной жизни института не участвовала, прикрывшись трудно протекающей беременностью. На самом деле беременность она не замечала, а немоть объяснялась нервным

перенапряжением. В другой ситуации Нюраня с удовольствием рисовала бы стенгазеты, посещала кружки, митинги, шествия, участвовала в самодеятельности и ликвидации неграмотности. Но ее собственная неграмотность поглотила все силы, всю активность. Выглядела Нюраня не лучшим образом. В институт поступила цветущей девушкой, а через три месяца превратилась в свою тень. Эти перемены ее не пугали. Можно подумать, что тем беременным бабам, что цепями бьют, зароды ставят, жнут или весь световой день у печи стоят, легче.

Емельян, что нетипично для мужика, хотел не сына, а дочь – вторую Нюраню. И супруга ему угодила – весной тридцать шестого года родила девочку. Емельян назвал ее Кларой – в честь Клары Цеткин, деятельницы международного коммунистического движения. Коллегам он объяснял, что имя выбрано «по причине отсутствия в святках» – чтобы не было соблазна окрестить, и в русле борьбы с религией как опиумом для народа. Сам же тайно, в том числе от жены, договорился с домработницей, и та привела надежного (не сообщающего в органы фамилии родителей, которые окрестили детей) попа, совершившего обряд над новорожденной Катериной.

Нюраня дома пробыла всего лишь месяц, пока не приехала славная и смышленная четырнадцатилетняя девочка Ульяна, выбранная Ольгой Ивановной Пироговым «в дети» – так называли малолетних нянек, трудившихся за прокорм.

Молоко Нюраня сцеживала, но его прожорливой и быстро растущей Кларе-Катерине не хватало. Она устраивала дикий плач, и голосок с рождения у нее был сильный, хоть прямо в пеленках в хор отдавай – всех перекричит. Ульяна закутывала ребенка и мчалась в мединститут. Нюраня, равнодушно относившаяся к мещанским стремлениям мужа украсить квартиру, была ему искренне благодарна за то, что дом их находился поблизости от института.

Поначалу, когда в коридорах эхом множился плач младенца и казалось, что ребенка режут на части, из аудиторий выскакивали преподаватели, хватали Клару и быстро уносили, чтобы обследовать на предмет заворота кишок.

– Да не было из нее малинового говностула, – привычно отвечала на вопросы Ульяна, так и не согласившаяся с тем, что «говно» и «стул» – одно и то же, и потому соединившая слова. – Просто жрать хочет.

Через некоторое время истощенный плач «умирающей Клары» уже никого не пугал. Преподаватели только показывали Нюране на дверь:

– Пирогова! На выход!

Она на бегу расстегивала верхние пуговички спрятанной под кофтой блузки, которая лопалась на груди и мокрела от подступившего молока.

Ребенок должен подчиняться режиму – в этом Нюраня на сто процентов была согласна с учителями. Но Клара с рождения признавала только тот режим, который сама устанавливала. А иначе – рвущий в клочья барабанные перепонки, сердце, печенки и разум истошный крик младенца. Его, младенца, либо удавить, либо дать чего желает, – другого выбора нет. Но кто ж удавит хорошенького, молочно-розового, наилюбимейшего пупсика? Значит, дать ей сиську, когда голодна, поднести к окошку, когда ей хочется на солнышко посмотреть, сунуть погремушку, когда сама не знает, чего бы еще потребовать.

– Ох, наплачемся мы с этой девкой! – говорила Нюраня мужу. – Задаст она жару, повеет из нас веревочки.

– Пусть! – улыбался счастливо Емельян. – Пусть задаст, пусть повеет моя ненаглядная!

В отличие от большинства мужчин, которых общение с младенцами слегка умиляет, но больше пугает и быстро надоедает, Емельян, будь его воля, бросил бы работу и сидел с дочкой, изменил бы законы природы и сам кормил бы ее грудью.

Степан

Его арестовали ранней осенью тридцать седьмого года. Приехал в Омск на заседание окружкома партии, где его, как водится, хвалили и ставили в пример, а ночью забрали из гостиницы, отвезли в тюрьму, посадили в одиночную камеру.

Степан не испугался, хотя аресты врагов народа уже вовсю проводились. Первой мыслью было: «Хоть отосплюсь», и он действительно проспал почти сутки. Время-то было горячее: уборка, сдача зерна и скота, подготовка к зиме – на сон приходилось не более трех-пяти часов.

Арестовать, тем более осудить Степана было так же глупо, как обезглавить передовую армию. (О масштабах арестов в Красной армии Степан не подозревал.) Дури вокруг много, разберутся, извинятся, и снова паши, Степан Еремеевич, наш орденосец, флагман, передовик. Только бы не замешкались, а то кто-нибудь скорый на язык донесет Парасе, напугает. Она ведь не сообразит, что ему тут как в санатории, только питание плохое.

Два года назад они зимой побывали в крымском санатории. Природа на юге, конечно, впечатляющая, но зима отвратная, слякотная, сырая, дожди да ветра. Кормили в санатории на убой, культурная программа была на уровне, номер со всеми удобствами, лечебные процедуры: грязи, ванны, массажи и вдыхание кислорода через намордник. Степан сбежал бы через неделю, но доктор сказал, что организм его жены ослабленный и нуждается в лечении. Парася и в самом деле через месяц лечебно-курортной жизни округлилась, весу набрала, на обычно бледном лице заиграл румянец. Доктор сказал, что ей необходимо регулярное санаторное лечение, и Степан не раз предлагал жене выхлопотать путевку. Но без него Парася ехать отказывалась, а Степану было жаль терять время, отрываться от работы. Для него лучший отдых – рыбалка да охота.

Отоспавшись, Степан не раздумывал долго о жене и семье, мысли о них лишь промелькнули. Навалились раздумья трудовые: надо то сделать и это, про одно не забыть и про другое... Черти! Забрали планшет, там блокнот и карандаш – записал бы, на память не надеясь. Ведь домой приедешь, там новые проблемы навалятся, и здравые мысли, сейчас ему в голову пришедшие, забудутся.

Несколько лет назад коммуна «Светлый путь» была преобразована в колхоз с тем же названием. Степан уступил давлению из Омска и в общем-то был согласен с аргументами: надо показать людям, что именно

колхозная форма хозяйствования на сегодняшний день передовая. Был принят новый Устав (образец спущен сверху), из которого ушли многие коммунарские принципы.

Но люди-то остались! Заматеревшие мужики, вошедшие в цвет бабы – бывшие коммунары, за короткий срок своим трудом создавшие крепкое сельскохозяйственное производство, выстроившие практически новое село. Это был мощный костяк, не позволявший всякой шелупони, неизбежно прибывавшейся к колхозу, лодырничать, вносить разброд и «сеять язвы».

Степан улыбнулся, вспомнив, как на одном из общих собраний ораторствовал его заместитель, сметливый, но горячий мужик, из двадцатипяти тысячников (столько рабочих партия в 1930 году отправила на село для укрепления колхозного строя), со смешной хохляцкой фамилией Неубийбатько – поводом бесконечных шуток и подтруниваний.

Неубийбатько потребовал, чтобы вышли и встали лицом к залу те, кто работает спустя рукава.

– Глядите в лицо честным коммунарам, тьфу ты, колхозникам! – потребовал он. – А народ, на теле которого вы сеете язвы, пусть смотрит на вас!

С тех пор у них повелось на вопрос об отсутствующем и не занятом трудом человеке: «Где он?» – отвечать: «Сеет язвы».

Переломным был тридцать четвертый – год небывалого урожая. Переломным не в том смысле, что было плохо, стало хорошо. И было-то уже с продыхом, с работой не до зеленых чертиков в глазах, а стало совсем отлично – резко повысили выдачу хлеба на трудодни. Коммунары из личных запасов продали кооперации пять тысяч центнеров зерна. На тридцать тысяч рублей! А в следующем году – того больше.

Теперь, по прикидкам Андрея Константиновича Фролова, на трудодень можно будет выдать девять килограммов зерна. Эх, хорошо бы округлить до десяти! Но, с другой стороны, надо формировать дальнейшие стимулы, как говорит Неубийбатько.

Колхозные передовики-стахановцы, а их человек пятьдесят, получают до восьмидесяти центнеров зерна! Какие еще нужны аргументы в пользу коллективного труда? Неубедительно? Пожалуйста! Каждый год отправляем на учебу ребят: на механизаторов, агрономов, врачей, учителей. Недостаток специалистов острый, но за счет возвращающихся ребят начинает потихоньку ликвидироваться. Зайдем в дом любого колхозника... лучше передового... почему мы должны делать выводы, исходя из тех, кто язвы сеет? Итак, что видим? Например, велосипед (уже три штуки в селе), патефон, швейную машинку (почти у всех), музыкальные инструменты...

Бабы, хоть и коммунарки, остаются бабами. Если Манькин Сенька купил балалайку, то Глашка своему Тимке прет из города гитару, невзирая, что Тимке медведь на ухо еще при рождении наступил. Танька, завидев гитару, в свою очередь дает добро мужу на покупку баяна, но тут уж справедливо – Танькин Васька не хуже Сашки Певца музыкант.

Ирина Владимировна Фролова приобрела пианино. Второе пианино куплено на колхозные средства, установлено в клубе, организована учеба на инструменте для детей усидчивых и к музыке одаренных...

Что еще? Глаза разуйте! Как колхозники и особенно колхозницы одеты? По праздникам, конечно. Лучше городских. Далее обратим внимание. По стенам в клубе вымпелы и грамоты алеют, слева в тумбе переходящее Красное знамя Западно-Сибирского округа, слева в аналогичной тумбе Красное знамя Омской области. Знамена хоть и переходящие, а второй год у них пребывают!

– Знамена! – фыркнула Анфиса Ивановна. – Вымпела! Тряпки на древках!

Степан остановился в центре камеры. Оказывается, он все это время расхаживал от окна к двери. Ни дать ни взять доктор Василий Кузьмич, бегающий по их горнице, размахивающий руками и всех обвиняющий. И спорил Степан с матерью. При жизни ее не могли к миру прийти, и после маминой смерти он все пытается ей свою правоту доказать.

Сел на нары, локти на колени поставил, голову склонил, пальцы в шевелюру запустил.

Голос матери продолжал звучать:

– А вот в Погорелове, в твоём родном селе? Тож колхоз.

Погореловский колхоз «Заветы Ильича» возглавляла Акулина Майданцева. Максимка наотрез воспротивился в председатели избираться. После отъезда Нюрани он вроде бы и оправился: женился, детей народил, управлял и держал в узде многочисленную и, как на грех, сплошь женскую родню... Птицу вольную, ястреба, орленка, если хочешь приручить, во дворе держать, надо у нее вырвать маховые перья – тогда не улетит и биться перестанет. Отрастут перья, а птица уже к человеку привыкла, домашняя. Вырвала и увезла Нюрания Максимкины перышки, новые не отросли. Он жил честно, правильно и нормально. Однако не летал, неба не видел. Ходил и видел только землю.

На трудовень колхозники в «Заветах» в лучшем случае по два килограмма зерна получают. Акулина – зверь-работящая баба, но организатор из нее никудышный. За одно, за другое хватается, ничего не успевает. Грамота политическая отсутствует, да и простая хромает – читает

Акулина по слогам и складывает на пальцах.

У Акулины пятеро детей, и вся майданцевская женская гвардия тоже на ней, потому что не может она, ревнивица, любимого Максимушку оставлять один на один с подросшими сестрами да племянницами. Присланного в колхоз двадцатипятидесячника, сормовского рабочего, на которого, казалось бы, надо было свалить надзор за всей бухгалтерией, за отписки на распоряжения-постановления, градом сыпавшиеся из Омска, усадить на учет-контроль, Акулина сожрала, как волчица, которая убивает не от голода, а из злости-куражу. Сормовец запил, снюхался с забудыжной самогонщицей, и вытащить его на свет можно было только жесткими мерами: окатив ледяной водой и пинками под зад.

– Но ведь так было всегда! – продолжал спорить с матерью Степан. – Одни роды-семьи поднимались и крепили, другие – по разным причинам – хирели, растворялись.

– Не было такой политики, чтобы христианские семьи рушить, а бусурманские оберегать! Почему нехристей не коллективизировали?

Степан хорошо представлял лицо матери, на котором презрительная гримаса сменяется гневной.

Ему нечего было возразить. Дословно помнил слова из постановления Сибкрайкома: «Не подлежат конфискации и выселению хозяйства и семьи: татаро-бухарцев, немцев, латышей, эстонцев, латгальцев». Только в Омском округе проживало почти сорок тысяч немцев, одиннадцать тысяч татар. Латышей и эстонцев – общим числом пятнадцать тысяч, поляков – восемь тысяч. Их хозяйства и сейчас выделяются на фоне обнищавших, околхозненных коренных сибиряков. Достаток в «Светлом пути» и еще в пятерке колхозов – исключение, а не правило.

Степан снова встал и заходил по камере. Почему с двумя самыми дорогими людьми, оказавшими на него громадное влияние, почему с матерью и с Вадимом Моисеевичем он не находит согласия даже после их смерти? Не спорит с ними мысленно, для этого у него времени нет, только сейчас, в застенке, появилось. Но нет-нет да и мелькнет на краю сознания Анфиса Ивановна – яростная, руки в бока, политически безграмотная, но по сути человеческой правая.

Или привидится Учитель, кашляющий, кутающийся в шинель:

– Пойми, Степан! Перед нами большие цели, которые должен осуществить в принципе безграмотный, невежественный, морально-нравственно небезупречный движущий класс. Нам некогда выращивать с пеленок, баюкать, лелеять, воспитывать на лучших традициях мирового гуманизма и просветительства идеальных бойцов революции. Что имеем,

то имеем. Цель оправдывает средства – в данном случае этот циничный императив оправдан.

– Оправдано самосожжение моей матери? – спросил Степан вслух. – Смерть других матерей и младенцев неразумных?

Дернул головой, как бы опомнившись, и далее возражал Учителю мысленно.

Он присутствовал на заседании Омского окружкома ВКП(б), когда после горячки коллективизации слегка опомнились и заговорили о перекосах и перегибах.

Степан слушал доклад, в котором перечислялись «ошибки».

Раскулачили пастуха Никиту Седова за то, что имел подпаска... раскулачили крестьянина за то, что в его доме проживала сирота-инвалидка... в Саргатском районе раскулачили бедняка за то, что имел кличку Монах, приобретенную им из-за того, что до революции трудился в монастыре... раскулачили вдовца за то, что его замужняя дочь приехала на десять дней помочь отцу... раскулачили вообще неизвестно почему в селе Красноярке учителя, наверное, кто-то из сельских активистов зуб на него имел... в Калачинске десять середняков купили сообща молотилку, и за это сельский совет, выполняя план по раскулачиванию, включил их всех в списки...

Степан понимал, что в этом перечне упоминания родителей не будет, но почему-то надеялся. Родительское хозяйство, конечно, попадало под раскулачивание по всем статьям. Но зачем было под корень рубить? Выселили бы их на окраину села, чудо-дом отдали бы под школу, под клуб, под амбулаторию! На подворье организовали бы опытную агрономическую станцию – у матери был такой огород! Им в коммуне, то есть в колхозе, до сих пор не удается вырастить столько овощей на единицу площади и такого размера, которые мать каждый год собирала.

– Ты не можешь оторваться от личного, частного! – пенял Вадим Моисеевич. – Смотри на мир шире! Мы добились поставленной цели? На дворе тридцать седьмой год, в рекордные сроки мы превратили перекореженную революциями и войнами страну в индустриальную державу, которой сейчас подвластны задачи любой промышленной сложности

– А ниток в магазине не купить, – сказал Степан вслух.

– Отставание легкой промышленности, – согласился Учитель, – безусловно. Уровень жизни, бытовые условия подавляющего большинства людей отвратительные. Это все будет, то есть не будет, ликвидируется, это следующие задачи.

В волнении Учитель взмахнул руками, и шинель скинулась с плеч, Вадим Моисеевич только успел ее подхватить. Степан увидел этот его привычный жест, дорогой до спазмы в горле.

Но сдаваться не хотел. Продолжал мысленный спор.

– Так ли уж необходимо было для индустриализации страны гнать на Васюган цвет сибирского крестьянства? Без этого Днепрогэс не построили бы? Этап, с которым шел мой отец, был первым ручейком, а потом хлынуло, погнали, заморозили и сгноили тысячи мужиков, баб, детей. На окружке об этом не говорят. Но молва-то идет, на чужой роток не набросишь платок. Слышал, на Васюгане детдом организовали. Триста детишек. Три сотни! Непонятно как выживших. Не представить, на что родители пошли, чтобы потомство свое сохранить. Но что с мальцами дальше будет? Как можно эту ораву организовать, накормить? Ведь тоже помрут! Ведь их надо срочно на усиленное питание в санатории! Гробить лучшие сибирские семьи – это Расее на пользу?

– Сибирская гордость, – покачал головой учитель, – в тебе крепко засела.

– С молоком матери, – согласился Степан. – И гордость эта не бахвальство, а память предков и уважение к себе за дела и к другим за их дела...

Он снова потряс головой, крепко зажмурился. Лег на постель, закинув руки за голову. Минуту полежал, вскочил, забарабанил в дверь.

– Чаво? – открылось маленькое окошко в середине двери.

Окошко находилось на уровне пупка Степана.

Они казематы для недомерков, что ли, строили?.. Нет, сообразил Степан, чтобы согнулся, сгорбился, оказался в позе просителя. Но ведь и с другой стороны охраннику приходится нагибаться! Наверное, это не учитывалось. Главное, чтобы преступник колени согнул, зад оттопырил и шею вывернул.

Степан принципиально не стал совать лицо в окошко.

– Таво! – рявкнул он. – Вынеси ведро поганое. Смердит!

– Перебьёсь!

– Я тебе перебьюсь! – во всю мощь своего баса взревел Степан. – Я тебе перебьюсь, когда выйду, так, что ты кости рассыпешь и обратно не соберешь! Чем на посту занимаешься? Мотню чешешь да о шлюхах грезишь? Я тебе погрезю! Ух, погрезю! Ботало свое лично отгрызешь и проглотишь, не жуя...

Через полчаса, очевидно выдержанных для сохранения лица, из камеры вынесли отхожее ведро и принесли обед – двойную порцию

сиротского арестантского супа.

Командный голос во времена пребывания Степана в должности председателя сельсовета только прорезывался. В коммуне-колхозе голос окреп, и когда Степан выходил из себя, сыпались иголки с сосен, бабы кулачки сжимали и рот затыкали, мужики дышать переставали и съеживались, детишки разбегались. Степан Еремеевич орал редко, всегда по делу. Его ярости боялись не меньше, чем гнева Господня. Мало кто знал, что гневливость орущую, долго спавшее качество, Степан унаследовал от матери.

Коммунары видели: после приступа ярости Степан Еремеевич больной, точно грибами погаными отравившийся. И это действовало на них не хуже ора начальственного.

Парася про себя удивлялась: Анфиса Ивановна орала пять раз на день. От криков-поношений только, казалось, заряжалась жизненной энергией. Становилась выше, даже красивее, лицом разглаживалась. Степа же после ярости – точно соки выпустил: слабый, раскаивающийся, ночью во сне стонущий, точно согрешил и себе самому прощения не дает.

Эту разницу Парася понять не могла, однако отмечала, что сколь ни была вычурна в своих громогласных проклятиях Анфиса Ивановна, а Степа ее переплюнул! От ее криков только морщились, а от Степиных у людей коленки подгибаются.

Проспав первые сутки, предавшись на второй день непривычно долгим раздумьям – такие, наверное, бывают у выздоравливающих людей, но Степан никогда не болел, – на третий день он с утра забарабанил в дверь, надоело глупое безделье. Он бил кулаками, пятками, оловянной чашкой и требовал следователя, прокурора, хоть черта лысого. Не мог слышать, что происходило снаружи, но чутье подсказывало – нервничают, носятся, ищут, кому принимать решение. Степан не переставал колотить, чтобы дать понять: он не утихомирится, пока за ним не придут.

Пришли и отвели к следователю – мальчишке лет восемнадцати-двадцати, для пущей важности отпустившему усы, пушковые, только подчеркивающие его юность и страх перед свалившейся ответственностью.

– Фамилия? – спросил следователь.

– Чья? – удивился Степан.

– Ваша.

– Козлов. Слушай, парень, не надо тут передо мной в прокурора играть. Начинай приносить извинения.

– Что? – теперь удивился следователь.

– Извиняйся, выпускай, дел неупророт, а я тут тюремных блох считаю.

Следователь хихикнул. Смешок был детским и одновременно жестоким – с таким смехом плохие мальчишки животных и птиц мучают.

И с тем же видом порочной безнаказанности следователь произнес:

– Вы, гражданин Медведев, очевидно, не отдаете себе отчет в том, что произошло. Арестована банда вредителей в сельскохозяйственном производстве Западной Сибири. Граждане... – следователь заглянул в листок и прочитал фамилии, – уже дают показания. Вами планирует лично заняться Данила Егорович Сорокин, но сейчас он в командировке. Давайте преподнесем ему подарок? Сейчас вы получите листок и карандаш, напишите чистосердечное признание...

Если бы под Степаном исчез стул, провалился пол, а сам он остался висеть в той же позе, он бы не удивился. Собственно, это и происходило: его выбросило в безвоздушное пространство.

Следователь продолжать трещать про чистосердечное признание, Степан его не слушал, а через минуту перебил:

– В камеру!

– Что?

– Вызывай конвойных, пусть ведут в камеру. И сопли подотри.

По тому, как дернулся следователь, было понятно, что он хотел врезать Степану. По тому, как быстро сжал кулаки и слегка замахнулся, точно угадывалось – для молокососа эта аргументация привычна.

Степан резко встал и пошел к двери. Распахнул ее – коридор был пуст, конвойный куда-то отлучился. Степан мог пройти по коридору беспрепятственно, спуститься по ступенькам, выйти на улицу – на волю, к солнцу. Следователь, который за спиной копошится, не в счет – одним щелчком по лбу его отключить можно.

И ведь Степану нужно было на волю! Находясь в застенках, он ничего сделать не мог.

Вместо этого Степан заорал:

– Конвой! Как службу несете, подлецы?

– Стража, стража! – верещал за спиной следователь.

– Какая стража, гимназист? – оглянулся к нему Степан. – «Трех мушкетеров» начитался?

Из дальнего конца коридора бежал конвойный, громыхая винтовкой. Он отвел Степана в камеру.

Пять фамилий, которые зачитал Степану следователь и, судя по всему, не врал, принадлежали людям высоких должностей. Трех Степан мог бы с чистым сердцем назвать соратниками, двое других в повседневной работе хотя и не были помощниками, но уж не вредителями – точно.

Это был заговор! Спланированная операция по дискредитации и обескровливанию колхозного движения в Сибири. Врагам удалось нанести молниеносный террористический удар. Если устранение Степана – потеря командующего армией, то все остальные товарищи в застенках – это уже обезглавливание большого фронта.

Кто это сделал? Сорока? Фигура мелка для столь масштабной операции.

– Сображай! – вдруг снова возникло лицо матери. – Тебе голова на плечи поставлена не только для того, чтобы зубами мясо и прочую пищу молоть! Для собирания!

Степан лежал на нарах лицом к стене и увидел мать в щелочке. Мелькнула и пропала. Вспомнил, как говорила она, что самые опасные люди – завистники. Чужое благоденствие каждому костью под ребра колется, но не каждый ответную пакость учинит. Кто учинил, хоть мелкую, – не упускай его из виду.

Данилка Сорока напакостил Степану выше крыши. Но Степан, верный ученик Вадима Моисеевича, никогда не ставил личное выше общественного.

Сорока добивался Параси, а она вышла за Степана. Такое можно простить? Степану казалось – само собой. Он был счастлив, обретя суженую, и весь мир ему представлялся бархатно-радостным.

Сорока виновен в смерти родителей Степана. Но ведь он имел на руках приказ. Как отделить его вину от государственной воли? Мама тоже была не лыком шита, да и отца через колено легко не перекинешь.

У Степана никогда не было доказательств против Сороки. Или недосуг было их искать? Он все силы вкладывал, изматывался, недосыпал ради колхоза, на совесть наступал, помалкивая на окружках или отписываясь на идиотские распоряжения. Он стал, как выражался Фролов, дипломатом и политиком. Было у него время против Сороки поличья, то есть доказательства, собирать?

Степан не испытывал к Данилке личной ненависти. Его, Степаново, отношение к Данилке определялось одним словом – «морговал», то есть брезговал.

– Вот и проморговал, – вредно шепнула мать засыпающему Степану.

Сорока вызвал Степана Медведева на допрос поздней ночью. Бывший чекист, нынешний энкавэдэшник, как всегда, выглядел щеголем: одет с иголки, набриолиненная голова, только чуб по-казацки кудрится на виске справа. Чуб этот раздражал Степана особо.

Сам Степан был мят, небрит и, что исключительно противно, бос. Перед выходом из камеры его заставили снять сапоги.

Мужик может быть в изодранных лохмотьях, даже без портов, но пока его ноги в твердой обуви, он на земле стоит уверенно. Босой мужик – это как возрастная баба без платка, с непокрытой головой.

Степан понял, почему Данилка приказал разуть его, но на эту уловку не поддался, только усмехнулся. Вольготно сидел на стуле, выставив длиннющие ноги вперед, шевелил голыми пальцами, рассматривал их, точно впервые увидел. Не слишком притворялся – разве он часто видел свои ступни? Номер у Сороки не прошел.

– Степушка, – заговорил Сорока притворно ласково, – хорошо ли пребываешь?

– Не жалуюсь. – Степан продолжал изучать пальцы своих ног. – Побоялся меня арестовывать в колхозе? Там бы тебя, с войском твоим, мужики на вилы бы подняли.

– Конечно, – легко согласился Данилка, издевательски выделив «ч» в слове.

Сорока был единственным каналом, по которому Степан мог получить информацию, выбраться на волю. Но Сорока не должен был этого знать.

Данилка был вроде бы не пьяный – Степан не чувствовал запаха перегара, – но все-таки хмельной, куражно-победительный. Он смущал Степана, путал карты. Пьяный – одна аргументация, трезвый – другая. А Данилка был ни то, но ни сё. Степан не имел понятия о кокаине и о том, как действует порошок.

– Слово я дал уничтожить тебя. – Улыбающийся Сорока грудью навалился на стол и смотрел с паскудной улыбкой на Степана, сидевшего напротив. – И вот сегодня клятву свою сдержу.

– Да? – притворно небрежно спросил Степан. – А я вот не клялся на тебя. Гнид много, на всех не наклеяёшься.

– Смелый, да? – хохотнул Данилка. – Я на тебя посмотрю, какой ты смелый будешь под трибуналом. Я ж не дурак, я столько лет думал! – Он откинулся назад и принялся разглагольствовать: – Его мать в костер

бросили, а он хоть бы хны. Коммунист хренов, да? Я бы твою жену ссильничал, а ты бы не рыпнулся! Доказательства собирал бы! Вот! – Данилка показал неприличный жест. – Вот против меня поличья найдешь! И тут я сообразил, что боле матери родной, и жены ненаглядной, и деток тебе важней – ДЕЛО. Сраный колхоз! Довожу до сведения: горит сейчас твой колхоз в смысле построек, ферм, зерна-сена... и чего еще там хранилищ. С пяти точек горит. Подпаленный моими верными людьми! Они, кстати, сибиряки. Вы нас гноили: переселенцы, переселенцы! – карикатурно вихлялся Данилка.

– Твой отец переселенец. Крепкий, честный, справный мужик. А ты – бурьян!

– Что? Да? Не смей меня перебивать подследственному! О чем я? А, сибиряки! Такие, мать вашу... А ломаются! По долгу службы, твоей... своей... я обязан инспекции-ми-мировывать... словом, лагеря...

– Из-за таких, как ты, на Васюгане и устроили всё на вымирание! Ведь можно было иначе! – не выдержал Степан.

– Молчать! Я говорю! – Данилка, казалось, хмелел все больше и больше, хотя ничего не принимал, даже воды не пил.

– Ну, говори! – Степан постарался придать голосу спокойствие.

– О чем? Да, сибиряки. Тоже ломаются. Не надо!!! – истошно завопил Сорока. – Не надо мне про сибиряков рассказывать! Все просто, эмле-мелевнтарно, как говорил твой жид Вадим Моисеевич. Я его не успел прикончить. Сам подох. Дык вот! Приезжаю я в лагерь, беру пятерку сибиряков, натаскиваю их. Как собак охотничьих. Говорю: «Сидеть!» – они на жопу падают, команду: «Голос!» – тявкают...

Степан слушал бахвальство Данилки и сохранял нейтральный вид из последних сил.

– А теперь они, отобранные мной сибирские псы голодные, с пяти сторон поджигают! В сей час поджигают твою гребаную коммуны! За жратву и свободу, которую я им пообещал. Я тебя изничтожил! – подвел итог Данилка.

Степан долго держался. Не те несколько минут, что длился разговор-допрос с Сорокой, он держался много лет, воспитывая в себе политика, дипломата, соглашателя – человека, который жертвует природными принципами ради политической целесообразности.

Его предки не случайно носили фамилию по дикому зверю, хозяину тайги. Разъяренный медведь страшен, и совладать с ним очень трудно. Однажды в тайге Степан и еще четверо охотников столкнулись с шатуном – медведем, по каким-то причинам прервавшим зимнюю спячку. Стреляли

все, и никто не промахнулся – попали в голову, а медведь шел и шел на них, все пёр и пёр, пока не рухнул с последним диким ревом.

Степан был сейчас похож на медведя, вставшего на задние лапы, а передние вскинувшего, растопырившего когти, ревущего.

Он навалился на стол, схватил Данилку за грудки и с силой дернул. Данилка перелетел через стол, с которого посыпались бумаги, карандаши, чернильные приборы, и упал на пол.

Это была не драка, а избиение. Всю многолетнюю злость, все обиды вымещал Степан, сидевший верхом на Данилке и бьющий его – не с замахом, а сверху вниз, орудуя кулаками как молотом. Сорока потянулся было к кобуре, Степан заметил, перехватил его руку, дернул с поворотом, кости выскочили из суставов, брошенная рука, неестественно вывернутая, валялась теперь, как тряпка.

Данилка только охнул. Он всегда был малочувствительным к боли, а под действием кокаина стал и вовсе как рептилия холоднокровная. Степан его уродовал, калечил, а Данилка едва ли не хохотал.

Кровавым ртом, выплюнув выбитые зубы прошамкал:

– Тебя расстреляют, а я Параськой попользуюсь, потом китайцам в публичный дом продам.

Степан встал на ноги и, наклонившись, выдернул из Данилкиной кобуры револьвер.

Драться с Сорокой, а уж тем более убивать его Степан не планировал. Напротив, хотел миром, торгом – как угодно – добиться освобождения, вскрыть заговор...

Жизнь не оставила ему выбора.

Данила Егорович Сорокин умер от первого же выстрела, в голову. А Степан Еремеевич Медведев продолжал стрелять, в барабане кончились патроны, а он все давил на спусковой крючок, щелкал курком.

Вбежали люди, навалились на Степана, скрутили...

Парася ночью кормила дочку грудью, когда начался пожар. Парася и подняла тревогу.

После Егорши она дважды беременела. Родилась девочка, прожила меньше месяца, на следующий год – мальчики-близнецы, недели не протянули. И вот, наконец, полгода назад разрешилась девочкой, крепенькой и здоровенькой. Назвали Анной – в честь Нюрани, как раз от нее письмо получили. Радость была несказанная, Степан прямо-таки светился. Хорошему роду нет переводу! У Петра два сына, у него два сына и доченька, у Нюрани пока только одна девочка, с чудным именем Клара.

Но сама-то Нюраня! Ах, молодец, ах, бой-девка! На доктора учится. И пишет, что муж у нее хороший, добрый, в органах работает. Мать Параси и сестра, как узнали про это письмо, повинились – было еще и другое, первое. Парася очень на них осерчала, сказала, что утайки от Степана им в жисть не простит, и три месяца с родными не разговаривала. Хотела от Степана и дальше тайну про первое письмо хранить, но не умела она секреты от мужа держать, призналась. Степан не осерчал – очень уж был рад весточке от сестры, – только назвал тещу и ятровицу «подпольщицами». Ирина Владимировна потом пояснила Парасе, что это слово означает. А матери и сестре Парася, когда приехала мириться, передала мужнино слово без перевода – пусть помучаются.

Врачи не раз говорили Парасе про слабость ее организма, что беременеть и рожать ей опасно для жизни. Еще советовали, как во время соития с мужем избежать зачатия ребенка. Парася слушала, краснела от смущения, кивала, но Степану ничего не рассказывала. Она, коренная сибирячка, стыдилась своих немощей. И особенно досадно было сознавать правоту свекрови, покойной Анфисы Ивановны, называвшей ее нюхлой, то есть слабой, болезненной.

Поменять что-то в их соитиях или вовсе от них отказаться Парася не могла и решительно не желала. Это была большая, значимая, сладкая для тела и души часть супружества. Пусть уж идет как идет, как Бог рассудит.

Родив здоровенькую девочку, Парася, потерявшая четверых детей и понимающая, что следующая беременность может стать роковой, тряслась над ребенком. Холила-берегла Аннушку, птицей кружила.

Пожар (явный поджог, потому что занялось в разных, далеких друг от друга местах) потушили к утру. Хорошо, что безветрие, что Парася вовремя тревогу подняла, но ущерб был все-таки значительный. И самое досадное – не было хозяина, задерживался в Омске. Без него колхозники чувствовали себя сиротливо, привыкли они к твердой руководящей руке.

К обеду из города прибыл нарочный, долго о чем-то совещался с Неубийбатько. Тот вышел из правления с почерневшим лицом, от сажи и копоти уже отмылся, кожей потемнел. Велел собирать народ.

Парася слушала и не понимала. Ее муж – враг народа, участник заговора, убил в застенках в ходе допроса представителя органов, подстроил сожжение колхоза...

– Факты достоверные, – хрипло закончил Неубийбатько, – обсуждению не подлежат. Всем разойтись и приступить к текущим делам по устранению последствий огненного пожара.

Никто не тронулся с места. Люди, как и Парася, не могли осмыслить

случившегося. Молчали даже те нервно-голосистые бабы, которые при любом удобном случае вопили: «Ой, да что же это! Ой, да как же это!»

– Что стоим? – крикнул Неубийбатько, и Парасе показалось, что на глазах его заблестели слезы. – Ничего не выстоите! – И, противореча себе, сказал уже другим голосом: – Надо выстоять, товарищи! Приступайте к работе!

Парася бросилась домой, следом за ней вошли Фроловы. Ирина Владимировна и Андрей Константинович о чем-то тихо переговаривались в углу, а Парася носилась, лихорадочно собирая вещи.

– Что вы делаете? – спросила Ирина Владимировна.

– Дык в Омск надо ехать, к Степану!

– У вас грудной ребенок, – напомнила учительница.

– С собой возьму.

– Вы с ума сошли! Заморозите Аннушку, она погибнет!

– Прасковья Порфирьевна, – поддержал супругу Фролов, – сядьте и успокойтесь.

– Дык что ж сидеть? Ехать мне надо.

– Никуда вам ехать не надо! – твердо сказал Андрей Константинович. – К мужу вас не допустят, это вне всяких сомнений. И подвергать жизнь Аннушки опасности вы, как мать, не имеете права!

Парася опустила на стул, и Фроловы с ней заговорили. О том, что теперь она – жена врага народа, а это повлечет за собой конфискацию имущества и, не исключено, ее арест. Сейчас она обязана думать о детях. Фроловы уезжают, они давно, как начались аресты, задумывались об этом. Но за спиной Степана Еремеевича жилось столь спокойно, интересно и привольно, что всё откладывали. Они уже переживали подобные кампании-чистки, но, очевидно, меньших масштабов. Спасение от них единственное – бежать, затеряться.

– Боюсь, что вы не совсем понимаете происходящего, – сказал Андрей Константинович.

– Это... – Ирина Владимировна запнулась, подыскивая сравнение. – Это как вскрытие Иртыша.

Сравнение было Парасе понятным. И страшным.

Ледоход на реке происходил каждый год, но привыкнуть к нему было невозможно.

Долгую зиму река покоилась под толстым слоем льда, надежно державшим зимник, пробитый в торосах с одного берега на другой. По зимнику возили в город убоину, замороженное молоко, ягоды, овощи,

варенья и соленья, дрова. До апреля возили, уже когда забереги – оттаявшие у берега участки – появлялись.

Вода в заберегах спокойная, плавно кружит мусор. И вдруг вода темнеет, мутнеет, будто волнуется. Это с верховьев, где Иртыш уже тронулся, напирает громадная масса воды. Река крепится, даже ворчит, как будто стонет, как человек, которого будят, а он просыпаться не хочет.

Но вот проснулся. Злой – с оглушительным треском раскалывается лед, молнии плоские его исполосовывают. Лед вздымается, точно подорванный бомбами снизу, его корежит, ломает, срывает с места. Пласты насакивают друг на друга, кружат, кипят. Шум стоит адов, и река точно выдохнула – повеяло прелой водой. А с верховьев несутся все новые и новые громадные льдины, бьются, борются, тесно им, великаны выталкивают, выплевывают мелкоту к берегам.

Особенно грозным бывает ледоход в те годы, когда в верховьях, на коленных изгибах реки, на плесах осенью поздней образуются ледяные молы, упирающиеся в бока и дно реки. Такой мол может быть длиной в полверсты или даже в версту. Он долго держит напор воды, но обязательно не выдерживает. И тогда невероятной мощи поток извергается. Он срывает на своем пути отмели, островки уносит, как легкую занозу вырывает из утесов глыбы камней, кустарники, деревья прибрежные.

Смерч адов слизывает огороды, десятины лугов, целые рощи. Спокойный летом, красавец Иртыш-кормилец, по которому несется, с воем, треском и стоном то, что было когда-то твердью, страшен в этот момент.

На берег сбегаются люди – все, кто может передвигаться, пропустить подобное зрелище невозможно. Ребяшне, возбужденной стихией, конечно, весело. Прыгают, вопят: «Иртыш тронулся! Иртыш тронулся!» А старухи выходят к реке с иконами, молитвы творят.

На льдинах часто зверье оказывается. Зайцу не страшно – он с одной ледяной горушки да на другую – выпрыгнет. Лисица вряд ли выберется. Про человека и говорить нечего...

* * *

Напугав Парасю, Фроловы заговорили о несусветном – они-де предлагают взять с собой Васятку. Ее большака!

Конечно, тринадцатилетний мальчонка к ним привязался. Головастенкий, способный к учению, постоянно читает и занимается науками, иностранными языками с Ириной Владимировной и Андреем

Константиновичем. Степан эти занятия очень поощрял и говорил, что им с Фроловыми с точки зрения развития старшего сына очень повезло. Но забрать у матери ребенка?!

Парася замахала руками: и слышать не желаю! С нее взяли обещание подумать, сообщить решение в течение двух дней.

Пришли три бабы кормящие – те, у кого сосунки. Верно предвидели, что Парася к мужу кинется. Предложили оставить Аннушку на прокорм. Мол, выбирай из нас, Прасковья Порфирьевна, кому доверяешь, остальные не в обиде будут – какие уж тут обиды, когда такое горе привалило.

Парася выбрала Марию, потому что у них детки по срокам рождения близкие были. Рассуждения Василия Кузьмича запомнила: у женщины в разные периоды разный состав молока, после родов – один, а через несколько месяцев – другой. Лучше, когда кормилица родила в тот же срок, что родная мать дитятки. Так бабам и объяснила свое решение.

На улицу вышла – там мужики толпятся, курят. Мы, говорят, делегацию колхозных представителей с тобой оправить хотим – в защиту и оправдание нашего председателя.

Парася вспыхнула радостно, но Неубийбатько ее охладил:

– Посадят их в кутузку.

– Бесспорно, – согласился Андрей Константинович, вышедший следом за Парасей на крыльцо.

– Мне бы только лошадей справных и сани, – попросила Парася.

Ей дали таких лошадей и возчика, что домчались до Омска быстрее, чем когда-либо самого Степана Еремеевича довозили.

А в городе застопорилось.

Остановилась Парася у Марфы – не в гостинице же! Там Степан обычно ночевал, как его жена ни бранила, что семью брата обижает. Степушка говорил, не хочет-де лишние хлопоты Петру доставлять, да и время ограничено: надо дела в Омске быстро сделать, прикорнуть на три часика в гостинице – и домой, в колхозе без него сиротно. Святая правда! Без Степана у них и пожар, и всеобщая растерянность. Но гостинцы деревенские, которые Парася собирала, Степан честно отвозил: заскочит к брату на минутку, племянников пощекочет, подарки раздаст и пальцем погрозит: «Жду вас летом, оглоеды!»

Парасе не удалось добиться свидания с мужем. Простояв в очередях, не сцеживая молоко, она заработала грудницу. В больницу ее увезли с температурой под сорок. Почти беспамятную, со вздувшимися каменно-болезненными грудями, которые пришлось резать, точно брюкву, по кругу.

Со Степаном, расстрелянным по решению трибунала, она не

простилась, только короткую весточку-записку получила.

«Кланяюсь. Простите. Скажите Парасе, пусть постарается детям образование дать».

Она плакала над этой записочкой и еще не знала, что будет плакать над ней многие годы, держала на вытянутых руках – чтобы слезы не размыли буквы, написанные химическим карандашом.

Приняла непростое решение – пусть увозят Фроловы Васятку, коль отцовская воля, коль он образование превыше всего ставит.

Однако когда вернулась после больницы в колхоз и оказалось, что Фроловы уже уехали вместе с Васяткой, затряслась от гнева – не дали с большаком проститься, слов напутственных сказать. Она сама бы им сыночка вручила, зачем же увозом?

Фроловы оставили записку. Жизнь начиналась какая– то... записочная.

«Прасковья Порфирьевна!

Ваше молчание мы вынуждены расценивать как согласие. Будьте уверены, что Василий получит все лучшее, что мы сможем дать. Он будет воспитываться с безусловным знанием того, каким выдающимся человеком был его отец и какой самоотверженной – мать. С учетом того, конечно, что детская психика может перенести в каждый определенный возрастной период. Мы сообщим Вам адрес своего нахождения для поддержания дальнейшей связи».

Последнего обещания Фроловы не сдержали.

Мария-кормилица принесла Аннушку – веселенькую, розовую, здоровую.

– Шибче, чем за своим, смотрела, Парася.

– Я верю. – Парася встала и поклонилась в пояс. – До последнего своего смертного часа буду тебя в молитвах благодарить.

– Дык поживем ишшо. Сама-то как?

– Смотри! – Парая расстегнула блузку и показала груди, исполосованные красными молниями рубцов.

– Ох, ё! – захлопнула ладошками рот Мария и закачала головой. – Дык как же?... Дык что же?..

– На прикорм коровьим молоком Аннушку переведу. Но быстро нельзя. Василий Кузьмич говорил – постепенно. Ышшо покормишь?

– Да я ж! Да что ж! Дык она мене молочная дочка!

– Покрестим ее?

– Кода?

– Сейчас. Ты и будешь крестной матерью.
– Дык без попа нельзя!
– Можно! Если христианские матери хотят новорожденную в лоно нашей церкви ввести, то им позволено. Мне отец Серафим рассказывал, что в войнах христиане сами крестили детей, молитвы читали. Я молитву знаю, Марфушка научила.
– А чем сейчас не война? – спросила сама себя Мария. – Лохань принесу. Есть у меня сподобная, за купель сойдет.
И бросилась из дома.

Ночью Парася спала с Егоршей. Прижимала его к себе, точно хотела чуток отцовской силы-крови впитать, которой в Егорше имелось взхлеб. Степан говорил, что Егорша – вылитый он сам в детстве. И еще грозил заняться Егоршиным воспитанием. Грозился, грозился, да не выполнил...

Егорша брыкался. На материнские объятия, сонный, лягался – привык один, вольно, спать.

Восьмилетний Егор по росту на голову обгонял сверстников. Длинношшепа – костяк, обтянутый почти незаметными бугорками мышц. Вредина – учиться, как старший брат, не желает. Но верховодит! Где какая проказа, там Егор Медведев верховодит!

Парася уехала из колхоза, когда Аннушка полностью перешла на коровье молоко. Не было сил смотреть, как дело жизни Степана пытаются возродить из пепла, как ссорятся еще вчера закадычные друзья, как без контроля Андрея Константиновича рассыпается учет труда... Колхоз, конечно, выживет. Есть Неубийбатько и два десятка крепких, сметливых мужиков. Перетрется, перессорится, весна придет – не до горлопанства станет. И бабы свою активность пригасят, когда над завоеванным укладом, «уровнем жизни», как говорил Андрей Константинович, нависнет угроза. Опять-таки тракторы и комбайны – сейчас значительно легче обрабатывать землю... Но Парася этого видеть не хочет – «Светлый путь» без Степана, ее светлый путь закончился. Дальше – неведомо какой, но точно – тяжелый, детей поднять.

Парася переехала в свой старый дом, к матери.

Александр Павлович Камышин, когда приехала бледнолицая Парася, невестка Марфы, сообщила об аресте мужа, понял, кто его главный соперник. Человек по имени Степан. Марфа не вздрогнула, не вспыхнула, не замельтешила глазами. Она на секунду застыла. Камышин стоял так, что

увидел глаза Марфы – бездонные, пустые, только где-то в необозримой глубине плещется страсть. Перебродившая, в кислый уксус не превратившаяся, а застывшая озерком густого сиропа.

Через секунду Марфа повернулась к Парасе и обняла ее с сердечностью и любовью, в которых сомневаться не приходилось. Марфа никогда не снисходила до притворства. Эта чертова баба никогда не притворялась! С ним спала, а обожала его жену!

Камышин в квартирке Медведевых оказался случайно. Если принять за случайность его периодические попытки сломать Марфу.

Потом они, две сибирячки, развернулись к нему. Так уже было: Марфа и эта... как ее... Нюраня. Но тогда пред ним стояли две богини: высокие, мощные – умопомрачительные. Помрачился ум, а иные части тела восстали.

Теперь же была одна богиня – конечно, Марфа, обнимавшая ласково за плечо женщину хрупкую, прозрачно-бледную... У Камышина жена была того же типа – знаем, проходили, хлебнули. Но эта вторая, низкая, бестелесная, смотрела с выражением, которого никогда не было у Елены – с добром и требовательностью, с надеждой и прощением твоего неоправдания надежд.

Камышин слышал о председателе колхоза, который расстрелял Сороку. Сороку этого давно следовало придушить. От безрассудного поступка мужика (теперь оказавшегося любовной страстью Марфы) всем стало только легче.

– Дамы! – Камышин глубоко вдохнул и выдохнул. – Чего вы от меня хотите?

Они хотели свидания. Марфа не хлопотала о личном свидании со Степаном – она за Парасю просила.

Устроить это было совершенно невозможно. Единственное, чего добился Камышин, сильно рискуя, – это краткой записки от Степана Медведева, вероятно, написанной за несколько минут до расстрела.

Камышин прочел послание, не удержался. Кратко, разумно – наверное, этот мужик был достойным любви Марфы.

Этой крестьянской дуры, умопомрачительной женщины, холодной и желанной, покорной и строптивой, равнодушной к его сердечной боли и при этом считающей по парам калоши гостей!

При катаклизмах лучшую выживаемость демонстрируют не высшие слои общества и не низшие. Первые не умеют самостоятельно запонки в манжетах рубашки закрепить, вторые не знают ничего иного, кроме тупого

календарного тяжелого труда. Выживает средний класс – разночинцы. Им понятны низшие, а рвутся они, еще не прибились, к высшим. Разночинцы умны, образованны, у них есть идеалы. Они не боятся, а любят работать, они изворотливы, хорошо обучаемы и копят жизненный опыт с той же тщательностью, с которой художественный музей отбирает полотна для коллекции.

Камышин, как и Фролов, чутко понял – надо бежать. Но Фролов рванул в Среднюю Азию, а Камышину хотелось в Ленинград – город его юности, промышленный центр. Провинция осточертела Камышину, как и его жене, отчаянно. Елена Григорьевна была далека от политики, но из ее окружения едва ли не каждую неделю пропадали люди – поэты, художники, журналисты, артисты. Она плохо спала и говорила мужу, что слышит запах недобрых перемен.

Александр Павлович написал письмо брату с просьбой подыскать инженерную вакансию на одном из ленинградских предприятий – такую, что предусматривает выделение жилья. Упомянул, что, кроме жены и дочери, с ним отправится домработница с мужем и двумя детьми. Брат верно прочитал между строк тревогу Александра Павловича и обещал похлопотать. Но тащить через всю страну семью домработницы, писал он, – бред и блажь. Ответное письмо Камышина состояло из одного предложения: «Она родила мне сына, и я их не брошу».

Когда Камышину пришел вызов из Ленинграда, Марфа ехать с ним решительно отказалась – ее пугали Расея и большой шумный город.

Неожиданно на помощь пришла Елена, присутствовавшая при разговоре. Она заломила руки:

– Ах, Марфинька! Как же я без вас? Я пропаду! И еще вспомните, что писал из тюрьмы ваш родственник. Он завещал жене дать детям образование. Разве это напутствие не справедливо по отношению к Митяю и Степушке? О каком образовании может идти речь, если вы вернетесь в деревню?

– Твой муж, – подхватил Александр Павлович, – родной брат заговорщика, врага народа. Вашу семью прошерстят так, что косточек под сосеночками не соберете!

– Петроград, то есть Ленинград – прекрасный город! – продолжала уговаривать Елена Григорьевна. – Там столько интересного! Такие возможности!

– Мне возможности без надобности, – горько вздохнула смирившаяся Марфа. – А вот сынкам... Когда вещи собирать? Вы уж сразу покажите, что возьмем. Остальное, может, продать успею...